А.Р.Ч.

БАБУШКИНА БОЛЕЗНЬ

РОМАН

2010

Оглавление:

Terror antiquus 1 ……..8
«…болид минул заграждение, через три ужинал, а через пять уже не помнил ничего из прожитого дня…»

Часть 1

Глава 1. Бабушкина болезнь……11
Глава 2. Кольщик……..24

Terror antiquus 2……..86
« *…Владимир захлопнул дверь, открутил у кровати ножку и ввёл её во влагалище…*»

Часть 2

Глава 1. Грудничок……90
Глава 2. Легенда о Заворотне……..100

Terror antiquus 3……107
«*… - Ну и холодина у тебя. Бр-р-р… чтобы сменить быстро напитавшуюся кровью туалетную бумажку…»*

Часть 3

Глава 1. Поездка к шести бабушкам: оловянной, деревянной, настоящей, мраморной, медной и каловой……..112
Глава 2. Мать-камень……...231

Terror antiquus 4……273
«*… - Постой, неудобно. И глаза Павла на долю секунды протрезвели…»*

Часть 4

Глава1. Сказание для Калистрата……280
Глава2. Мясной пирог……296

Идея общечеловеческих ценностей глупа, но далеко не безобидна.

Terror antiquus 1

... болид минул заграждение и, выехав в правую крайнюю полосу, вырвался вперёд.

– Эдька. Эдька.

- Отстань!

- Ну, Эдька.

Эдуард, едва вписавшись в крутой вираж трассы пятой категории сложности, включил пониженную передачу и с раздражением покосился на младшего брата. Тот розовогубый, с бликующими, словно фарфоровые яйца щеками, стоял у его ног и пытался заглянуть в глаза. Снизу вверх.

- Ну, Эдька. – молитвенно произнёс он, и веки его задрожали.

- У-у, ч-чёрт!

Поняв, что отделаться от брата не удастся, Эдуард остановил игру, свернул, и, отыскав проигрыватель, выключил музыку. Детская комната моментально наполнилась тишиной, и жарким сопением Павлика, младшего брата Эдуарда; он, словно не веря, встал на цыпочки, вытянул шею, заглянул в потускневший монитор компьютера и снова поднял глубокие тёмно синие зрачки на Эдуарда.

- Мама сказала, что бы ты дал мне играть на компьютере. – ещё громче засопел он.

- Это мой компьютер. – Эдуард нервно забарабанил по столу. – У тебя есть конструктор. Играй с ним.

- Мама сказала – в компьютер.

- Ты не умеешь.

- Умею. В «кубики» умею. Я играл.

Эдуард посмотрел на часы. Скоро четыре, и нужно будет идти на каратэ, это ненавистное каратэ, которое так любил отец и так не любил Эдуард. Три раза в неделю, по три часа, и даже сейчас, во время летних каникул…

- Ну, Эдька. – Павлик осторожно потянул его за рукав.

- Что!!? – Эдуард так рявкнул, что сам испугался и даже придержал брата за плечо, на всякий случай.

Плечо показалось ему неестественно горячим, и отчего-то сразу же вспомнилось, как мама укладывала Павлика спать, это было два года назад, и он помнил тот вечер, и тот вечер был последним, когда он видел брата спящим; тогда мама накрыла Павлика одеялом, было свежо и она подкасала края одеяла ему под плечи и подбородок; брат уже находился в той овощной фазе, когда сон уже завладел телом, и в то же время тело ещё

полностью не отдалось в его власть, некая секунда между жизнью и смертью – философская яма, в которую, как слепые Брейгеля, немощно валятся целые цивилизации; зрачки Павлика лениво ползали под огромными с проступающими бурыми трещинами венами веками, и веки подрагивали, будто боялись чего-то или замерзали, но они не замерзали, и Павлик не замерзал – наоборот, восково-раскрасневшееся лицо его, с пунцовыми складками возле ушных раковин лоснилось от испарины, мокрые белёсые волосы липли к туго обтянутому кожей лбу и заворачивались под шею, он прерывисто дышал, и из распахнутого рта его сквозь зубы прело пахло бульоном…

Эдуард внимательно посмотрел брату в лицо. Сейчас у него так же, как и тогда был приоткрыт рот, и на нижней, словно бы искусственно вывернутой губе, в свежей слюне, отражались всё те же фиолетовые зубы.

- Мама сказала, что бы я играл на компьютере. – вывел Эдуарда из оцепенения Павел. – В «кубики».

- А ну-ка. – он резким движением повернул брата спиной к себе.

Так и есть – волосы влажные и так же, как и тогда липнут к коже, сосульками. Ничего не изменилось за те два года.

- И что она в тебе нашла? – себе под нос произнёс он и кликнул на крестик, окончательно закрыв игру, и, уже было собрался найти назойливому брату «тетрис», как вдруг взгляд его упал на крошечную жёлтую папку, обозначенную «словарь Даля». И тут же его мысли, как по мановению волшебной палочки вскипели и… тут же остыли – Павлик стоял рядом, у колен, и не сводил глаз с монитора. «Словарь Даля». – смешной пароль. Тайна, доступная каждому пользователю его компьютера, но известная лишь ему, Эдуарду Евгеньевичу Старостину, сладкая и прозаичная.

Немея от волнения, Эдуард кликнул по папке. Та исчезла и на экране возникла рябая россыпь из подобных папок, файлов, фотографий. Теперь уже не скрытые, а развратные, разверзнутые названия, что скрывались под личиной Даля, как эрекция стоматолога – черви в благодатной почве – кишели на экране: «Лицеистки № 8», «У Ольги», «Проклятье Фараона», «Драг вечеринки», «День рождения для взрослых», «Любители»…

Сам не заметив, Эдуард кликнул на «Любители» – на экране мелькнула ядовито розовая надпись «Эльвира 20 лет», и на, явно съёмной, российской кухне показалась сильно пьяная девушка, в короткой футболке, но уже без трусов, она тщетно пыталась подняться с четверенек, голос за кадром весело предлагал ей ползти на кровать.

Павлик всё в той же неизменной позе стоял у ног брата и ждал «кубиков».

Кое-как поднявшаяся с четверенек Эльвира, отталкиваясь от стен, проследовала в зал и, уже падая, спланировала на кровать, что не убранная, под цветастым ковром, так напомнила Эдуарду его же собственную кровать, а развратная Эльвира – учительницу биологии и химии, Марию Юрьевну Карасёву, что вела у него недолго, всего две четверти, а потом ушла в декрет, но успела оставить неизгладимые впечатления у всей мужской половины класса.

Она даже улыбалась так же, как Эльвира.

А в это время к Эльвире подсел молодой человек и, заговорщески щурясь, стал грубо массировать ей влагалище. Влагалище не нравилось Эдуарду, он глубинно, где-то в другом существе, ощущал его притягательность и неизбежность, но, как и старение матери, остро отрицал его мясную сущность. А молодой человек, уложив Эльвиру поперёк дивана, вывернул влагалище к камере на крупный план и короткими резкими движениями потряс его, затем засунул пальцы и, разведя ими преддверие, оголил клитор. Потом он несколько раз, той же рукой, ударил Эльвиру по щеке и, схватив за волосы, наклонил голову к члену. Она непослушной рукой, будто цепляясь, чтобы не упасть, ухватилась за член, заголила головку и сразу стала глубоко, заметно давясь, сосать.

Павлик молча смотрел. Как и тогда, два года назад. Только тогда глаза его были закрыты и лоб был туже обтянут кожей.

- Эдька, а что они делают?

Эдуард почувствовал, как член упёрся в тугую ткань шорт и, что бы высвободить его, оттопырил ногу.

- Эдька?

Мурашки пробежали у Эдуарда по спине и, осев в паху, проросли томительным ознобом.

- Если хочешь… п-поиграть… в свои «кубики». – стараясь не проглатывать буквы, говорил Эдуард. Голос его сел и мелко вибрировал. – Тогда… пообещай, ч-что не скажешь маме и-и-и… вообще никому н-не скажешь… Хочешь играть?

- Угу. – кивнул Павлик, уже забыв о происходящем на экране и снова устремив зрачки в брата.

- Тогда-а-а…тогда-а… дай-ка мне вон ту тряпку. – он головой указал на свисавший с кровати мамин дымковый шарф. – Так, давай сюда, и молчи, пока я не разрешу, а не то будешь играть на компьютере, только когда я кино посмотрю.

- А когда ты кино посмотришь?

- Через три часа. – Эдуард ловко повязал шарф на глаза брату.

- О-ого-о-о... – огорошено протянул Павлик. – Три часа-а-а… – ощупал повязку.

- Тогда молчи. Договорились?

Павлик кивнул.

Тогда Эдуард отъехал на стуле, за руку увлёк брата к себе и, приспустив шорты, дрожащей рукой ввёл член ему в приоткрытый рот. Рот легко поддался, и Эдуард почувствовал горячий язык и мягкую неразвитость. Павлик стоял без движения, слегка сжавшись в лопатках под тяжёлой рукой брата. Неглубоко, чтобы не спугнуть, Эдуард тёр головкой о язык и не сводил воспалённых глаз с только что подсевшего на кровать обнажённого парня, мелированного, с цветной на всю руку татуировкой. Развязно поздоровавшись, он пристроился к Эльвире сзади и сразу же, даже не направив, вошёл в неё; полностью, – как каждый вечер входит мама в их с Павликом жилище – как Павлик входит в туалет, перед тем как отойти ко сну, как отец входит в туалет, перед тем, как отправиться на работу – точно так же, как когда-то вошла в его класс, в его жизнь, в его сны Мария Юрьевна… чья-то дочка, жена, домохозяйка, учительница биологии, Эльвира, из кинофильма «Любители» – как вошли в философскую яму слепые Брейгеля.

Через десять минут Павлик уже играл в «кубики», через три часа ужинал, а через пять уже не помнил ничего из прожитого дня…

Часть 1

Глава 1

д. [1] Холм Заветный (600 км. от Болота-родителя)

БАБУШКИНА БОЛЕЗНЬ

Бабушка проснулась рано – ещё не рассвело. Запекла фитилёк, подвязала ставни. Не спеша, умылась, рушником утёрлась, помолилась на красный угол, на скорую руку съела заварное пирожное, запила квасом. Завидевший свет дворовая собака сначала загремел цепью и тут же истошно сипло завыл.

- У! Магарыч! – пробасила в нос старуха и вышла в сенцы.

[1] деревня

Сидевшая в трёхлитровой банке лягушка, приготовленная ещё с вечера, вяло жалась бледной щекой к запотевшему стеклу. Огромная сухая муха мерно спала у неё на носу.

- Охос…усууу… - простонал в бреду младшенький Володя, тихо скрипнув печью.

Стараясь не шуметь, она ногой придержала дверь и, по одному выложила у печи поленья. Приоткрыла заслонку, чиркнула огнивом. Плоское чёрное пространство хаты вспыхнуло, погасло и тут же редко задрожало в алых всполыхах.

- Вот и буде… - выдохнула она.

Прихрамывая, прошла вдоль лавки, взяла с подоконника банку с лягушкой и поставила на стол рядом с лампой, развернула квадратом носовой платок с коробком, высыпала из коробка зелёный пепел. Комната наполнилась едва уловимым ароматом жасмина. Вобрав слюны, тяжело схаркнула и размешала пепел со слюной пальцем. Лягушка в банке очнулась и стала жевать муху. Тишина комнаты на мгновение заполнилась вялым жужжанием и тут же прервалась грудным вздохом из-за перегородки – сынок Петрусёк с женою.

- Ну и ладно… - прошептала старушка и, дождавшись, когда вздохи утихнут, запустила руку в банку.

Схватила лягушку за бока. Бока провалились, и лягушка отчаянно задвигала лапками.

Уложив лягушку на спину, бабушка вспорола ей брюшко ногтем и замазала ранку получившейся из пепла кашицей. Разложив уже мёртвое тело на платке «звездой», она привязала каждую её лапку к конкретному уголку. Затем вынула из рукава ночной рубашки свёрнутую в трубочку шириной с сигарету бумажку и развернула её перед собой на столе, края придавила засохшей ржаной осьмушкой по правую руку и медным пестом по левую. Продев ладонь лягушке под спинку, она растопырила пальцы, и платок плотно обтянул её крепкую ладонь. Словно модница новую перчатку она покрутила получившуюся конструкцию перед собой, затем встала коленями на лавку, просунула лягушку под подол и крепко с благоговением прижала её раскрытым брюхом к анусу.

- Волшебный змей повелитель. – в пол голоса, морщась от боли, читала она по бумажке. – Прости господи. – не заметно для себя перекрестилась. – Аист душегубец. Малк[2] ясноокий. Вседержитель болотный. Егорием чудотворцем, попирающим копьём змия порази ты бациллу болючую, молочая тело гибкое да сурепки колкое [3]извлеки ты из недр моих аки из землицы-прародительницы.

[2] малк – царь (ивр.)
[3] молочай, сурепка – сорняки.

Древним зверем проснись во длани моей, собакоподобным василиском войди в тело убиенного королевича бородавчатого, восьмипалым оскаридом вдохни жизнь в сию жертву дабы отсосала она мою гнойню, дабы отпила губками да прозрачными глиноподобную жижку мою. Забери зверь болотный мою болячку в землю лютую Самаркандскую, в землю топкую, в землю болотную, в землю вечную. Трижды заклинаю.

Она отняла лягушку от ануса, запеленала в её же платочек и закапала в огороде, а бумажку с заклинанием по возвращении в печи палила да приговаривала:

Шишки-ти гнойныя где?
Черви выточили.
Черви-ти где?
Гуси выклевали.
Гуси-ти где?
В кусты ушли.
Кусты-от где?
Девки вываляли.
Девки-ти где?
По хуям пошли.
Хуи-те где?
Все примерли…

А ближе к вечеру снова открылось кровотечение.

Пелагея Дмитриевна, всё в той же ночнушке лежала на печи, полу боком, между ног был плотно зажат марлевый мешочек набитый ракитой перемешанной с зелёным чаем. Восково-жёлтые, в бледно коричневых пигментных пятнах ноги были на столько худы, что жидкие мышцы мешковатыми каплями свисали с них, обнажая рельеф кости. Бабушка тяжело и шумно дышала и, то и дело, сделав минутную паузу, заходилась в стоне.

- И всё воет, окоянная. Всю душу вилами переборонила. – Марфа, приземистая, с маленькой, как у хорька головой женщина злобно покосилась на печь.

- Чай, не сахар так-то маяться. – глядя себе в брови, глухо молвил Петя.

- Сама виноватая. Нечо до ветру с крыльца ходить. Всё засрала. Что б ты на печи заблудилася, старая обезьяна! Палкой её бить что ль? Говорю ж: идите мама в уборную. Нет – своё всё гнёт: пойду, милая, как в другой раз назначит, пойду, а сейчас ноги, говорит, болят. А ежели кто послизнётся? А ежели с крыльца ентого по говну съедет? Вы думаете, мам, что делаете, спрашиваю.

- Ладно, не зуди, зуда. Ведро давать ей буду.

- Ведро!? – аж подскочила Марфа. – Это что б вонь по всей хате? Это что б красный угол на ейные срамоты глядел!?

- Да заткнись ты наконец. Мать моя всё-таки. – и Петя, ещё пуще нахмурив густые брови, в пол голоса дополнил. – А вообще… чевой-то здесь не то…чевой-то темнит старуха.

- Так оно и ясное дело, что темнит. Ты на зенки её погляди: так и прячет их, так и прячет, как словно бусы от сороки.

- Вот и я о том. – уже сам себе сказал Петя и, сморщив лоб, в полный голос, что б все слышали, произнёс: - Мама сегодня на печи спит, нехай греется. А Володька в сенцах перебьётся.

Ближе к полуночи в дверь постучали.

- Иди-ка, Марфа, невестушка моя ненаглядная глянь-ка, кого это ночью гонит. – слабым голосом простонала с печи Пелагея Дмитриевна.

Марфа, нанизывавшая у лампадки бусы, недовольно ударила кулаком по столу, но смолчала и пошла открывать.

- Какую там нахуй тварь ещё приволокло на ночь глядя!?

- Швои. – прошипели за дверью. – Отворяй Марфушка, отворяй кудесница.

- Похоже, Колодейка подошла. – заокала Марфа.

- Ну, так пускай, пускай же голубаньку мою «крестовую [4]», Анну Максимовну-то золотую. – свесила бабка с печи седую голову.

Марфа сильным плечевым движением скинула пудовую петлю, достала из подола связку ключей, потрясла навесной замок, сняла рельсу. В дверях возникло белое в сизых растёртых на сале румянах щеках лицо старухи Колодейки и два залепленных глиной колеса.

- Ну и нашушила-а-а-а. – она длинными кряжистыми руками ухватилась за косяки и умело втолкнула свои пол тела в инвалидной коляске в хату. – Чуть доехала, у Вязькинага двора така забуксавалася, така забуксавалася…думала, за подмогой кого снаряжать придётся…

- Здравствуй, Анна Максимовна.

- Доброго здоровьица, Пелагея Дмитриевна. На вареньице к вам вота решилась наведацца.

Марфа снова защёлкала бусами.

- Прям бяда с ентыми девками. – всплеснула руками Анна Максимовна. – Хоть самоя в полосу становись. Ещё слава тебе господи, земля не скамянела, да хвоща с молочаем с корнявищам драть можна. А то бязрукия, что внучка, что золовка, один хуй – небараки, токмо за закваской хлебной али за угольями для

[4] «крестовая» - ритуал: обмениваясь нательными крестиками девушки, как бы закрепляли дружбу.

самовара посылать и то не сгодятся, растрясут. Добро хоть Димид осек[5] загородил…

- Ой, Аннушка, неподъёмная я. – не дослушав, запричитала Пелагея Дмитриевна. – Твой царь болотный да вскладчину с царицей небесной не осилили мой недуг…Так страдаю, та-а-ак страдаю…

- А ты не стогни, не стогни, чай, не помираешь. Ащё побегаем с тобою, снопы пооколачиваем, вот поглядишь. – тепло увещевала Анна Максимовна. – Спасём твой недуг, принцесса ты моя ясноокая, и не такое врачевали. А зверь болотный очень он капризен, я тебе вещаю, оченя переборчив, не всякую девку возьмётся лечить, не то что…

- Уж ты то точно побегаешь. – раздражённо прозудела Марфа и скрылась за шторой.

- А хоть бы и я! Молодая, а ядовитая, как тот мухомор. Мине, между прочим, Яков Сталевар за услугу одну ноги взялся состряпать железные. Во как. А ты, замест того, что б зубами крошить божницу бы украсила. На во, со скрытых урочищ собрано. – и она бросила на стол пучки с разноцветными травами.

- Прикати-и-ла. – не перестовала зудеть Марфа. – Грязи вона насрала. Где токмо отыскала в суху такую. Токмо в утро пол с дресвой [6]отшаркала.

- Э-эх ты. – укоризненно покачала головой Колодейка. – А мы с тобой ещё побегаем, подруга. – взяла в руки кисть Пелагеи Дмитриевны и стала гладить словно котёнка. – Побегаем. Да так! Помнишь, Пелогеюшка, как мы, а? Помнишь? Не при детях будет сказано, день набегамшись, полсотни снопов обстучавши, уснули без сил на гумне. А в ту пору Ванька-кривой разживлять овинную теплину пристроилси. Ваньк-то хоть красотой и обижаный был, да вот силушкой мужской не обделённый. Тако дюжину овинов поизмяли, покамест не угомонилися. Ох, и влетело тебе от Матв…

- Постыдились бы, проститутки. – огрызнулась из-за шторы Марфа.

- Сама ты проститутка, тайная! А она, тайна-то, яко семя ильняное, колглина, тяжело, темно, коричнево, але ж и склизко до неприличности – саму мизерну дырку в сусеке отыщеть да по миру проростёт.

- Что ты клевещешь, оглобля споловиненная!?

- Куда нам до вас свинолапых?! – раскраснелась в споре Колодейка.

- Охо-хо-о-о, а что же делать то мать настоятельница, чем его злодея та выкарчёвывать? – не выдержала шума Пелагея Дмитриевна.

---

[5] осек – лесная изгородь, образующая прогон.
[6] дресва – крошка из банных камней.

- А ты не стогни, не стогни. – Колодейка, словно успокаивая саму себя, погладила её белую голову. – Моя ты красавица, мы ще аглицкого сукна поносим, шелков китайских да по примерим…

- В гробу и примеришь, детском – половина гнилая. – колыхнулась штора.

- Эдак, подруга, с невесткой такой в другуизбу собираться не ровен час придсси, али на станок[7] переезжать. – зло покосилась на сидевшую за шторой Марфу старуха. – Как всё равно угар от тебя, Марфа, тяжёлая ты не по возрасту.

- Да полегче тебя половиненой буду.

- Как собака без кости ты Марфа! В толк не возьму – али я тебя ебу плохо!? – не стерпел Петя.

- Может и плохо! – выкрикнула Марфа и затряслась.

Петя молча-сердито зашагал по хате.

- Ну, и болото же у тебя Пелагея Дмитриевна в доме – ни гати ни лядины[8]. При Матвее Фомиче я такого не наблюдала. Ая-яй. – и невозмутимо продолжала: – У меня для тебя и ритуальчик ещё отыщется. Давай-ка пока, красава, покажи мне, чевой тама у тебя после зверя болотного осталося, а тама чаю с вареньицем пососём, страх, как я твоего клубничного уважаю.

Пелагея Дмитриевна, кряхтя и охая, свесилась с печи, нащупала ногой лавку, опёрлась.

- Идить голуба, поможешь. – Анна Максимовна, как ни в чём ни бывало, обратилась к Марфе.

- Дадите вы мне работать!!? - не выдержала та и разрыдалась.

- Чаво эта с ней? – испуганно прошептала Анна Максимовна и подняла жёлтый глаз на подругу.

- У них там с Петром чавойт не ладится. – сипло прошипела та с некоторым участием.

- Пусть Петьк помогает! – как гром средь ясного неба гаркнула Марфа. – Дормоед нахуй сраный. Днями за печкой нахуй отсыпается, потома ночью спать не даёт! – она снова разрыдалась, бусы посыпались на пол.

- Петруша-а-а…

- Петруша!

В один голос завопили старухи.

- Иди, подержишь, милый! Хорош бока то отлёживать.

Из-за занавески вышел здоровенный косолапый парень, лохматый, в длинной по колени холщовой рубахе.

- Чего это вы тут замышлять вздумали. А? – недовольно пробасил он.

---

[7] станок – шалаш лесника.

[8] лядина – лесное освоенное угодье.

- Давай, подымай меня. – Анна Максимовна отстегнулась от коляски и задрала руки, словно собиралась уцепиться за перекладину. – Ну, давай, Петя, покажи свои силушки богатырския.

Петя поднял старуху, обхватив её под мышками.

- Погоди, доберуся я до вашего загавору. – бурчал он еле слышно себе в усы. – Погодитя…

- Чаво ента ты там мычишь? – старуха повисла на его покатых плечах.

- Эта корова твоя мычит, когда ебаться хочет, а я думаю и, имей на ум, всё понимаю.

- Вишь, Пелагея, какого мыслителя вырастила. – колко каркнула Колодея и с издёвкой пропела: – Как той сабак, что у тебя под забором околачивается: ест как все, а брешет всё поносом.

- А ты, старая, мого мужа собакам-то не поноси, а то ухват-то он вона у самой печи аккурат приноровился.

- А ты, милая, помалковай. Не тебе меня ухватом стращать. Та-а-ак, ну, держи ж крепче, сейчас посмотрим, чиво у нас ту-у-ут. – Анна Максимовна задрала подруге подол и отняла набухший от крови марлевый пакет. – Ну, убирай руку, я приму.

- Да он уж прикорел. – басил Пётр. – Мама, пускайте, не упадёт.

- Пускай, страдалица, я держу.

Пелагея Дмитриевна убрала ладонь и просунула её себе под голову. Стеная и матерясь, вытерпела, пока Колодея отняла прилипший ссохшейся кровью тампон. Под ним прятался угрожающего вида сиреневый бутон из вздутых шарами вен нижней части прямой кишки, хлопья засохшего кала весели на розовых от крови волосах, казалось, что бутон дышит.

- Эва его разнесло. – сморщился Петя. – И воняет како смрадно.

- Гнойницца, гнойницца беспрекословно. - старуха пальцем отодвинула один наиболее выдающийся узел.

- У-у-у!! – взвыла Пелагея Дмитриевна и закусила костяшки пальцев.

- А как жа ш ты срати ходишь, мамка? – Петя внимательно рассматривал струйку крови мгновенно поползшую из трещины вниз к просаку.

- А так вота и сру, сынка. – выдохнула она, словно в родовых муках, и мутная слеза скользнула по сморщенной щеке.

- Вот. А ты на мать наговариваешь. – с укоризной посмотрела на Петра Анна Максимовна.

Пётр виновато потупился. Тут скрипнули полати, и между замков веников высунулась лысая мальчуковая голова.

- Володя, сыночичек мой ясно солнышко. – подскочила к нему Марфа. – Выспался, мой сладкий? Молочка хочешь парного? Пеструха токмо с закатом дала…

- Отвали, мать. Башка раскалывается. – он схаркнул на пол.

- Погляди, сына, кака у бабушки срамна болезнь. – Петя развернул Пелагею Дмитриевну задом к сыну.

Петя прищурился:

- Пиздец, старая. – по-детски непосредственно удивился он. – Дай я сфотографирую. – и полез в карман за фотоаппаратом.

- Давай тока быстрей – руки устали держать. – Петя переложил её на другое плечо. – Ты, ух-х, баба Аня хоть и ополовиненная, да костьми, видать, тяжёлая.

- Жертва арабской агрессии… - закачала головой Анна Максимовна.

- Ну, скоро ты!?

- Всё уже. – Вова сохранил.

- Ой, устала так виснуть родненькие мои люди, давай Аня быстрей доследуй.

- Не боись, и не такое на ноги подымали. – Анна Максимовна аккуратно подтёрла ей задний проход. – У меня ещё ритуал один припасен. Ставь Марфа самовар.

- Да ставни отвори, дура! Смердит, не чуешь?! – гаркнул Петя жене.

- Да, как будто покойник насрал. – демонстративно зажал нос Вова и выпустил газы.

- Сынок. – укоризненно произнесла Марфа и покорно поплелась к окну.

- Дезинфекция.

Как самовар подоспел, семья и гостья потянулись к столу. Пётр, Марфа и маленький Владимир – расселись по лавам, Пелагея Дмитриевна, подбоченившись, стояла.

- Я душенька Анна Максимовна вота чего удумала. – с трудом выдавливая из себя слова, говорила Пелагея Дмитриевна. – Чай, весь день сегодняшний на печи пролежала, только с бока на бок кулялася, солому мяла, думала… Порча эта! – сказала, как каркнула она и тут же сама себя же и испугалась.

- Пречистый-пречистый… – зашептала, вывалив глаза, Марфа и бегло перекрестилась на старый манер.

- Почто звезду сатанинскую на себе малюешь!? – Колодейка зло стукнула Марфе по пухлым ручкам. – Чай, итако вся в саже замазана, тока что бока белые. Как вижу белые, да сияють, аки нимб еврейскай.

- Я привыкшая так осеняться. – обиженно огрызнулась Марфа.

- Привыкшая ты с чужой головы мысли черпывать, да не отсеивать. Чёртаву звезду, говорю, не рисуй на себе – нашла, кому служить. Господе наш

вседержитель. – и Колодейка, вмиг побелев, покрестилась на пятиступенный манер на образ.

- Погрызи меня моль – порча! – не унималась бабушка, даже не заметив вспыхнувшей перебранки.

- Меня дед тако учил! – аж подскочила на лаве Марфа. – И я память об нём блюду!

- От деда твого, мракобеса, смердело, как от верблюда!..

- Цыц! А ну… тихо. – Пётр привстал и опустил экуляры ушей на грудные вздымы. – Слышите?..

Со двора донёсся редкий, почти колокольный перезвон, потонувший не то в ветре, не то в собачьем вое. Вой перешёл в хриплый похожий на плач лай, который, так же как и утором моментально стих.

- Как всё равно ветер с кладбища пёс твой воет: тухло, резко. – в пол голоса произнесла Колодея и, задрав руку, что б покреститься, прислушалась к уличным звукам. – А что й энта у вас тама грухае. Слышите?

- Показалася тебе, инвалидка!

- То тебе запечный дедушко казался. – Колодейка брызнула слюною в Марфу. – Когда котофей на груди срал!

- Тише! Да тише ж вы. Как всё одно по поскотине кто долбит… – шёпотом произнесла Пелагея Дмитриевна.

Все замерли.

- Или, как идёт кто. – Колодея снова перекрестилась. – Топ. Топ. Топ. То…

- То ведро, видать, от ветру по ободу колодезному лупить. – оборвал её Петя. – Что ты старая страху тута нагоняешь? Дитё пугаешь. Да эта ещё со своей порчей.

- А мне давеча Савельева Оксана рассказывала. – в пол голоса вещала Марфа. – Что ночью с фермы ворочалась, да и видела, как по большаку воз порожний ехал… без извозчика и без… лошади.

- Да, чу! ты, дура! – стукнула по столу Колодейка. – Что мелешь?

- Это Захар Иванович… виноват. – Пелагея Дмитриевна облокотилась о стол. – Он мне хвоста та и накрутил, петлю накинул, в образ вогнал…

- Да что ты мама!? – забасил Петя.

- Вот те крест! – она отхлебнула чаю. – Я, мои дорогие, как-то заприметила, что у нас в нужнике пахнет как-то чужески, нюхала я, нюхала, и не знаю я, вся теряюся, чую, вродя аромат та и незнакомый, а вродя и знакомый. Из нас Мукомоловых отродясь никто так не срал, у деда покойного, Роберта, похожия спражнения были, да не сильно похожия, толька на чуть-чуть, такие сладковатые у него были, словно в маринаде и-и-и…китайщиной какой-то отдавали, а это-о-о…тоже сладкостью какой отдаёт, да сладкость эта какая-та

карамельная, нугая какая-то, больше к жареному что ль тянет. И тут меня такмо паленом по темени шибануло: у нас в нужнике пахнет, как у него, у Захара, значицца. Я, когда на свадьбе у ейного Димы была, запах этот дуже уразумела. А теперь он у меня…

- Вы, мама, когда по нужде-то в нужник-то хаживали?! – звонко, с интонацией победителя взвизгнула Марфа. – Всё на крыльцо, да на крыльцо.

- И аккурат в эта же время болячка моя-то стала зарождатти. – сделав вид, что не заметила, продолжала говорить Пелагея Дмитриевна. – Может эта зараза от него?

- Не факт. Чего, мать, на старика наговариваешь?! Может у него яма забилася, или глиста какая завелась…

- И правда, Пелагея, человека славишь, может и в взаправду глиста.

- А может он боисси к себе ходить. – аж вспыхнула от интереса Марфа. – Я слышала, Джулия Самохина говаривала, что Галя покойница да него являться стала, а нужник у него вона где, почти в поле выкопан, да прясла[9], почитай, нет – одни оглобли стлевшие.

- Даже ежели он к вам до ветру ходит, ента ещё не об чём не значит. – глубокомысленно прошамкала Анна Максимовна. - Он один живёт. Это он самовыражаться така может, а чтоб порчу...

- Да, мам, этути ты перегнула, дед Захар не такой.

- А вареньице та у вас скла-а-аднае. – решила переменить тему Колодея. – Ты, Пелагея, рецепту Марфуше переадресовывай, не затягивай, чай, уж не девушка. Ум-м-м-м, какая вкуснотища! Свят-свят-свят… Этакая вкуснища-а-а… - она деревянной ложкой вливала варенье в беззубый рот и, вобрав до краёв, шумно сглатывала. – С утра щи астраханские с хреном да княжицей парной, к обеду уши сибирские лепные в лопухах запеченные, к ужину пироги с морошкой и маслятами… ой и продрыщуся я сегоння, девки! – она молитвенно и одновременно игриво всплеснула руками.

- Не стращай ты меня подруга! – включилась Пелагея Дмитриевна и тут же распевно, как плакальщица застонала. – Я уж и позабыла то время чудное, когда могла я аки и вы здеся присутствующие отрокоанусные, молодоанусные, зрелоанусные и ты, Анна Максимовна, дряхлоанусная, поливать закоулки поносом блаженным и лепёхами коровьими толстоколбасыми гряды унавоживать с проворностью девы непорочно-о-о-ой…– она запнулась и беспомощно округлила свои мутные глаза. – Как злой болячки искалечитьс-я-я-я?!

- Не голоси, сладкая. – Анна Максимовна отложила ложку. – Есть у меня этакое тайное знание самой Егорышной Заречной мне в узелке переданное.

[9] прясло – забор в поле.

Глаголила она мне того дня, в напутствие к бумажке тайной, что шишка энтая жуть как камня нагретого боисси. Настои, глаголила настоятельница, каменюку плоскую, как ракушка акияньская на сонышке раскалённом, ороси ты ту каменюку волшебную мочицой своей бурлящей, аккурат, как тени от древ придорожных на сабили турецкие станут подобными. Приложи ты тогда боляку многоузлую кровоточащую к каменюке и сиди така покуда Ярило на сон не сподобится.

Все слушали, отворив рты.

- Так помолитися же отростки семени Мукомоловского господу нашему Ажену Вселенскому.

Все дружно стали креститься.

- А ты, Петя, как рассветёт, ходи на луг заливной, покличь там лешего Кима с пригорка, да гостинца ему не забудь поспеть, жуть он коровии лепёшки жареные уважает, попросишь у него камня плоского для бабы Ани Затворницкой, да на лепёшки та не скупись, штук пяток изжарь, да сам по дороге не надкусай, жуть он как этого не любить.

- Добро Анна Максимовна. Всё сделаю, как вы велеть изволите. Вовка, будильник мне завтра на четыре поставь.

- Это уже сегодня. – озадаченно почесался Владимир.

- Сегодня… - с надеждой произнесла Пелагея Дмитриевна, и лицо её просветлело.

- Ну, спасибо за угощеньице, дорогие, посидела, пора и честь знать, пора и до дому колесить.

- Спасибо, спасибо тебе единоутробная, преблагая, дорогая Анна Максимовна, приезжай завтра да вечере, будем моё исцеление поглощать.

Они тепло распрощались, и Колодея, ловко орудуя руками, выкатилась во двор…

Проснулась Пелагея Дмитриевна от невыносимого жжения в сфинктере. Потрогала марлевый пакет. Тот был твёрдый. Буро-коричневые пятна запёкшейся крови чередовались с редкими голубыми островками ваты.

- Проснулись, мама? – Петя довольный и радый хоть какому-то делу, смеющимися глазами глядел на мать. – Как у вас сегодня?

- Дай другую… - едва шевеля от боли языком, сказала она и протянула бесформенную багровую прокладку. – И пакет смени – смердить энтой.

Петя полез под лаву.

- А ты сынок, кака сходил давеча до лешего за каменюкаю?

- Сходил, мама! – довольно кричал он из-под лавы. – Аль не чуешь, как лепёхами коровьими та несёць, всё утро пёк, а как сонца то занялось, пошёл к лешему на поклон, так, мол, и так, тащи, говорю, камню плоскую для мамы. А

он стра-а-ашный чертяка, как тот Цербер брешет, бровями своими травяными шулудит, а каменюку-то принёс здоровее-е-енную, пло-о-о-оскую, такую, как баба Аня требовала. Теперя тебе тока посикать на её осталося, да пиздой приложиться.

- А тени…тени как?..

- Тени…тени ещё не готовы, зреют ещё… - помял плечами Петя. – Спи, ма, мочи набирайся…

После обеда, когда тени пошли в рост, Петя с Вовой помогли Пелагее Дмитриевне слезть с печки, Марфа придерживала двери. Во дворе бабушка скинула с себя рубашку, Вова осторожно отодрал прилипшую к промежности прокладку.

- А где Анна? – загробным голосом просипела она и пустыми глазами обвела двор.

Невдалеке за калиткой стоял седенький Захар, и в наушниках слушал радио.

- Она в город уехала. – успокаивала её Марфа. – Вы не тревожьтесь, мама. К вечеру будет.

- А камень, камень где?

- Вот, вот, матушка.

Петя с Марфой повели её к камню. Вова снимал всё происходящее на видео. Пелагея Дмитриевна развернулась к камню, повисла на плечах и раскорячилась.

- Мама, вы точно добьёте? – засуетилась Марфа. – Может, ближе? Давайте ближе.

Но вместо ответа Пелагея Дмитриевна расплакалась. Моча прыснула и лениво поползла по дряхлым ногам.

- Быстрей, помогай же ей! – Петя стал надавливать ей на живот, а Марфа хватать мочу в ладоши и поливать камень.

Обессиленная бабушка плюхнулась на раскалённый камень и завыла от боли. Захар снял наушники…

Ближе к вечеру кровотечение усилилось.

В хате царил скорбный покой, Пелагея Дмитриевна, синяя лицом, лежала на обеденном столе, анусом к образам, между ног у неё торчал огромный кусок ваты. Петя сидел рядом на лавке и гладил её по голове.

- Ничего. – едва сдерживая рыдания, говорил он. – Скора Анна Максимовна пиедить, а тама и спасение. Ох, и будет у нас праздник! А нешто не поможет – мы на ужа пойдём. Я одного принёс, а ежели не хватит, то мы ещё одного отыщем. – он поставил трёхлитровую банку с ужом маме возле головы.

- За Мироном надобно посылать. – сказала в пол голоса Марфа.

– Мне вчерась Вера парнатовская повстречалася, - словно не слыша её, продолжал Пётр. – Помнишь, такая вся из себя господи прости, она ещё в девятом классе волосы в яркий энтакий закатный розовый выкрасила. Такмо она мне так сказывала, будто у ейнай прабабки такая ж свинячья болезнь приключилася. – пока он рассказывал, под столом стала скапливаться густая лужа крови. – Так мо она, ентая старушенция первым же делом на ужа пошла. Обулася, подвязалася и в лес и пошла, а там ужа изловила и, аккурат как ты энтого лягушка к заду и приспособила. И, говорит, ровно три божьих деня поприкладывала, как и в святом писании сказывано, и как рукой и унесло, срацца сказала стала пуще прежнего, аж сортир трещал, так дрыстала, а гладкий анус стал такмо, что и подтираться не стало надобности. Во как. Ты слышишь, меня мама? Мама?

Пелагея Дмитриевна не дышала.

В дверь постучали.

- Мама!!! Вова, быстро отворяй! Анна Дмитриевна! Вова быстро, дверь!!!

Марфа бросилась к мужу, Вова – к двери, сбросил крючок, достал из рубахи связку ключей, открыл навесной замок, скинул рельсу. Дверь распахнулась и в хату ввалилась Анна Дмитриевна, не успела она приземлиться на пол, как её голова разлетелась в брызги от выстрела. Двое в камуфляжных костюмах, масках с прорезями для глаз, тут же с порога открыли огонь по присутствующим. Петя с разорванной грудью покатился под стол, Марфа с половиной лица упала ровно на подкосившиеся ноги, маленький Вова метался вдоль лавки, пока пуля не оторвала ему руку по плечо и не снесла лоскут с головы. Комната наполнилась едким фиолетовым дымом. Один из нападавших сразу подошёл к бабушке, сбросил со стола и, задрав подол, быстро срезал с ануса шишечки, аккуратно положил их в пакетик и засунул в нагрудный карман, затем дулом подцепил образ, что висел в самом верху красного угла. Тот с грохотом упал на пол и разбился, по полу, прямо под ноги покатилась кожаная шкатулка. На пол пути она раскрылась, и по полу рассыпались аккуратно упакованные пачки долларов и золотые изделия. Быстро всё собрав, люди в масках удалились.

Порезавшийся о разбитую банку уж вяло клубился у Пелагеи Дмитриевны в волосах.

Глава 2

д. Панежи (112 км. от Болота-родителя)

КОЛЬЩИК

день первый

- Мирон! Миро-он!!! – послышалось со двора.

Дед Мирон напрягся, скрипнув полатями.

Крик повторился – теперь уже разбудив дворового пса. Редко гремя амбарной цепью, тот высунул нос из конуры и надрывно завыл, постепенно переходя на хриплый сухой лай. С ветром долетел звук далёкого набата и тухлый привкус гари.

- Дядя Мирон. Пожар!

В дом ввалился молодой парнишка в вываленных в саже валенках и накинутом на голый торс полушубке. Мирон моментально сел, расправил рукавом вековые брови и потянулся к лучине. Нащупав под потолком карман, чиркнул огнивом, и неровное пространство над печью озарилось пурпурным. Парень молча помог ему спуститься. Лучина, скользнув по лицу, обнажила его грубые перемазанные сажей скулы и обезьяньи дуги.

- Больно добры девки-ти, откуда эдаки? – скривил глаза в едкой ухмылке Мирон. – Ась?

- Чаво? – гость сдвинул на лоб шапку.

- Парень, ты чей!? – зычно вопросил Мирон.

- Я, батюшка Мирон, из Верхолутья б-бывал… А-антипа Кожаного племянник. – и выдохнул, словно заклинание: – Пожар, дядя Мирон.

- А ты хотел, что б, как под Великим Устюгом дождь каменный выпал? Эка невидаль – пожар. Да уж вижа-то. – тихо скрипнул Мирон и, придерживая широкой ладонью поясницу, захромал к окну. – Грех-та буде-та, ото грех-та…

В проёме у клети торжественно дрожала красная кромка поля; крики, вой, вздохи – пространство, словно грозовой разреженностью наполнялось набатом. Коричнево-бурые многотонные клубы дыма с варева пожара мешались с ровными палками дыма печного – сизого, ближайшей и лежащей несколько по правую руку деревни, и огнистыми брызгами вздымались в морозное, кажущееся сиреневым небо. Но то километры за горизонт, а тут, у Мирона во дворе покойно лежали суровые, непроглядно тяжёлые тени

амбаров, таилось млечное мерцание ледяного, словно бы застывшего океанскими волнами снега, да чуткий, тревожно вытянувшийся в струну пёс, нутром ощущавший далёкую беду.

- Опяти Жабий Луг? – Мирон сел на лаву – парень подал ему портянки и валенки. – Зачастили-и-и…

- Аккурат с Алёниным домом полыхнуло, у дяди Антипа сначала в хлеву зачалось, потома на баню перекинулось – покуда спохватились, уж треть станицы пылала, по правую сторону. Благо, цэркву обошло. А чтой т дымно у тебя, Дядь Мирон, али мне с пожарища чудится? – парень шумно втянул носом густой избяной воздух.

- Тако гнуса изгоняю. – с некоторой иронией ответил Мирон. – Заел заживо.

- Зимой?

- В моём погребе – земли ядро, чучело. – осклабился старец. – Хошь, покажу?

- Н-не! – отшатнулся от него парень.

- Грех на душу брати та. – вздыхал в тряпку Мирон, словно и не было святого откровения. – Ой грех-та…

- Да не скули ты, дядя Мирон, за то и хлеб ешь, что…

- А ты меня куском-то не попрекай, чай, знаю и без твого такого знатока.

- Да я так… - парень подал ему жилет и шубу.

- Так то оно так, да не так. – подвязал пояс. – Ну, да ладно, а скока ужо, как ты ушёл?

- Да уж восимёра на лёд оттянули, лапами закидали и за водкой, Алёна за водкой-то и побежала, а я вот к тебе…

- Всьмёра, говоришь. – Мирон, наклонился к лампе и, медно гремя, стал перебирать связку ключей. – А сильно, чай, обварилися, Павлуша?

- Сильно, дядя Мирон. – парень снял шапку и покрестился на красный угол. – Дарью вообще так привал…

- Осипа дочу? – вздрогнул Мирон и тут же, сдержав волнение, вернулся к ключам.

- Хату ихную такмо сложило – один пасом торчать остался, что от ветра. А Дарью крышей привалило, чуть достали. Так кричала, когда я уходил. Кажисть, ажно до сюда слыхать было. Вы не слыхали?

- Я?.. - рассеянно в полу улыбке пробормотал Мирон. – Ан нет…не долетало…

Отыскав нужный ключ, он взял воткнутую между брёвнами лучину и подошёл к стене. Посвятил – вдоль стены тянулся высокий, почти до потолка стеклянный шкаф, узкий, с чёрного дерева вставками богатой

староисландской резьбы. Свет лучины вырвал чудные резные образы: человекоподобные волки, распятые рыси, огромная выкрашенная зелёным сова с кореньями вместо лап, схематические изображения атомных реакторов. Замок сразу поддался, и в отворившемся пространстве показался нестройный ряд кольев. Перебрав колья, Мирон взвесил в руке полутораметровое, с золотыми кольцами, наболдажником в виде Сатурна и четырьмя острыми лучами, спускавшимися вдоль тела.

- Энта? – Павел любопытно заглядывал в шкаф.

- Энта! – остро хлопнул дверцей Мирон. – Восьмёра, ты говоришь, ужо есь, а то ещё пригорит кто, Сатурна возьму в помощь.

Подойдя к двери, Мирон обернулся, рассеянно обвёл хату взглядом и громко четыре раза топнул о пол:

- Готовь избу, Докрор, - мертвецы будут! – громко произнёс он подпол.

Когда они вышли со двора, солнце уже занялось, горизонт, где ещё недавно полыхало, теперь чернел, сырой дым стелился по полю, крики и вой, сменился плачем. Мирон шёл статно, хоть и прихрамывая, Павел торжественно нёс кол перед собой, на вытянутых руках.

- Дядя Мирон.

- Мирон идёт.

- Слава те Всевышний, Мирон пришёл.

- Кончились ваши мучения голуби вы наши ненаглядные.

Запричитали вокруг и расступились, пропустив Мирона к умирающим.

- Ну что, погорельцы! – зычно поприветствовал толпу Мирон. – Аки горе нас посетило!

- Аминь! – как один выдохнула толпа и, сняв шапки, перекрестилась.

- Аки горько мине видети всё эта-а! – Мирон широким жестом обвёл чёрную груду обгорелых людей, приваленных еловыми лапами. – Аки, да примем же дар Божий!

- Аллилуйя! – снова выдохнула толпа.

- Коза-дереза идёт, а кого она забудёё-ёт! Уж ни окрику, ни попрёкушка не слыхали ушки твои да прозрачные-е! – с воем повалилась в снег молодая баба. Перед ней вяло теребил сгоревшими ручками младенец.

- Опомнись, Пелагея Карповна. – одёрнул её и оттащил к толпе сивой с костным лицом старик. – Святой среди нас.

- Выходи сюда Константин Ярчев сын, Авдотья вдова, Клим кривой. – Мирон ногами отбрасывал еловые лапы, низко кланяясь и сверля глазами каждого умирающего. – Хиросима, дочь Петрова, Ялик с женой Павой, Осип горемычный, Кисель пришедший издалека, и ты Павлушка горемычный, ступай в скорбный круг. – он махнул рукой Павлу.

- А-а… - парень, исказив лицо и едва не выронив кол, не понимая, бросился к лежащим погорелым.

- Вона, тятя твой. – Мирон пальцем ткнул в скрутившегося калачом мужика с дымящейся головой, тот отчаянно выл. На снегу у его ног медленно расплывалась лужица мочи. – Мирон не ошибается.

Люди, названные Мироном, подошли к родственникам.

- Ну что ж, помолясь… - Мирон перекрестился и громогласно объявил: - Кол мне!

- Кол ему.

- У кого кол?

Взволнованно зашелестела толпа.

Павел протянул ему Сатурн.

- Ну, коли ты со мной утро встретил, ясный сын Николая Павел, с тебя и починать. – Мирон крепко обеими руками вцепился в кол. Древко тут же утонуло в его огромных гладких как у ребёнка ладонях.

- Можно оклемается? – гримасничая, заревел Павел, бело-зелёные сопли потекли по гладкому лишь слегка тронутому первым пушком лицу. – Дядя Ми…

- Ты хочешь, чтоб твой прародитель мучился из-за тебя!? – нахмурил брови, привыкший к подобным разговором Мирон.

- Слушайся его, Павлушка. – запищала какая-то древняя старушка из толпы. – Тятьке твому всё одно кончаться. Пущай хотя смерть приметь блаженную.

- Не упорствуй Паша, я тебя к себе жить возьму, от хаты то твоей поди ничего не осталось. – видный, круглоголовый, в полторы сажени мужик вышел из толпы и крепко прижал к себе парня. – Будешь у меня бочки мастерить.

- Иди, Павел. – скрипнул Мирон. – Да успокоитти твоя душа, Николай. – он колом перевернул скрючившегося мужчину на спину. Тот истошно заорал и стал вырывать кол у Мирона из рук. – Павел! Павел!!! Я кому сказал. – боролся Мирон.

- Тятя! Тятя, пусти! – Павел бросился к обезумевшему отцу и, разжав руки, завернул их за спину. – Прощай, тятя.

- Да будет тебе земля пухом. – прицелился в яремную ямку Мирон. – Прощай Николай. – ладно наточенное остриё кола как в масло вошло в Николая. Тот захрипел, дёрнулся и тут же замер.

- Аминь. – пропела толпа.

- Папка… – плакал Павел, всё ещё удерживая руки отца за спиной.

- Ой! – вдруг послышалось из толпы.

Крепко укутанная девчушка, потеряв сознание, повалилась в снег.

- Водки ей дайте и мне заодно. – сказал Мирон и, минуя сразу нескольких обгоревших, подошёл к Дарье.

Дарья лежала на спине, выкатив обожжённые уже незрячие глаза, открыв рот и отрывисто, словно скачками дыша – молодая, прекрасная, в прогоревшем тулупе, надетом на изодранную ночную рубаху.

- Иди сюда, Осип, - горе у тебя. – с горечью в голосе произнёс Мирон.

Толпа притихла. Смоляной, похожий на чёрта цыган подошёл к Мирону, горящие обычно глаза его едва тлели, коричневое лицо застыло маской.

- Горе у тебя Осип, и у нас всех горе.

- Максимку плотника надобно позвать. – послышалось из толпы.

Цыган вздрогнул, Мирон зло свёл брови.

- Выйди, Максим.

Кто-то толкнул в спину бледного с дымящимися волосами парня. Тот сделал по инерции шаг и замер.

- Ну что стоишь, плотник? – не глядя на него, произнёс Мирон. – Подойди сюда.

Осип резко повернулся к нему спиной.

- И у тебя горе. – обратился к Максиму Мирон. – Не было свадьбы, да любовь была. Ну, на всё воля богов.

- Лучше б ты сгорел! – с сильным латышским акцентом прошипел цыган. – Чтоб…

- Не желай зла ближнему, Осип, грех это, а он и так помрёт, чай верёвки в хате Куркуля крепкие. Большую утрату понесли мы, Осип…

- Кажись, кончается. – сказал Павел, всё ещё не отходивший от отца.

Дарья высунула красный в язвах язык, изогнулась дугой и теперь уже вместо хрипа, изо рта у неё вырывался стон.

- Ну что ж! – повысил голос Мирон. – Прощай, раба Божия Дарья. Тринадцать годков пожила ты на свете, тринадцать годков имели счастье мы лицезреть твою смоляную головку. Прощай.

- Аминь. – выдохнула толпа.

Мирон прицелился и с размаху всадил кол девочке в яремную впадину. Закатив глаза и выпустив пену, Дарья умерла. Кровь чёрными змейками поползла по покатым щекам и шее в снег.

- Дочь моя! – бросился к ней цыган.

Максим стоял, не шелохнувшись, и лишь часто моргал.

- И та-ак, Кисель, выходи к людям – горе у тебя…

Спустя час Мирон уже сидел в просторной, жарко вытопленной избе мануфактурщика Петра Ефимовича Егорова за огромным ломящимся от яств

столом. В щелях и за плотно запертыми ставнями гудел разрезвившийся по редколесью северный ветер, где-то во дворе грохотал плохо прилаженный лист меди. Шумная толпа селян, тёмно синяя в густом золоте тёсанных дубовых стен, теснилась по обе стороны от царственно ниспадавшего на стол аналоя. Мирон, розов сквозь шерсть, с лоснящимися сухими волосами и разобранной на груди рубахе казался счастливым. Он дубовым крюком поддевал оленьи лепёшки, обильно смакивал их в кадушке с карамелью, отправлял сие в огромный на треть лица рот и тут же причащал губы шипящим мартини.

- Батюшко Мирон, покрой избу теплом, хозяина золотом, землю снежком, хозяюшку меринком а девушку женишком.

Стол одобрительно загудел воззванию.

- Друже Пётр! Я чувствую себя во рту! Во рту у богатого и мудрого хозяина. – Мирон обвёл рукой пространство дома. – Мне тепло, просторно, ничто не давит мне в плечи и не гниёт, застряв. Здесь прекрасно пахнет человеком и-и-и… - он лукаво сощурился. – Никому не придёт в голову меня проглотить.

Гости дружно рассмеялись.

- Но… У нас горе. Да будем же помнить. – Мирон вскарабкался на стол. – У нас горе!!! Да и не дадите вы мне глагол неверный подобрать, аки как горе к нам пришло!

- Смирен Мирон. – встал из-за стола кряжистый с тремя руками мужик. – Прими старец благодарность нашую. – поклонился. – Что ты в гории нашем изнашёл сил своих принесть тело свое болезненное да нас, да колом своим освящённым поразрывать телы наши грешныя наших родичей.

- Спасибо дядя Мирон.

- Спасибо.

- Будь здрав, добрый дедушка.

- Спасибо, Мирон.

Стол, словно потревоженный улей загудел благодарность.

- А во-о-от и яство заморское! – скрипнула дверь и в избу вплыла необъёмная с лицом-блином женщина. В руках у неё переливался всеми цветами радуги хитроузорный с аршин высотой торт. – Мороженое «Сильвия» с кокаином. – торжественно водрузила она поднос на стол. – Сейчас виньетки для него принесу.

- О-о-о. – склонился над тортом долговязый похожий на коромысло старик.

- Тётя Таня из Дубая с доброй вестью прислала. – пояснял присутствующим хозяин дома. – У нас Таня, ну, вы её помните, в Дубай к мужу уехала и-и-и…

- Сейчас отведаем сей крендель дивный. – перебил его Мирон, окунул палец в торт и, зажмурившись, облизал. – У-у вкуснотища-то какая, уж лет триста почитай такой сладкостиной ня подчивался.

- Кушай, милый. – хозяин дома пододвинул торт к нему.

- Угощайся дядя Мирон. – на стол вскочила юркая белоголовая девчушка с опорожняющейся кожей и, заикаясь от волнения, стала говорить явно заученный заранее текст. – Всё сегодня для вас. Все сегодня для вас. Кушайте и душами нашими любуйтеся яко светом планеты вечной. Кушайте, дедушка. – и она, на ходу задрав поросшую мхом с сырыми разводами рубаху, ловко накрыла гениталии мороженым и по паучьи попятилась к Мирону.

- О, София! – старушечьи всплеснул руками Мирон и с умилением припал ртом к нежнейшему влагалищу. – Аки плоть Тан-Христова сладка. – всё глубже и глубже проникал он в чрево.

- Девица София покажи дедушке коричневую дырочку! – прокричала мать.

- Помани, помани нутром. – послышалось из толпы.

- Да, доча, анусом нерукотворным помани гостя.

- Ай, София! – зычно прошептал Мирон, широко разведя девочке ягодицы и насадив анус пальцем, как рыбу крючком. – Ай дивны дары Божии, ай чудны тайны его. – он извлёк палец и с упоением облизал охристую калу, пирамидкой насобиравшуюся округ ногтя.

- Дядя Мирон. – раскраснелась от волнения девочка.

- Рано тебе ещё заходиться. – строго произнёс Мирон, заметив передавшееся девочке волнение.

- Ну, дядя Мирон. – закапризничала Софья.

- Ра-а-ано-о-о! – громогласно протянул Мирон в толпу. – Иди, дитя, покачаю тебя лучше на коленках, ещё набалуешься.

За столом восторженно вскинули руки.

София юрко соскочила со стола и примостилась Мирону на колени. Едва вжавшись в сухое тело старика, она незаметно просунула ладошку себе под рубаху и ввела мизинец в анус. Сидевший по правую руку молодой мужчина с лиловым окаймлённым густой сивой бородой лицом, ласково погладил её по волосам.

- А что, Мирон. - обратился он к старцу. – Докрор так за зиму к своим и не выходил? Сказывали, что в прошлую зиму частенько в лесу его видывали.

- Брешут всё. – Мирон зачерпнул ладонью маринованных мухоморов и с аппетитом отправил в рот. – Брешут черти. – вытер руку о бороду и, как бы дразня указал пальцем на раскладывавшую по виньеткам мороженое хозяйку. – Как прошлую зиму в погребе просидел, так и эту собирается – болеет он.

- А работу, как, тянет?

- Работу Докрор свою всегда тянуть будет, я помру, а он тянуть будет.
- Помянем.
- Помянем.
Зашевелились за столом.
- Ну! Почуйтесь, гости драгоценные. – хозяйка, радостно перемигиваясь с хозяином, парила за столом.
- А как ты говорила, чудо сие заморское зовётся? – раздался уже крепко выпивший голос из-за стола.
- Си-льви-я-я-я. – по слогам сказала себе под нос София и повернула блюдо по часовой стрелке.
- Так американцы звались. – учтиво сказал ей на ухо Мирон и сменил затёкшее колено.
- Мороженое с кокаином «Сильвия»! – в один голос картинно произнесли хозяева. – Угощайтесь!!!
- Крепко, крепко. – причмокивал губами Мирон, поглощая белоснежную горку.
- Лепо ли тебе, старец сказочный? – расползлась в улыбке хозяйка.
- Три чиьря мне в бороду да четвёртый под горлышко! – озорно встрепенулся Мирон, чем вызвал заметное удовольствие у всех сидевших за столом.
- Аки вкусна. – обсасывала узоры девочка.
- Сладка-а-а! – доносились со всех концов восторженные возгласы.
- Тебе нравится, дитя небесное? – Мирон угостил Софью из своей ложки.
Софья взяла ложку в рот, и зубы тихо стукнули о тонкое серебро.
- Очень нравится, дядя Мирон. – ангельским голоском ответила она. – Тока я пи-пи хочу.
- Токмо иди до ветру. Чего конфузисси? – Мирон заглянул ей в глаза.
Девочка резко пожала плечиками и улыбнулась.
- Ну, иди, чего смотришь, не держи в себе. Ороси мочицою снег-царь, чай, во дворе ужо и так нагажено.
А двор и впрямь был загажен: чёрные крючки кала, красно лимонные размоины, кровь и изрыгания. С тудом отыскивая чистые места, Софья ступала босыми ножками по снегу. И вдруг в свете, падавшим из выщерблены в клети, она увидала необычный блеск. Прыжок, прыжок, трусца по заиндевелому перевёрнутому на попа корыту и в углу у конца забора возник чёрный силуэт. Таинственное мерцание усилилось.
- Подойди, пожалуйста, ко мне.

Голос, что раздался из тьмы, показался Софье тёплым, его старческая скрипучесть, мягкие, почти свистящие эм, эн, пэ заставляли проникнуться к говорившему симпатией.

- Не пугайся меня, дорогая, я друг тебе.

- А-а…кто вы? – девочка переминалась с ноги на ногу, разминая коченеющие на снегу ступни.

- Кто я?.. – голос сделался серьёзным. – Ты много лет к ряду видела меня, даже, скажу фразу, способную вызвать у тебя шок. Ты готова к этому?

- Вы пугаете меня. Кто вы?

- Ты готова к этому?

Софья попыталась вглядеться в темноту, но силуэт оставался недвижим:

- Да.

- Ты 1112 раз мыла во мне руки, 894 раза после нужды, 613 после еды, 137 просто плескала ладоши.

- Меня зовут Софья.

- Отец зовёт тебя Софа, когда ты заигрываешься во дворе.

- Кто ты?

- Бочка. – ответил и отчего-то горестно вздохнул силуэт.

- Наша бочка? – схватилась за лицо Софья и раскатисто рассмеялась.

- Что тебя рассмешило? – несколько оскорбился голос.

- Мо…мо. – давилась от смеха она. – М-мороженое пришло. А-ах-ха-ха…

- Из Дубая? – спросила бочка.

- У… у-уже из-за стола. – раскачивалась, держась за бока, Софья. – А откуда ты знаешь про Дубай? Ты что был за столом. Или ты ещё скажешь, что тётя Таня тоже в тебе руки мыла?

- Да нет. Просто я вчера разговор слышала секретный. Твои мама с папой шептались, что хорошо было бы – цитирую: «для ентого торта мороженного какой праздник соорудить». Ну, да бог им судья.

Софья представила, как таинственный незнакомец махнул рукой.

- А что за праздник? – спросила она.

- А ты что не слышала – пол станицы погорело.

- А-а, так то горе.

- Ну, кому горе, а кому пир, у кого в племянниках Алёша.

- Не понимаю я речей твоих, незнакомец.

- Значит, и не надобно понимать, мала ещё. А придёт время, про то поймёшь, что коль великое дело задумалось, готов будь к жертвам немалым. А как всё свершится, как пожнёшь ты плоды с поля в жертвах этих воспаханного, так и поймёшь всё и простишь всех.

- Ай, и мудрёны речи твои, незнакомец.

- Не так мудры, как ты ещё дитятко не готова к пониманию их. Не от того, что ты глупа, не-е-т – просто это не входит в область твоего понимания. А сейчас сделай дело доброе, Софьюшка, мочи нет терпеть боле…

- А что приключилося у тебя друг немощный. – Софья вдруг всем сердцем почувствовала жалость к незнакомцу.

- Замерзаю я…

- Тако пойдём в дом, отогреисси. Тока я пописаю, и пойдём. – Софья подкасала рубаху.

- Стой, стой, дева непорочная, не мочись, выслушай, молю. Вижу, не веришь ты мне.

- . – девочка замерла в полу присяди.

- Сядь мне на ободочек. – голос незнакомца встал на колени. – Да спусти ты мочицу свою раскалённую на ильдину мою злопосаженую, задыхаюся я под ней.

- А может тебе ещё и пальчиком по мастурбировать?! – вдруг юношески вспыхнула девочка.

- Ты мне дерзить будешь?! - вскипел и голос. – Да я тебя в солдаты отдам!

- Не забывайся, челядь. – топнула ножкой Софья. – Господ в нашей губернии отродясь не водилось и на испуг меня не бери.

- Ладно-ладно… прости, милая, бес попутал, зла не желаю, а нервы не к чёрту. Забудем, забудем, прошу милая…

Софья на ощупь подошла к бочке, потрогала обод, осмотрелась. Вокруг действительно никого не было.

- Ты ли это?.. – прошептала она бочке.

- Как видишь. – последовал смиренный ответ.

- Чудо…

- Мир полон чуда, сей мир весь есть чудо и мы в нём чудеса и осознание этих чудес тоже есть чудо…

- Ой, как глаголешь ты по-иночески.

- А я и есть инок смиренный, почитай двести лет почиваю в теле сем, и одному богу ведомо, сколько ещё отмеряно…

- Ты христианин?

- Старовер, моё золотце, ну же вскакивай быстрее, да направляй струю обжигающую в меня, да буду ждати я появления твоей вульвы пред очами моими, буду ждати её, аки дерева черностволые так весны не дожидаются, аки я воды из чрева твого. Давай, девочка, давай.

Подтянувшись на петле забора, Софья с трудом вскарабкалась на бочку, села и стала мочиться на ледяную корку, покрывавшую её поверхность. Лёд

сиял под ней, как то морожено. Постепенно струя сверлила ледяное тело, бочка тихо постанывала.

- Давай-давай, моя милая, уж чую я свет лунный.

Корка лопнула и на поверхность хлынула вода, София растолкала ножкой оставшийся лёд и села на забор. Мерцавшая раньше поверхность теперь чёрной дырой смотрела в небо, и лишь редкие шрамы отражавшейся луны напоминали о том, что поверхность колышется.

- О, как хорошо, о-о-о!.. – бочка всасывала в себя морозный воздух, голос её окреп и как будто помолодел. – Как же хорошо, милая Софья. Слышишь ли ты меня? Я благодарна тебе.

- Это я благодарна тебе, что позволила доброе дело совершить. – гордилась своим поступком Софья.

- Добрые дела, это клад. А знаешь ли ты, что сей клад был недоступен нашим предкам, погрязшие во мраке, в бесовстве, они унижали один одного, радуясь и ликуя несчастьям. Мне много лет, я видела и слышала многое… А хочешь, я расскажу тебе несколько историй?

- Рассказывай. Только быстрее, а то, кажется, уже отпускает.

- Ты не веришь мне… - сокрушилась бочка.

- Ну, я же не полная идиотка. – Софья жеманно жестикулировала. – Я прекрасно понимаю, что мой мозг сосчитал все 1112 раз, когда я полоскала в тебе руки, совершенно не спросив у меня, что, что… ну, что меня сейчас неплохо прёт, что…ну, в общем, я всё понимаю, но всё равно внимательно тебя слушаю и даже немного верю в твоё существование…

- Ая-яй, молодёжь, ты не меняешься, всё такая же недоверчивая, всё такая же плоская. Ну, ничего, завтра тебя отпустит, приходи, мы вместе посмеёмся над твоим неверием. А сейчас слушай. И снова ночь. – голос у бочки в третий раз изменился, теперь он напоминал умудрённого опытом рассказчика с древних дисков с записями книг. Потрескивание мороза, утробный гул из хаты, клёкот борющегося со свиной бедренной костью сторожевого пса, блеск воды – всё настраивало юную Софью на сказку. – И снова ночь. – повторила бочка, словно заклинание. – Как раз такая, какую я люблю. Июльская, отдыхающая от дневного пекла, с бездонным, усыпанным миллиардами Звёзд небом. Мне так нравится, когда их отражения играют на моей прохладной глади. Они малолетними детьми плавают на зерцале воды и словно замыкаются в моём диаметре. У людей есть такой персонаж – Ловец Снов, а у нас – бочек – Ловец Звёзд. Я – бочка, немолодая и четырнадцать раз перекрашенная. До того, как твой отец, Софья, ни привёз меня сюда и ни оцинковал мне тело, у меня был ржавый, вогнутый обод, отчего мой Ловец Звёзд выглядел не очень прилично, но какой есть, как говорится – Бог дал, Бог

взял, и на этом спасибо. Помимо неба я ещё вижу и часть окружающей меня суши: пол века это были нависшие ветки кустов, узловатые лапы яблонь, посаженный на болты, поскрипывающий в непогоду громоотвод, и, собственно, сама стена, у подножия которой я жила. Её, стремительно вздёрнутую ввысь плоскость я ощущаю постоянно, даже сейчас, когда этой стены и в природе не осталось, это что-то вроде носа. Ну, вот на пример, у тебя, Софья, – нос всегда вроде в поле зрения, да? Но за ненадобностью он словно бы стал незаметным. А теперь мой мир – это вот этот забор, кусок хлева, и всё тоже не меняющееся в веках небо. Сама стена, у которой я жила, в свою очередь принадлежала пятиэтажке, «жила», как её называли прохожие.

- Прохожие? – переспросила Софья.

- Тебе непривычно это слово. Я понимаю. Раньше люди допускали не знать друг друга. Они могли проходить мимо друг друга, в своей гордыне оставаясь абсолютно безразличными друг к другу. Прохожие… О да!!! Прохожие! Прохожие были для меня всем. По правде сказать… все эти звёзды, глубина неба, уходящая ввысь стена, кусты и прочая природная муть – кал: самое главное моё возбуждение было – прохожие, дорогие мои проходимцы, лекари моей отравленной летом души, герои моего ободка, они будоражили моё воображение и во времена, когда ободок был по-девичьи гладким и, потом – слегка изогнутым, и много позже, когда он порос ржой и покрылся трещинами. Мои прохожие! Я помню каждого из вас, каждого в отдельности, ваш запах, ваши голоса…они никогда не выветрятся из моего сознания. Именно о них я тебе сейчас и расскажу. А пока немного предыстории. Тебе удобно там?

- Зябко. – Софья сжалась в комок.

- А ты проникнись моим словом, и мороз отстанет, как дурная хвороба от причастившегося. Слушай. Проснулась я, а точнее, включилась, от отвратительных ударов по мне. Били в бок. Это был Иван Кузьмич. Он разбудил меня кувалдой. Он заботливо обмотал баёк тряпкой, чтобы не повредить мне краску. Первый мужчина в моей жизни… и навсегда единственный. Именно тогда я впервые увидела ту стену, тогда ещё молодую. Дом только начали заселять. Иван Кузьмич меня установил под своим окном, он поселился на первом этаже, и я часто видела его щетинистый подбородок, когда он курил, высунувшись из окна. Много позже я поняла, что всё таинство моего рождения было связано с одним лишь единственным ритуалом – поливать огород. И ничего личного. Сказать, что тогда это открытие стало для меня ударом, значит, ничего не сказать. Но годы уходили, а вместе с ними и моя боль понемножку рассасывалась. Но… ничего личного, Иван Кузьмич достойный человек и

спасибо ему за то, что он был в моей жизни. А тогда, в день моего рождения, я, с замиранием следила, как он вкопал меня по пояс в землю, подпёр кольями, нежно провёл грубой ладонью по сверкавшему свежей краской ободу и оставил смотреть в небо; ни кустов, ни, тем более, деревьев в то время ещё не было. Так и предстояло мне стоять, от крайности до крайности – от зимы до лета, от лета и до зимы… Зима…зима, Софьюшка, – философская для меня пора. Узоры на глазах, что-то подсказывает мне, что по ним можно узнать своё будущее, стоны деревьев по ночам, крик земли… А вот лето совсем другое дело – испарение…прохожие…романтика… Я и сейчас летом чувствую себя мокрой, да-да до сих пор, моя дорогая. Летом, там, где я жила, только и успевай, что слушать и смотреть. Вот, для примера, самая обыкновенная история, тыщи, тыщи подобных промелькнули перед моим ободом. Идут, двое, шажки робкие…романтические. Я жуть, как люблю всё романтическое! Одни – сланцы, шаркают, это Юрка, в соседнем доме жил, он тут часто бывал. Пронырливый школьник. Никогда ни забуду, как он, гандон, во мне котёнка утопил, к кирпичине привязал и бульк… А другие шажочки босенькие, семенящие. Ну не иначе Светку ведёт. Я её по запаху всегда узнавала. Как из памперсов вылезла, так и начала какой-то цветочной водой поливаться. И сколько лет уже!.. Ценю постоянство. А время как раз подходящее – первый час. Луна-а-а… Из-за неё, родимой, мне видеть плохо. Вся поверхность в золотых бликах. Я прислушалась. Чувствую, подошли, облокотились на меня. Ага, чувствую, платьице льняное, прохладное, а под ним ягодицы – горячие, живые, трусиков не нашла, наверно, думаю, эти, как у них сейчас модно, две нитки, кусочек тряпки, а одна нитка по бороздке пущена. Так сзади смотришь, вроде жопа и голая. Класс!!! А он, значит в шортах байковых, попа упругая – спортсмен. Одной рукой за меня держится, другой не чувствую, видно Светку прижимает, подумала тогда я. Я же говорю, всё меня на романтику тянет. А потом гляжу, он бочком так ко мне повернулся, а в руке водка, донышко бледно изумрудное. Он колпачок так с треском открутил, посмотрел по сторонам, поднял с земли доску и положил её мне на обод – что-то вроде барной стойки получилось. Открытую бутылку поставил на неё. Опасно, тогда ещё подумала я. Рядом появился пластмассовый стаканчик.

- Сдует… – еле слышно сказала Света.

И правда, от внезапного порыва ветра стаканчик затрясло.

- А мы сейчас нальём, и не сдует.

Юрка налил пол стакана.

- Я не буду. – с едва уловимой игривостью Света выставила миниатюрную ладошку вперёд, вроде защищается.

- Чего? – Юра попытался поймать её руку.

- Не хочу.

- Чего «не хочу»? Это ж водка. – он окунул пальцы мне в воду и дружески брызнул в Свету.

- Ну! – засмеялась та. – Холодная.

- Посмотри, какая ночь. – Юрка сделал паузу. – По пол стаканчика. Я и сам больше не хочу.

- Юра, ну я не могу… сегодня.

- Не понял.

- Ну, бляяя, ну-у-у… – по-детски непринуждённо жестикулируя, говорила Света. – Родаки у меня, пиздец, унюхают. Вчера вообще пиздец… Дай сигарету.

Юра достал сигарету, сам подкурил. Затем подошёл к Свете вплотную, обнял киношным жестом, так, чтобы дымящаяся сигарета оказалась у её губ, но как бы слегка позади, и, ничего не говоря, поцеловал в губы. Они долго боролись языками, пока Света не прогнулась ко мне, почти мостиком и не засмеялась. Юра протянул ей тлеющую сигарету. Света затянулась.

- У-у. Винстон…

- Угу. – сплюнул на траву Юра. – Лайт. А как ты разглядела? Здесь же темно.

- Я по запаху… Отец такие курит.

- А мой – Астру.

Света приятно засмеялась.

- Ты чего?

- Да так… Астра – сластро. Чего-то в голове всплыло.

- А-а… – качнул головой Юра. – А что дома? Ты говорила…

- А? Вчера. – продолжила она взволнованно. – Пошли с Зинкой в «Алла…

- Подожди. – оборвал её Юра. – Помада размазалась.

- Где? – Света ощупала лицо и с улыбкой добавила: – Я думала, ты всю съел.

Юра провёл большим пальцем по пухлой Светиной губе. Они на секунду замерли. Казалось, они подумали об одном и том же. Не дожидаясь пока он уберёт руку, Света продолжила:

- …пошли в «Алладина» на танч. Зинка спиздила с дома пол бутылки ликёра. Так прикинь, мои просекли. Только пришла, мать сразу, хуяк,

куртку понюхала. Почему, грит, сигаретами воняет. Я грю, во-первых, не воняет, а пахнет, а во-вторых, в «Аладдине» все курят – пропахла, волосы, знаешь, как тянут…

- Так и сказала!? Клёво. – Юра уже держал стакан в руке.

- До чего же необычно они глаголют. – дрожащим от холода голосом проблеяла София. – Прям половину не разберу.

- Такое наречие тогда ходило. – со вздохом сожаления сказала бочка и продолжила рассказ:

– Да-а… – видно Светку слегка повело от сигареты, и это «да» вышло несколько возбуждённо-истеричным. – Сука. И папаша выполз. Как только от «спутника» отлип? Он там постоянно гонки смотрит. Грит, каким-то одеколоном несёт. Бля. Кретины. Пол ночи мозги ебли. Так я с утра, под шумок, съебала на улицу.

- И чё ты целый день делала? – Юрка поставил пустой стакан на досочку.

Порывшись в пакете, он достал бутылку лимонада и сделал несколько больших глотков.

- Та-ак, – это «так» сильно напомнило недавнее «да». – С Зинкой телек смотрели, потом в беседке сидели с девками. Раскрутили эту дебилку Катю на пиво. Прикинь, она говорит, что от травы зубы зеленеют.

- Пиздит. – презрительно сказал Юрка.

- Да ясный конь – пиздит. Дебилка, мне её бывший одноклассник расска…

- Давай соточку, а то, что я алкаш? Один пью.

- Бля! Если меня сегодня засекут, мне пиздец. Дома запрут. А я хочу в августе в лагерь махнуть.

- Типа «Артек».

- Да «Чайка» называется, в Крыму. Я там в прошлом году была – клёво…

- Так ты за запах паришься? – Юра удивлённо на неё посмотрел.

- .

- Смотри, берёшь лист, ну вот хотя бы с этой яблони, и им заедаешь – вообще никакого запаха не будет. Как будто ты весь вечер не водку пила, а яблоки жрала. Поняла?

- Чё, серьёзно?

- Бля! Я что гнать буду?!

Света докурила, и окурок полетел в кусты.

- Ладно, только нарви мне этих листов – я не достану.

Юра потянул к себе ветку и с хрустом оборвал листья, на землю посыпались яблоки.

- Во, и яблок на закуску. – он налил в стаканчик водки, чуть больше половины и протянул Свете. Та взяла стакан и посмотрела на него, приподняв перед глазами, так, чтобы лунный свет прошёл сквозь его прозрачные стенки. – Нормально? – спросил Юра.

- Дай воды, – Света поболтала водку в стаканчике.

Юра открыл лимонад и протянул ей.

- Налей. – приказала она.

- «Ерша» любишь?

Света тревожно улыбнулась:

- Легче заходит…

Она в три глотка выпила получившуюся смесь и запила её лимонадом. Попросила ещё сигарету.

- А я вчера у Сани татуху набил. – продолжил разговор Юра.

- Где?

- Во!

Юрка поставил ногу мне на обод.

- Клёво! А что это? – Света наклонилась ко мне и с любопытством разглядывала Юрину голень.

- Роза с сердцем. – гордо ответил он.

- Ты романтик, Юра…

- Эта тату говорит о моём характере – сильный и опасный, и одновременно нежный и сентиментальный. Саня из книги бил. Его брат в зоне, так Саня сейчас через него всё узнаёт: какую музыку слушать, тот ему с кичи стихи передаёт, прикинь, там у них поэты свои есть! Саня книжку купил с блатными понятиями – сейчас феню разучивает, хочет, как брат откинется, быть готовым.

- А я брата его знаю. Длинный такой. – Света сделала серьёзное лицо.

- Да, он с моим батей на стройке работал, пока не повязали. Он мусора в кабаке на перо посадил.

- Клёво…

Юра разлил, и они выпили ещё по одной. На этот раз с тостом «за Пыжа», так звали брата.

- А ты бы хотела себе масть?

- Масть? Грубо звучит. – Света наморщила носик. – Это-о… у пацанов масти, а у девушек как-то по-другому должно называться. Ха-ха…

- По-другому! Ха-ха. Сказать, что у девушек по-другому называется?

- Не на-а-а-адо… – Света отмахнулась от него, словно от комара.

- Не надо? – не переставал смеяться Юрка.

- Ха-а… Всё другое…

- Что-о? Ха… ведёт? А-а?

Светка раскатисто рассмеялась.

Смеялась она долго и задорно, обхватив живот, и уперевшись слабеющими коленками друг в дружку, отчего её тонкие, как у кузнечика ноги стали напоминать Х. Юра в это время, весело ей подыгрывая, делал вид что помогает не упасть, а сам методично жал ягодицы и искал ещё не до конца сформировавшуюся грудь. Минут десять они так обнимались, пока Света не закрыла влажный Юрин рот ладошками, по которым, как я подозреваю, уже бежала алкогольная зыбь.

- Ю-Ю… Юра, перестань… Ты думаешь?..

Юра сбавил обороты и, не переставая обнимать её одной рукой, другой потянулся за водкой.

- Н-нее… – Света попыталась высвободиться от его руки. – Всё-ё, я б-больш не пью. Сколько у тебя ещё сиарет? – язык заметно заплетался.

- Како смешно у тебя получается пьяного изображать. – захихикала София. – Мой папа такмо, ежели хмельной сигарету сиарэтай кличет.

- Слушай, слушай Софиюшка, да на косу мотай. – увещевала бочка. – Юра налил стакан и протянул его отворачивавшейся от него Свете.

- Последнюю. – весело сказал он, и сунул стакан, чуть ли не под нос. – Смотри! – он округлил глаза. – Лето! Луна! Ночь! Никакой школы! Любовь… – последнее слово он выговорил с особенным пиететом. – Разве можно терять такую ночь?..

Света заметно обмякла и теперь стояла только потому, что упиралась коленями Юре в ноги. Она по-прежнему смотрела куда-то назад, как будто пыталась заглянуть за меня. Затем снова стала вырываться, но уже куда более вяло.

- М-мне… нужно… носик, ха-ха…

Юра понял, в чём дело и разжал руки.

- Я жду, вот твоя водка. – сказал он. – Свет. Света! Ты меня слышишь?

Света глупо улыбалась себе под нос и крепко держалась за меня.

- Моя вод-дка, тольк-ко мо-ойя… – бубнила она.

Света, сделав нетвёрдый шаг в сторону, села на корточки.

- Стой! – только и успел крикнуть Юра. – Глупышка моя. Давай я тебе помогу.

Он подхватил её под мышки. Света приподнялась и упёрлась руками в стенку, она смеялась, но если ещё недавно она смеялась зажигательно,

даже сексуально, то сейчас её смех был слегка отталкивающим, она словно задыхалась и, одновременно, пыталась заплакать, но всё-таки это был смех, а когда смеётся школьница, я опускаю голову. Сквозь смех проступали и обрывки фраз, но они были не очень членораздельны, единственное, что удалось идентифицировать, было: сама, трусы, пиздец и держи. Она кое-как одной рукой всё же стянула трусы и опустилась в привычную позицию. Юра придерживал её за руку. Послышалось журчание, и к запаху ночной зелени примешался аромат тёплой мочи. Судя по выражению лица Юры, это не доставляло ему удовольствия. Прозрачный ручеёк скользил вдоль моего бока. И теперь своим теплом ласкал мои воспоминания. Спустя некоторое время Юра уже доливал Свете в водку лимонад. Она, видимо, решив взять себя в руки, стояла сама, придерживаясь за меня.

- За ч-что выпьем? – создав кривую улыбку и кокетливо сощурив глаза, сказала она.

- Давай за тебя. – с чувством промолвил Юра. – Ты такая необычная, я сразу тебя заметил, ещё в школе, в первой четверти, просто не решался подойти…

- ! – Света продолжала раскачиваться, казалось, она может слушать бесконечно.

- Ты тогда ещё ходила в такой салатовой кофточке с надписью «KISS» и кроссовках…

- Да. – довольно кивнула головой Света. – Мне мама на рынке купила, мне та-а-к понравилась охуеннннно кофточка, она просто охуеннннная, а она, блядь, ни в какую… Но всё равно купила…

- И причёска тогда у тебя была… Ты пей, водка стынет. Причёска такая… на пробор и заколка розовая «LOVE» я пом…

Пока Света пила Юра решил помолчать, видимо, чтобы она не поперхнулась случайно.

- …помню твой хвостик. Я спецом тогда на коридоре сидел, чтобы тебя видеть…

Света перевела дыхание, видно водка зашла с трудом, и спросила:

- А п-п-п… мммм…почему т-ты тогда не подошёл? Ты м-мне тогда больше Сашки н-нравился.

Юра трогательно пожал плечами.

- А ты н-не ревновал… мменя, когда я с-с-с Сашкой ходила? – Света явно стала теряться в реальности, и теперь мысли её текли ограниченно, оставалось теперь только направлять их в нужное русло. Что и сделал Юрка.

- А ты где татуировку хотела сделать? - слегка срывающимся от волнения голосом спросил Юра.

- А-а-а... – развратно протянула Света. – Ни скажу.

- Ты мне не скажешь? – Юра очередной раз подошёл к ней вплотную.

- Не-а… – она покрутила мизинцем у него перед глазами, на подобие «не шали».

Поцелуй получился затяжной. Лямка сарафана, не выдержав напора, соскочила, и Юра принял ладонью мягкий как кашица сосок. Дальнейшая беседа происходила в губы, обрывками задыхающихся фраз и перемежаясь ласками, но пока преимущественно односторонними.

- Ну скажи…

- Не-е-а.

- Ну, где?

- Тут.

- Где тут…

- Ну, здесь…

- Ну, где?..

- В фильме видела…

- Где?

- У Джессики…

- Ну, где? Где? Скажи…

- Тут…

- Где тут… Повыше или пониже?..

- Нет. Тут… Да не тут! О-о-х… Не…

- Света…

Они разлиплись. Раскрасневшаяся Света поправляла сползшее почти до пояса платье. Одна косичка распустилась и чёрной прядью спадала между сильно выступающих лопаток. Она сейчас стояла спиной ко мне, и я с вожделением рассматривала её спину, такую бледную, с тонкой шеей и выступающими в грудном отделе позвонками. Хребет её был немного подпорчен сколиозом, но именно это и делало её ещё так похожей на подростка. Неразвитая мускулатура едва обтягивала кости, отчего руки казались непропорционально длинными. В общем, чудный ребёнок-мясо, сама бы съела! Слегка раздосадованный Юра прикрывал футболкой выпирающий член.

- Я просто выяснить хотел… – оправдывался он. – Просто поближе посмотреть. Если Саня будет бить, нет ли каких неровностей. А какую татуху ты хочешь?

Света пожала плечами, не сводя с Юры глаз. Тот продолжал:

- Я с Саней перепизджу – он набьёт. Ну-ка ближе к свету… Вот здесь светлее. Покажи. Вроде нормально, – он провёл ладонью по ягодице. – Ну-ка повернись… это что у тебя? Родинка?..

Я увидела встревоженные, заинтригованные глаза девочки. Её растрёпанная головка нависла над моей гладью и почти касалась подбородком воды. Раскрасневшиеся от длительных поцелуев губы еле заметно подрагивали. Света, похоже, заметила меня, и взгляд её на секунду стал вульгарно-сучьим. Я тут же испытал непреодолимое желание схватиться за нож и размозжить её похабный говяжий нарост с обезображенными водкой чертами. Но, как чаще всего и бывает, мне всё происходящее просто привиделось. А Света, в момент мнимого прозрения и раскаяния просто увидела своё пьяное отражение в моей, залитой лунным светом воде, и оно ей понравилось, вот и вся правда, жёсткая и краеугольная. Запомни это лицо, сука, как я его запомнил, и да прибудет с тобой Господь. Нож!? Какой нож? Никакого ножа, как, собственно, и рук, в моём арсенале не было. Почему я уже столько лет не могу привыкнуть к этому, и всякий раз испытываю потрясение от своей беспомощности?.. Когда я пришёл в себя, Светины косички, одна мокрая и острая, словно крысиный хвост, а другая, разобранная в прядь, с торжественной ритмичностью колыхались в моём растворе. Её закрытые глаза с разводами приторно синей туши были прекрасны, а слегка нахмуренные бровки делали её похожей на только что испытавшую откровение Деву Марию. Новое лицо её утопало в Звёздах и светящейся в Лунном свете листве свисавших надо мной кустов. Я чувствовал её колени, что мягко постукивали молодыми менисками о мой давно не перекрашивавшийся бок, и вибрацию Юриных рук на моём ободе. Несколько капель тёплой крови испуганно прижимались к моей коже-цинку. Я последний раз посмотрел на, так поразившие меня брови, впился в приоткрывшиеся вдруг на секунду глаза, непроходимо карие, и на секунду мне снова показалось, что она увидела меня! Но нет. Нет. Этого не было и не будет уже никогда. Я собрал последние силы, чтобы плюнуть и снова потерял сознание. Прохожие. Прохожие… вы – Божье провидение, посланное на Землю дьяволом; прохожие, вы, ваша жизнь, ваши болезненные гениталии, и гениталии ваших детей всецело принадлежат мне – ржавой бочке, разбуженной ударом кувалды много лет назад. Я устала, эти переживания снова заставляют меня разговаривать с Богом. Но ты не подумай, милая София, круг моих интересов широк, как ещё не у всякого озера или бассейна будет. Так что ты не думай. Какая… Ха… тебе не кажется, что это слово попахивает дефекацией?

- Де… чем? – свесилась с забора София.

- А, не важно. – бочка махнула воображаемой рукой. – Какая чудесная была ночь, всего лишь хотела сказать я. А там – июль, костры, речная гладь, свежина, школьницы нарасхват. Они в сопровождении истекающей желанием свиты тянутся в леса, кусты… они, словно мухи, засиживают скамейки своими ежемесячно набирающими килограммы жопами, они, обласканные Луной, сидят, лежат, танцуют, целуются, дышат полной грудью… в те годы скамейка у магазина или, на худой конец, школы, это что-то вроде сеновала сегодня, стартовая площадка, то, где начинается новая жизнь, жизнь после кукол и творога с молоком… Как хорошо, что возле меня тогда не поставили скамейку! Я бы, наверное, сошла с ума. Но зато я – место привилегированное, VIP-место, место только для своих. Половина местной молодёжи повзрослело, прижавшись ко мне своими курчавыми головками, младенческими ручками, нежными попками… сколько сражений я пережила! Да-да, именно пережила. Ведь я принимала в них участие. Но что хорошо в таких боях, так это то, что в них всегда побеждает дружба. Знаешь, как собака. Она подбегает к тебе, ластится, хвостом виляет, дружится, а потом хлоп, вскочит тебе на калашену и давай наяривать. Но мы то знаем, что он друг, ДРУГ. А друг – это звучит гордо, несмотря на мелкие шалости с калашеной. Вот и дружат на мне все кому не лень: Пети, Вани, Жени, Сережи, Кати, Оли, Лены, Светы… а калашену и отстирать можно, лишь бы тебе было хорошо, друг, а калашена, на то она и калашена, что бы её носить, а когда запачкается – стирать, и так до самой смерти. Как там говорится – пока Господь не разъединит нас. Во как… Но что-то я замечталась. Мне кажется, или действительно кто-то идёт?

- Что? – встрепенулась София. – Никого нет.

- Нет-нет. Это я так, рассказываю. – словно впадая в транс, монотонно вещала бочка. – Не перебивай. Мне кажется кто-то идёт. Триста лет назад. Кто-то идёт, а гул от его шагов доносится и сегодня. Это удел только страшных людей или участь только для страшных людей, сложно решить. Шаги тяжёлые, что говорит об усталости скелета и мышц свойственное старикам, но быстрые, почти бег. Кто же это может быть? Если молодёжь, то почему такая уставшая, если старик, то почему ночью? Не узнаю. Ну-ка…запах. Есть. Узнала! Ну вот, только путём логических вычислений вычислила, так, на! – сама появилась. Теперь вижу и без запаха – матовая ХБ и фиолетовая химия. Почтенная Анна Константиновна Коренева. Помню её ещё невестой, тогда муж её, Геннадий Львович, нынче покойный, носил её в подвенечном платье вокруг дома. Обычай такой. Так вот помню, когда он устал, остановился возле меня, лицо сполоснул водой.

Такой красивый мужчина, статный! Кузнецом работал. Он тогда, значит, воды зачерпнул, волосы пригладил, ой, девки! Атас! Скулы литые, подбородок волевой... А Анну Константиновну с рук не выпускает, так на весу и держит. И улыбнулся так, зубы белые, и говорит:

- Аня, котёнок! Есл…

Она оборвала его страстным поцелуем.

- …если бы не ентот ритуал грошовый. – продолжил он говорить. – Я б тебя прямо здесь вы…

Поцелуй снова вмешался в разговор. Да… давно это было.

- Но что это с ней? Она явно встревожена.

Анна Константиновна в каком-то бешенстве пробежала мимо бочки, обогнула раскинувшуюся рядом яблоню и, громко охая, вернулась ко мне. С потревоженной яблони упало несколько плодов.

- Божечки, что же делать? – еле сдерживая слёзы и крутясь на месте, причитала она.

- Анна Константиновна, голубушка! Где же вы? – приятный старческий баритон доносился издалека, скорее всего от подъезда, что за оградкой.

- Божечки… – продолжала метаться Анна Константиновна.

Она явно чем-то встревожена. Ага. Вижу. Оглядывается по сторонам… бормочет. Слышно, как она перебирает ногами. Но почему на месте!? Всё, исчезла. Чувствую её тепло…села? Она что прячется? Что за игры, бабушка? О нет!!! Нет! Не-е-ет!!! Только не это!!! Заклинаю!.. по мою извращённую душу вы, Анна Константиновна, бабушка божий одуванчик, решили здесь насрать!!! Ая-яй… Если бы у меня была голова, я бы, несомненно, покачала бы ею, а если бы у меня были руки… нет, не угадали, я бы не погрозил вам пальчиком и даже не дал бы вам подзатыльник, я бы сломал вам нос и, прежде чем вы потеряете сознание, скормил бы вам всё то, что вы собрались тут насрать. Ко мне ж теперь ни один нормальный человек не подойдёт! Боже, какая вонь! Тут не то, что человек – ни одна муха рядом не сядет. Мне ж теперь сниться это будет. Каждую. Ночь. А что за звуки! Будто платину прорвало. Анна Константиновна, приличная женщина, как вы могли!? Вот возьму и всё и Геннадию Львовичу, царствие ему небесное, расскажу. Боже, что я несу? Слышите?! Слышите вы меня!? Убирайтесь отсюда, грязная свинья, здесь вам не клуб по интересам. А-а-а! неужели все старухи так воняют!? Где мой ноооож!!! О нееет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Шалунья, выходите. Я устал ждать. – голос послышался вновь, уже настойчивее.

Бабушка, словно воришка в чужом огороде, бешено озиралась по сторонам, но своего дела не прекращала. Откуда только столько набралось? Так и подмывало спросить у неё: - Бабушка, вы что, продуктовый магазин обчистили?

В свете Луны она меньше всего походила на оборотня, а именно о нём она сейчас и подумала, а ещё она подумала, что подумает Борис Петрович, которого она так неожиданно покинула у подъезда, при этой мысли её анус спазматично дёрнулся, и по спине побежали мурашки. Анна Константиновна задрожала, словно чеховская рябь на малоизвестной российской речушке и издала стон. Выдавив из себя ещё порцию, старушка качнула тазом, видимо, чтобы стряхнуть прилипшие к седым волоскам остатки кала, и не нашла ничего мудрее, чем вытереть анус пальцем. Потерев сначала кончиком указательного пальца и не добившись нужного эффекта, она провела ребром ладони, встала и, раскорячившись, не натягивая панталон, перешагнула через кучу. Она окунула обезображенную калом кисть в меня. Когда я пришла в себя, фрагменты фекалий по спирали кружили в ненаписанном ещё балете и медленно оседали мне на дно. Они были отвратительны. Я чувствовала себя так, как будто меня трахнули протухшей селёдкой или обгоревшим трупом первоклассника. Отвратительно! Анна Константиновна! бабушка божий одуванчик! Если не религия, то моральный-общественный долг просто обязан запретить Вам. Делать. Это. Как вы могли!? Видимо, я не долго пробыла без сознания, потому что из-за угла доносились знакомые уже голоса. Разговаривали Анна Константиновна и её тайный спутник:

- Анна Константиновна, голубушка. Где же вы пропадали? Я заждался.

- Борис Петрович. – кокетливо отвечала Анна Константиновна. – Мужчина в вашем возрасте уж должен бы научиться ждать женщину.

- А какой у меня возраст? – игриво парировал спутник. – Я – студент.

- Ну, право студент? – Анна Константиновна старчески рассмеялась. – Мы с вами, Борис Петрович уж давно не студенты…

- А всё-таки, где вы так задержались? Во мне зародилось подозрение, что вы меня испытываете.

- Бог с вами, Борис Петрович…

- Просто, Борис. – галантно парировал спутник.

- Э-э не-е-е… Не торопитесь. Мы пока не так коротко знакомы…

- Но всё же, признайтесь – испытывали?

- Борис Петрович. Э-э-э… там просто… так красиво. Мне захотелось насладиться тишиной, древесным уютом, э-э-э… слиться с природой. Знаете, как у Баратынского… М-м-м… «Опять весна! опять смеётся луг! Э-э… И весел лес своей младой…»

- Одеждой.

- Да, одеждой…

Послышались аплодисменты и обоюдный смех.

- Божественно!

- Да, Борис Петрович, эти строки меня волнуют.

- Так, может, пойдёмте туда. Мне не терпится взглянуть на этот кусочек рая, где вы так вдохновились. Думаете, я не заметил, какой просветлённой вы оттуда вернулись?

- Нет-нет. Не сегодня. Я обязательно вас отведу…туда. Только не сегодня. Пройдёмтесь лучше по проспекту… до перекрёстка, и там свернём. А?

- Как ска…

Голоса постепенно угасли. Да-а… после подобных процедур, сюда не то, что пенсионера с «душой букетом» – озабоченного подростка ни какой блядью не заманишь. Да что подростка! – бомжа последнего… А-а-а… Что теперь говорить!? Теперь жди, пока собаки ни съедят или дождём ни смоет. А это как минимум дня два. Да и кто захочет это есть?.. Боже! Как больно! Я хочу умереть… Немного поостыв, я ударилась в анализ. Я вспомнила лицо бабушки, когда она окунула в меня кисть. И что-то сокровенное колыхнулось в моей поруганной воде. Злоба, как трусливый соперник тут же отступила. И лицо Анны Константиновны, её, помолодевшее от мук лицо, такое просветлённое, почти лик! заиграло во мне. Его числа напомнили мне мимический узор-код, точно такой же, какой выдавало лицо Светы, когда её имел Юрка, точнее, когда ещё только собирался это сделать; он уже, безусловно, прикидывал, какой рукой ему удобнее будет доставать свой кол, а какой гладить ей волосы, чтобы Света не отвлеклась и, ни дай Бог, не передумала. Что он тогда пацанам скажет? И именно в этот миг, уже окончательно всё для себя решившая Света и сделала такое природой подаренное лицо, эдакое лицо-жест, как и минуту назад посравшая старуха. Ты спросишь, что их объединяет? Я отвечу – Им. Было. Хорошо. Светке – до, Анне Константиновне – после. И не потому, что в обоих случаях были задействованы половые органы, а потому, что у Анны Константиновны и Светки одна природа, один ключ, и этот ключ – создание. Они рождены для того, чтобы создавать. Светке – влюблённого в неё со школьной скамьи Юру, Анне Константиновне – образ

вдохновлённого её глубиной пожилого мужчины… женщины создают противоположное, каждый день, каждую секунду. И если уметь читать коды, можно многое понять. А сейчас им хорошо. Им очень хорошо, пусть это всего лишь в моих воспоминаниях, но, уверяю вас, они свежи, как та грядка, которую вот уже сорок лет поливает Иван Кузьмич. Уж он то, как ни кто другой знает – стоит только её полить и всё раскроется вновь с новой силой, с новым фаршем… а я дурак, за ножи. Сразу за ножи. Нет мне прощения… Уважаемая Светка-сздатель Юрки, уважаемая Анна Константиновна-создатеть бархатного старика, простите меня, дурака, великодушно. Я клянусь ослом и обязуюсь, уважаемая дэви-Анна Константиновна, съесть все ваши фекалии без остатка. Я буду ловить их открытым ртом, как аквариумная рыбка хлопья корма, и бесконечно молиться на вашу золотую руку, подарившую мне прозрение. Клянусь! А твои косички, уважаемая дэви- Света, Я. Буду. Помнить. Вечно. Я заплакала, я хорошо помню тот свой плачь. Мне вспомнились родовые удары кувалдой Петра Кузьмича, новенькая, ещё не заселённая стена «хрущёвки» со свежими потёками краски и …воробей…да воробей. Именно воробей. Я всегда вспоминаю этого пернатого, когда мне грустно. Но совсем не для того, чтобы полегчало, скорее, наоборот. История с воробьём, пожалуй, самая неприятная и одновременно самая короткая страница в моих воспоминаниях. В тот день уже во всю лила свои сладкие ручьи весна, пухли деревья, откапывались сонные насекомые, сладостно дурели за партами школьники – всё вокруг радовалось и покрывалось похотливой испариной. Одним словом – весна. Я только проснулась от зимней спячки, корка льда давно уже растаяла, но я всё никак не могла привыкнуть к солнцу, ослеплявшему меня. Это были ещё те благородные годы, когда у природы ещё не было этой позорной депрессии, и зимы были как зимы – с морозами и метелями, а лето как лето – жаркое и влажное. Всё вокруг благоухало. Это было воскресение. Из окон разносились медные звуки патефона и задорное позвякивание фарфора на крохотных кухнях. Сквозь солнечное сияние я видела медленно плывущие облака, они были белыми с лёгкими вкраплениями серой шерсти, и так царственно они плыли! так ласкали голубую бездну неба!.. Но всё оборвалось в один миг, когда какой-то «кузнец» залетел ко мне в лоно и начал тонуть. К смерти насекомых я уж давно привыкла, сколько их навидалась на своём веку и больных и здоровых, и отчаянно сражающихся за свою микро жизнь и камнем идущих в меня. И тогда я не придала «кузнецу» особого внимания. Ну, упал и упал, сколько вас таких лузеров валится. Как вдруг, словно гром среди ясного неба, возник воробей. Такой красивый … такой сложенный,

совсем юноша… Всё произошло в долю секунды. Я только и успела заметить, как мелькнула его пёстрая головка. София, поверь мне, если б в моих силах было сжать ободок, я б не задумываясь, сделала это, но судьба распорядилась иначе. Воробей махнул крыльями и с криком упал на кузнечика. Видимо, его свежие лапки ещё не привыкли к сложным посадкам, и он попросту соскользнул с ободка. Его силуэт – чёрный на солнце, такой поломанный, я тогда ещё подумала «распятие из коры». Я слышала, как он захлёбывается – глухо, судорожно.

- А разве у воробья десять рук? – спросила София.

- Ну, что ты? Тогда люди ещё верили в Иисуса Христа, ну, Вифлеемского, а у него было всего две руки и две ноги, как у воробья два крыла и две лапы.

- И ты верила? – изумилась София. – Верить евреям?

- Это… это слишком длинный разговор, милая. – холодно ответила бочка. - Верила и сейчас верю.

София подышала на озябшие ладоши.

- А-а, я вспомнила, отец сказывал. В то время, когда твого Христа распинали, в Риме на кресте распинали токмо за педерастию.

- Что ты несёшь, девочка?

- Ну, да. – уверенно говорила девочка. – На прямом кресте, лицом вперед – активных педерастов. На косом кресте, задом — пассивных. Андрея Первозванного, ежели не ошибаюсь, так распяли. То ж мракобесы сплошные, там у них культ трупа, садомазохизм, некрофелия, людоедство – в общем, полна кадка звращений. Неужто ты не вникала?

- Что вникала?! Во что вникала!? – по глади воды пробежала рябь. – Как ты смеешь так говорить о сыне божьем? Ты… да, ты…

- Божьем? – сморщила бровки София. – А я читала в Евангелии: «Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова, Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его, Иуда родил Фареса и Зару от Фомари, Фарес родил Есрома, Есром – Арама, Арам – Аминадава… И токмо всех родов от Авраама до Давида десять да ещё четыре. – София загибая пальчики считала. – И от Давида до поселения в Вавилон токмо родов; и от переселения в Вавилон до Христа...

- К чему ты мне это рассказываешь?

- А к тому, милая бочка, что в теле твого Иисуса текла еврейская кровь, кровь того самого жившего некогда народа, что кроме смуты да гадких подлостей с кровавыми войнами за своё многовековое правление на Земле ничего не принёс. Обманули они тебя, бочка. И никакой Иисус не сын Бога.

- Это сын Иосифа! Ум-бр-р, это родословная Иосифа, не Христа… – задёргалась бочка.

- Тебе текст показать? – «Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сы…» - София стала зачитывать текст из Евангелия.

- Ты не понимаешь?

- Я?

- .

- Про того ли Иисуса мы говорим, который устами Матфея глаголил: «Итак всякого, кто исповедает Меня перед людьми, того исповедаю и Я перед Отцом Моим Небесным. А кто отречётся от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным. Не думайте, что Я пришёл принести мир на землю; не мир пришёл Я принести, но меч. Ибо Я пришёл разделить человека с отцом его, и дочь с матерью её, и невестку со свекровью её. Враги человеку – домашние его. Кто любит отца мать более, нежели Меня, недостоин Меня…». Ты вообще, кроме того, что буквы переправлять к себе в мозг, можешь из них составлять текст и вникать в него? Ещё Владимир Иванович Даль описывал ритуальные убийства, в моменты которых древние евреи истязали арийских детей, как сливали их кровь, как… А, да что я тебе доказываю. – разгорячено махнула рукой София.

- У Даля?

- Да. В одном из трудов. Если я не путаю, он писал, что они в пасху пронизывали тело ребёнка каналами специальными и, взодрав кожу, сливали кровь для ритуальной опресноки. Это у них пасхальная маца такмо звалась. Папа ещё книгу редкую домой приносил, мы читали, животы надорвали, ну прям terror antiquus. Лео Таксиль, может, слышал, или слышала? Я уж запуталась, каков ты.

- Я и сам запутался. – тяжело вздохнула бочка.

- Неужели ты не понимаешь, что вся эта история – это психологическое оружие в заинтересованных руках, а с оружием в дом к друзьям не ходят. Это так же неоспоримо, как то, что человек вырабатывает сало. Эдакая блаженная улыбка для тех, кто забыл, что физиология улыбки – это оскал, животный оскал защиты, всего лишь реакция. – София остервенело тыкала пальцем в воображаемую до космическую историю. – Всё это – искусственная истерия, детально спроектированная, суть есть болезненная, зиждущаяся на страхе. Истерия. А чего токмо стоит эта необоснованная, противоречащая здравому смыслу любовь к богоизбранному народу! Да это ж едино, что любовь к разбойнику поселившемуся у тебя в доме, из… из, не знаю, каких-нибудь гуманистических побуждений. Любите меня, я

не опасный, забудьте мою историю – будьте великодушными. Отдайте мне свою историю, культуру, знания… Всё отдайте – я не причиню вам зла. Бочка, сколько ты спала? Ежели жрецов не судили, то это ещё не значит, что преступление не состоялось.

- О какой логике ты говоришь, маленькая? - мы рабы, грешные и порочные, покайся, не гневи Бога.

- Критическое мышление – это одно из чудес дарованных нам природой, и даровано оно отнюдь не слабоумным, вспомни историю. Помнится, у нас на постой оставался один доцент – он вообще из Каира сам, но уже живёт у нас на севере лет двадцать. Такмо он с тятей моим в полемику вступил. Тако я выражение одно им оброненное подобрала, да в ларцы памяти-та и схоронила. Вот послушай, так он говорил: был, говорит, на Руси древней мыслитель большой, много успел сделать, да много не успел – отравили. Владимиром звали его. В самые годы лютые живал он. Тако он так понимал схему воздействия на сознание верующего: отсутствие логического смысла, писал он, в христианстве компенсируется присутствием положительных или отрицательных эмоциональных стереотипов по всем основным христианским догмам. Во. И я с ним тогда сразу же согласилась. А знаешь почему? Да потому что это высказывание лаконично, лаконично настолько, что, ежели ты способен мыслить, тебе больших аргументов и не потребуется – здесь всё. Тако вот и парализуется мыслительный процесс, подумала я тогда, человек перестаёт мыслить и впадает в прекрасно-зверино- эрректальный мир эмоций. А там – всё: чудовищные до боли в пятках страхи, радость до рвоты и галлюцинаций, пустынное смирение в тишине мысли, далёкий и кажущийся чужеродным рёв коллективного бессознательного, аскетический экстаз – и всё в прострации, вся жизнь в прострации. «Экстаз святой Терезы», твою мать! Знаешь, даже завидно иногда дел…

- Не рассуждай о том, чего не знаешь. – уже скорее взмолилась бочка, нежели защищалась. – Чистота дел, чистота помыслов, чистота души – это не мир эмоций…

- Конечно не мир – это результат, ну, продукт, по-хозяйски. Это твоё христианство напоминает мне древних евреев, что по уши обосравшись, выбирали живого козла и, дабы очистить свою душу под общее ликование выгоняли того из города. Дескать, вот он виновник.

- Постой, какой козёл? При чём тут козёл?

- Козёл отпущения? Да Иисус твой, этот сорок второй от Авраама зачатый в инцесте еврей или пятьдесят пятый, ежели по Луке, и есть тот козёл отпущения, токмо добровольный, «спаситель», забравший чужие

грехи,– нормальная мутация абстрактного образа, ничто, абсорбент на фоне коллективного бессознательного. Даже смешно. – София нервно усмехнулась. – Вспомни Бытие: Хам как-то застал своего отца Ноя пьяным и голым, и… выебал его, да-да, можешь сама убедиться - 9:20-25, ежели меня память не подводит. А, проспавшись от вина, ну, уж то точно про козла отпущения, Ной проклял, но не Хама, а его сына Ханаана. Хам виноват, а понёс наказание Ханаан. Не те ли извращённые догмы ты принимаешь? И вообще – даже вне веры – педерастия, столь пронизывающая библейскую историю – есть мерзость. Ещё Климов в своих работах доказывал, что гомосексуализм — это главный признак дегенерации. Гомосексуалисты — это дегенераты, люди бионегативные.

- .

- Раб божий, в образе подобии божьим. Ты только вспомни, бочка, та бочка, которая мысленно мастурбирует только при воспоминании о прохожих, которая готова схватиться за нож, при виде чужого экстаза, та, которая теряет сознание, глядя в глаза бляди, вспомни, ты, самые лучшие христианские герои — это мученики, нищие, убогие, уроды, сумасшедшие, не живущие нормальной жизнью, а мучающиеся половые извращенцы. Кто ты в этом списке, неужели урод?

- Я? Нет, я простой смертный, то есть, не урод.

- Раб?

- Ну, постой…

- Не желаешь быть уродом, а всем этим великомученикам и блаженным понаставили церквей тыщи. Блаженны нищие духом, ибо им принадлежит царствие небесное. Это, кстати, цитата, или ты, как и большинство верующих библию не читал? А, ты никогда не задумывалась, кто такие нищие духом? Это слабоумные. Красота. А вспомни, кто были ученики Христа – необразованные, бескультурные, низкого положения в обществе люди, это до чёртиков напоминает мне коммунизм – «Кто был ни чем, тот станет всем, или каждая кухарка сможет править государством». И стремление властвовать. Како ж без него? Вспомни Марка, что было сказано рыбакам Симону и Андрею: «И сказал им Иисус: идите за мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков. Они тотчас, оставив свои сети, последовали за ним». Ну, как, лёд тронулся? Мыслительный процесс прорвал плотину предрассудков?

- Не должно сомневаться – нужно веровать, горячо, неприкословно, истово…

- Да ты же сама так не веруешь.

- Слаба духом – каюсь. Верую, да по заповедям не живу. Но ве…

- А, знаешь, бочка, почему ты не до конца уверен в своей вере? – перебила её вялую тираду София. – Ведь это так, не спорь. Ты сомневаешься.

- ?

- Потому, что ты сексуально нормален, да-да, бочка, ты не озабочен, а нормален. Все эти твои смакования и обмороки – это проявления сексуальности, сексуальных переживаний, так называемого первородного греха – одного из сильнейших существующих в человеке. И они гораздо сильнее религиозных. И это не слабость – это здравость, это в состоянии понять даже ребёнок. Ваш герой, он слабый, асексуальный, инфантильный, не способный к анализу, закомплексованный, неполноценный… Не убеждения и вера формирует личность, а сексуальная энергия. Поэтому, подавляя сексуальность, подавляется личность человека. Это, кстати, всё тот же доцент рассказывал. Ой, а я вспомнила, как звали того, с чьей книги он цитаты зачитывал, богато так убранная книга была – Истархов его звали Владимир Ляксеич, точно. Так вот, говорил тогда доцент, а вашему, у-м-м, еврейскому богу личность не нужна. В какой больной или слишком далеко шагающей голове могла зародиться мысль, что зачатие порочно!? Это чудо из чудес, плод любви, продолжение жизни. Извращенец, подлый лгун, или мошенник, какого ещё земля не знала тот, кто дурманит вам мозги, уважаемая бочка.

- .

- «Кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя». Помнишь, от Матфея 5: 27-30? – всё пуще распалялась София. – «Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя». Тоже от Матфея. «Человеколюбие Христа не знает границ: вырви глаз, отсеки руки и ноги и выброси всё это» – цитата, за тысячелетия до падения сего мракобесия писана. Даже метафорически сие параноидально. Тебе это по нутру? Там же, в писании: «Он же сказал им: есть скопцы, которые из чрева матерного родились так; и есть скопцы, которые оскоплены от людей; и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного». Этого ты хочешь, скопец? Религия смерти – поклонение твоё.

- Я н-не желаю сл-лушать, э-э-э… т-твоей ереси, София. – сбиваясь, затараторила бочка. – З-закончим на этом, закончим. Ты ещё слишком мала и глупа, чтобы рассуждать о вечном. Учись, читай только правильные книги, общайся с правильными людьми, и помни – вера сильнее всех умоисканий и умоброжений, а твои мысли и твоего этого доцента и есть не

что иное, как еретическое умоброжение, не доверяй своему уму – слаб он, не верь, что слышишь – много обманщиков, не верь тому, что видишь – Люцифер хозяин мысли на Земле, себе не верь. Единственная вера – вера в шизофреническое тело, открытое Христом нам за наше раскаяние и неприятие его воли в день Апокалипсиса, наслаждайся сем телом метафорическим и жди спасения, да не мудрствуй – ты тлен из червя произведённый, прах Господа. Да дослушай мою историю земную никчемную, милая София: воробей хватал клювом тугие глотки воздуха и хрипел, когда вместе с воздухом попадала вода… Он пролежал в моей воде ровно сутки. Иван Кузьмич тогда, похоже, болел и некоторое время не пользовался мною. Сейчас я начинаю подозревать, что пережитое мною той далёкой весной сместило грани моего сознания друг относительно друга и напрямую повлияло на картину, в которой теперешний мир представал передо мной. Но хватит о грустном… Лучше, посмотри на небо! Который раз я прошу тебя посмотреть туда. Смотри, смотри. Знаешь, чем отличается, человек, не смотрящий в небо от человека, не смотрящего в землю? Человек, не смотрящий в землю, может себе позволить думать, что он летит. Да, да – летит. Где-то там, в глубине души он, конечно, подозревает, что идёт по земле, но видит то он небо. А человеку свойственно верить в то, что он видит. А какая сегодня Луна! Каждый кратер как на ладони. Вижу свою рябь. Бледные ломтики света, прозрачные и холодные. Правильно говорят – Лунный свет не греет. Какая насыщенная сегодня ночь – воспоминания, откровения… такое чувство, как будто прощаюсь, необъяснимое чувство. Бывало у меня всякое: и ностальгия, и грусть непролазная, и даже отчаяние. Но это – что-то новое – одновременно и душевная лёгкость, как будто радость, вроде той, которую испытываешь, когда заканчиваешь рутинную, но очень важную для себя работу, мысленно ты уже видишь результат и даже благодаришь себя за тот нелёгкий труд, который ты проделала для того, чтобы добиться этого результата, и, одновременно с этим, могильный страх перед небытием, с которым ты непременно будешь вынуждена столкнуться, как только перешагнёшь порог вечности. Но что это? Опять кто-то идёт? Устала я от вас, фантомы памяти. Хватит мне и одной Анны Константиновны, благо немного выветрилось уже.

- Здесь спокойно.

Высокий мужской голос старался говорить шёпотом, но у него это плохо получалось. Незнакомый.

- Это что ж, бочечка, всё в один вечер дивный в твоей жизни приключилося? – спросила София.

- Да, милая, бывают в жизни такие вечера, о которых не можешь забыть до самой смерти. – бочка глубоко вздохнула. – Слышу шелест раздвигающихся веток. Значит, не от подъезда идут, а с огорода. Там есть потайная калитка. Либо свои, либо шифруются. Либо и то и другое вместе.

- Сюда?

- Пригнись – сук.

- Ага…

- К бочке. – направлял тенорок. – Видишь, блестит.

Второй голос был пониже и какой-то потрёпанный. Было заметно, что мужчины нервничают и стараются не шуметь.

- Альгерд. – мужчины подошли вплотную ко мне и стали говорить отчётливее. – Подожди. – втянул носом воздух. – Откуда воняет?

Альгерд не менее шумно и даже слегка артистично принюхался:

- Может из бочки?.. – неуверенно сказал он. – Вода затхлая…

Он наклонился надо мной, и я смогла рассмотреть его гладковыбритое, слегка домашнее лицо. Он почти коснулся воды кончиком носа. На вид ему было около пятидесяти. Пока я рассказывала, он уже исчез из моего поля зрения, но аромат его одеколона ещё кружит в моей сфере. Приятно… Альгерд отрицательно помотал головой.

- Не, Иван, не вода.

- Конечно не вода! Ты меня за идиота держишь!? – возмущённым шёпотом загнусавил Иван. – Здесь насрано. Смотри!

Он схватил спутника за рукав.

- Что ты меня дёргаешь?

Иван грубо потащил его к месту предполагаемого говна, но Альгерд, сделав какое-то болезненное движение, высвободился и, попятившись, уткнулся в меня. Рябь на мне заиграла.

- Что с тобой Иван? Ты какой-то странный. – отдуваясь, сказал Альгерд.

- Я странный!? – едва не закричал Иван. – Это ты странный! Мы два года не виделись. Я пришёл к тебе. А ты меня к говну притащил. Признайся, ты это специально сделал.

- Я не знал, что здесь несрали!

- Знал! Я тебя насквозь вижу. Альгерд. Окрысился ты на домашних оладьях. Небось, и мальчика себе завёл…

- Ты ругаться пришёл, Иван?..

- Я ругаться сбежал!

- Ты сбежал!? – еле сдержался, чтобы не закричать Альгерд.

- А ты думал, меня вот так после мокрухи через два года выпустили…

- Сбежал… – уже почти теряя сознание, лепетал Альгерд.

- Ну, ну, свинка, спокойно… – Иван подхватил друга под руки с небольшим опозданием и, потеряв равновесие, они сползли по стене. Теперь Альгерд лежал у него на руках, как младенец у кормящей матери, только ноги и нижняя часть туловища раскинулись на траве. – Ты всегда таким был – чувственным. Надо же, совсем не изменился. Сколько мы с тобой знакомы? Двадцать лет, поди, а то и больше. Да…ПТУ, ВДВ, БАМ…жизнь, считай, вместе прожили.

– Ты будешь смеяться. – перебил его Альгерд. – Но у меня сейчас истерика. Так она не очень заметна, но я знаю…

- Истерика?

- Да…

- И давно это у тебя?

- Как тебя посадили, так и началось… Представь. Хлеб режу, и вдруг пятка зачесалась или комар кусает, так я буханку тут же ножом в трухлявый пень разношу. Или, там, м-м-м…чай налью слишком горячий и сижу, жду…секунду жду, две жду, а потом не выдерживаю, делаю глоток и непременно обжигаюсь. И такая злость берёт, Иван!.. Если б ты знал. Весь день могу после этого прореветь…

- Это возраст, дружок, возраст. Уж не мальчики уже…

- От тебя пахнет странно. – голосом только что проснувшегося человека сказал Альгерд.

- Тюрьмой, брат, пахнет, ямой.

- И ты сразу ко мне…

- К тебе…

- Я скучал по тебе, по…

- Почему ты не навещал меня? За два года ни разу.

- …Ты пришёл только для того чтобы это узнать? – Альгерд обнял его за шею и глубоко поцеловал в губы. Иван не сопротивлялся. – Губы сухие… Вас там плохо кормили…

- Витаминов не хватало, видишь вокруг носа кожа сухая.

Они поднялись с земли и стали на прежнее место.

- Почему ты не навещал меня? - уже с какой-то неловкостью повторил свой вопрос Иван.

- .

- Почему?..

- .

- !?.

- Я тюрьмы боюсь.

Повисла пауза. Было слышно, как стрекочут кузнечики и шуршат в зарослях лягушки.

- Тихо! – Иван присел на корточки. – Слышишь? Да сядь ты!

- … Это у подъезда.

Из-за кустов послышались приближающиеся голоса. Пройдя совсем близко, за забором, что был скрыт плотной стеной кустов, голоса направились к подъезду:

- Ко мне нельзя. – кокетливый старушечий голос слегка подрагивал.

- Но право же…

- Борис Петрович…

- Вы вся трясётесь, вы замёрзли. – настаивал мужчина.

- Что вы! Ваш пиджак, э-э-э прекрасно согревает. Это шерсть?..

- Но я должен посмотреть ваш утюг. Я уверен, что его можно легко поправить.

- Завтра-а, завтра, Борис Петрович. Сегодня уже поздно…

- Ну, на пять минут, Анна Константиновна, одним глазком, слово джентльмена.

Послышался обоюдно-приличный смех.

- А как же внучка? Мы её разбудим.

- Я сниму ботинки и как кот, на цыпочк…

Снова смех.

Альгерд с Иваном напряжённо вслушивались.

- Нет. Нет. Нет. И не настаивайте.

- Ну пра…

- Нет, нет…

- А как же Вересаев. Вы обещали. Мне не терпится его по…

Хлопнула дверь. Мужчины распрямились. На суровом лице Ивана прочитывался испуг. Он стоял сейчас лицом к Альгерду и, казалось, собирался сказать что-то очень важное.

- В подъезд зашли. – констатировал Альгерд, и поднял свои полные нежности глаза.

- Реснички… – проглатывая от волнения буквы, прошептал Иван. – Всё те же тоненькие и длинные, почти прозрачные. – Он коснулся пальцами щеки Альгерда.

- … – тот сглотнул.

- Мне очень тебя не хватало, Альгерд.

- .

- Я часто о тебе вспоминал… там.

- !

- Каждую твою волосинку…

Иван обнял Альгерда за стройную талию и впился в его податливые мокрые губы. Альгерд задрожал и упёрся Ивану коленкой в пах.

- Мохорка… – задыхаясь и растирая дрожащей ладонью губы Ивана, Альгерд прервал поцелуй. – Колючий… солнышко… ты колючий. Как я соскучился по твоим губам.

- Молчи, молчи…

- Ко-о-лючий… – в голосе Альгерда послышалась нотка страдания. – У вас там все такие колючие?

- А у вас все такие гладкие?! – глаза Ивана сверкнули.

- Ты что? – испуганно сказал Альгерд.

- !!!

- Ты очень странный, Ваня. Тюрьма не пошла тебе на пользу.

- Я. Так… – речь Ивана вдруг сделалась сбивчивой и не разборчивой. Казалось, он о чём-то глубоко задумался, а слова произносил только для того, что бы его не отвлекали и, ни дай Бог! Не сбили с очень важной мысли. –…Так Годы Проволока Чефир Баланда Чибис Шмон…– поток слов не останавливался, ни на секунду.

Альгерд пытался разговаривать с ним, но у него не получалось. Казалось, Иван закрывается с невероятной скоростью, знаешь, как цветок на закате, снятый на камеру и просмотренный затем в ускоренном режиме. – …Говном Два года Люблю тебя Пахнет Баня…

Иван уверенно, но излишне суетливо развязывал узел, стягивавший трико на почти осиной талии Альгерда. Альгерд не сопротивлялся. Он бессильно повис на жилистых плечах Ивана и, закатив глаза, жарко дышал тому в ухо.

- …Скачок Карточка Шарик Два года Пистон Шмыга Два года. Ни разу… Пахнет…

Под сильными руками Ивана Альгерд словно ветка ивы выгнулся. Иван схватил его за шею и, не прекращая говорить, ткнул его головой в меня. Единственное, что успел проронить Альгерд перед тем, как его голова исчезла у меня под водой, было стандартное в таких ситуациях:

- Лю…блю-ю-ю… – вторая половина слова вышла вместе с пузырями в воду.

- Два года я страдал, Альгерд. Два. Года…

С ловкостью фокусника Иван высунул из ботинка «заточку» и, не раздумывая, всадил её Альгерду в спину. Я считала удары, вздрагивая всякий раз, когда Альгерд открывал рот. Я не могла наблюдать за движениями убийцы, он был вне зоны моего зрения, но я чувствовала

каждую дыру, наносимую безжалостной рукой. На четвёртом толчке я заметила, что Альгерд не просто стонет – он считает! Точно – считает! «Пять, шесть, семь…» Шептал он. А я наблюдала за ритмичными движениями его губ, и считал вместе с ним: «Восемь, девять…» Божественно и одновременно чудовищно. Проклятый воробей, ты изуродовал мою жизнь, изнасиловал её своим маленьким членом. НЕНАВИЖУ. «Десять, одиннадцать, двенадцать, трин…» Альгерд уже не считал, он плавно покачивался во мне своим беспомощно-мёртвым телом, из всех наслаждений оставив мне только пикантную тугость «загона» из раздела мясо-мясо: уродливое движение мужской головы во мне. Я продолжил считать. Казалось, Альгерд о чём-то мечтал. Он оказался тем исключением из правил, тем, кого смерть не уродовала, а, наоборот, делала красивым, если не внешне, то внутренне точно. Почему-то, он показался мне скользким в тот момент. Из-за положения, в котором находился Альгерд, кровь прилила и голова стала по-королевски пунцовой… Божественно!!! Когда я пришла в себя, Альгерд был уже мёртв. Прозрачное облако крови расползалось из его открытого рта, застывшие глаза вывалились из орбит, и, казалось, вот-вот упадут в мои недра. Но что это? Я даже сразу не заметила – голова продолжает кивать, а рябь трястись… неужели выжил? Иван, не вынимая ножа из спины Альгерда, медленно, фрикция в две секунды, трахал его в зад. Он что-то бурчал себе под нос. Я прислушалась. Он читал стихотворение, не могу вспомнить чьё, но точно не своё:

Ты жива ещё, моя старушка?
Жив и я. Привет тебе, привет!
Пусть струится над твоей избушкой
Тот весенний несказанный свет.
Пишут мне, что ты, тая тревогу,
Загрустила шибко обо мне,
Что ты часто ходишь на дорогу
В старомодном ветхом шушуне…

По мере приближения стихотворения к концу, его рука с ножом начала линейные движения, как будто он вырезал узор. Я чувствовала, что с Альгердом творится что-то неладное. Он ёрзал, дёргался, с плеч и с затылка прямо в меня лилась кровь. Кто-то, скорее всего, Иван жутко сопел где-то рядом. От всех этих переживаний я снова потеряла сознание. Очнулась уже под утро. Заря только занялась, и с земли валил пар. Голова Альгерда больше не кивала, глаза прикрылись и, вообще, выглядел он умиротворённо. Милиционеры, что лениво крутились вокруг, видимо они

только что приехали, ничего не предпринимали, дожидаясь кого-то главного. Они вполголоса переговаривались. Кажется, речь шла о тумане, который мешал им работать. Да-а… Видимо, место, в котором я стояла, всё же располагает к тому, чтобы здесь говорили шёпотом. Тебе может показаться странным, что столько событий произошло как раз в параллельном сегодня, в тот день, когда я решила рассказать свою историю. Со стороны именно так и покажется. Но вся беда в том, что я, в отличие и от тебя, София, да и от всех жителей Земли, посещающих укромные местечки лишь изредка и проносящих потом воспоминание об этом всю жизнь. В отличие от вас, мои дорогие, я в этом укромном месте живу, не отлучаясь отсюда ни на секунду со дня своего рождения. И многие вещи, здесь происходившие так ужасны, что я даже рассказать о них не могу. О них, волею судьбы, знают только те, кто в них принимал участие и я. Эх… Сколько… сколько тайн я унесу с собой в могилу…

Бочка глубокомысленно замолчала, а когда София только открыла рот, чтобы напомнить о себе, та едва слышно произнесла:

- Щёлкнул затвор фотоаппарата и девушка-следователь с симпатичным, но каменным лицом, распорядилась, чтобы тело достали из меня. Но, пока они не успели этого сделать, жильцы дома прямо из своих окон могли лицезреть изрезанную вдоль и поперёк спину человека, застывшего в позе «раком» со спущенными штанами. На спине его в окружении ран отчётливо красовалась глубоко вырезанная надпись: «Сергей». И снова вечер. Слава Богу, Иван Кузьмич, догадался сменить во мне воду – не терплю вкуса крови. Только менял не он сам, а его сын. Но заботу проявил всё-таки он – Иван Кузьмич. Я в это верю, и это, безусловно, так. Кто бы ни проявлял обо мне заботу, но Иван Кузьмич – мой первый мужчина. Уже вечереет, день пролетел мгновенно. Много зевак крутилось сегодня около меня, в большинстве детвора. Почему их так притягивает всякая мерзость? Не понимаю… Любопытство, наверное, что же ещё. Тучи сгущаются, скорее всего, будет дождь. В дождь ко мне не очень то ходят. Да-да, именно ко мне, я не оговорилась. Странно, что я не сказала тебе об этом сразу. Я убеждена, что именно я ключевая фигура всего происходящего вокруг, я именно та ось, вокруг которой так старательно крутятся все эти люди. Неужели ты и вправду подумала, что у меня нет рук, и я не могу схватиться за нож? Вздор. Есть, и схвачусь. А пока вы живы, живы только по тому, что мне ещё не надоело за вами наблюдать. Так что приходите в мой, скрытый от любопытных глаз уголок, приходите сами и приводите тех, с кем вы хотите поиграть, дорогие мои прохожие, а я в свою очередь подумаю, стоит ли вас убивать. Как меня найти, спросите вы. Очень

просто, отвечу я: вверх по проспекту имени Сливко, первый поворот перед площадью Муханкина, вдоль трамвайных путей, напротив женской гимназии имени ЖРИ (Жертв Разъяснительных Изнасилований), немного углубиться во дворы, там за стеной из кустов и деревьев, обнесённая забором с колючей проволокой, я и живу. Проволоки не пугайтесь, это Пётр Кузьмич поставил, чтобы помидоры не воровали. Улица Андрея Чикатилло, дом 7, подъезд первый, это если от гастронома смотреть, зайти можно от подъезда или, если с серьёзными намерениями, с огорода – как найти калитку я вам уже рассказала…ну, вот, пожалуй, и всё …жду… и буду жда…

- Бочка, бочка, опомнись. Какие помидоры. Той реальности давно уж нет. Ты теперь здесь.

- Да? – словно очнулась бочка, и после минутной паузы промолвила: – Луна. Блики ослепляют. Я здесь. Из-за кустов вышла пожилая женщина, лицо её зарёвано. Это мать Альгерда, тот же нос, та же худоба. Она подошла ко мне и положила цветы, перевязанные чёрной лентой. Мама Альгерда пришла. Как они похожи. Здравствуй Мама Альгерда. Сегодня ночью во мне остыл труп твоего сына, так что мы в чём-то с вами похожи, в вас он зарождался, а во мне умирал. Такие вот дела… Но что-то мне подсказывает, что это смежные ощущения. Я посмотрела на её лицо, и содроганием вспомнила стеклянные глаза Альгерда, такие бывают в американских кукольных шоу. На секунду я представила его лицо покрытым плотным коричневым оперением в голубом экране кинескопа. Не плачь старушка, ему там лучше, уж ты мне поверь. «Ты жива ль ещё… Ла-ла-ла… Серёжа Есенин, вспомнила твоё имя, увековеченное на спине, вместо того мерзавца». И ты, Альгерд, не плачь, спи спокойно в моих воспоминаниях, уж я то знаю, что тебе не было больно. Ну, ладно, беги, беги, Софьюшка, быстрее домой, а то простудишься ещё, ни дай бог.

- Спасибо тебе, бочечка, за нравоучительные рассказ про время дикое, про время страшное. Побежала я, у-у-у, зуб на зуб не попадает.

Софья соскочила с забора, поцеловала бочку в бок и засеменила к дому.

- А-а, помрёшь, ты говоришь. А кто замест тебя колоть будет? Чай, опыт передавать надобно. – Бородатый мужчина по-прежнему вёл беседу с Мироном.

Софья подбежала к ним и, растолкав, нырнула старцу под рубаху.

- У-у, ледыха, что ж так долго-то до ветру ходила, так и застудиться можно.

Софья ничего не ответила, только скрутилась колёсиком и, дрожа, засопела.

- У-у, босоножка. – мужчина поддел её, торчавшую из под бороды сине-лиловую с морозу ступню. – Промёрзшая… Так про опыт, дядя Мирон, чай не договорили…

- Передавать?.. Так то оно так…

- Ну, так…

- Нужно-о…

- Так ты Мирон, может, мого Алёшку навостришь, он у меня парень толковый, любу науку на лету хватает. Возьми «в примы».

Мирон сверкнул в него лукавым глазом.

- А…В тайну мою «лешника-злоя» посвящён он?

- Лично, лично вот этими губами ему давеча сказывал. – мужчина постучал себе по рту.

- Ну, коли сказывал. По правде сказать, Лёша твой и ране мне приглянулся – глаз у него зелёный, аки у василиска, как помню, моим призрением[10] первый омылся, да и отметина на челе…

- Отметина? – аж привстал на стуле мужик.

- Ента отметина а поди тока мне и видна, как посвящённому – Глаз Десницы у него промеж бровей. Ещё мальчонкой у него заприметил.

- И молчал?! Чай, порадовал бы меня!?

- Всему свой час, Матвей, вот Осип дочку потерял, Кисель мать, день параллельный на заговор наложился, пожар вот, – всему своё время.

- А если б…

- Я столько наперёд ведаю, что тебе и в небе звёздном не откроется. И разговор я наш видел, чай, уж лет семь назад, как ты Алёшку то, почитай, только зачинать собирался.

- Ай да Мирон! Ай да порадовал!

- Полно те. Се естественный ход истории – будет твой Алёша известным кольщиком,

- Таким же, как и ты?

- Виднее. – уставил в стол неподвижные глаза Мирон. – Да только кол сей писчий будет. За море уйдёт его слава! Помни моё слово. Большего открыть тебе не могу.

- Ай да Мирон, ай да осчастливил, да хоть и в горе да осчастливил. А когда приводить?

- А сегодня и заберу. – Мирон широким жестом разгладил перед собой скатерть.

- Погодь, собрать бы его – одежды, книги его…

---

[10] вниманием

- Голым пойдёт! – холодно произнёс Мирон. – Сам из твоей хаты в мою голым придёт, как херувим.

- Ну, хоть деньги то возьми за науку. – он полез за кошелем.

- Даром получил. – Мирон крепко сдавил его мошонку. – Даром и отдавай, а довесок свой для Марьюшки оставляй, чай, в страду замуж отдашь.

- Святой, святой пророк… - припадочно затрясся Матвей.

- Полно те. – и Мирон жестом указал на спящую Софью.

- Да-да. – перешёл на шёпот Матвей. – Аки ангел воздушный… А что сейчас с Ильёй?

- Деда Гриши?

- Ну да, ты ж его уж лет восемь, как к себе взял? Он тоже с меткой?

- Он, не-ет. – качнул сивой головой Мирон. – Метку я только у твого видал. Тот просто сиротинушка, по доброте своей пожалел, но ничего способный оказался мальчуган. У Докрора сейчас в служках.

- Да-а-а…Докрор великий.

- Аве Докрор. – Мирон по-мусульмански отёр лицо.

- Аве Докрор. – повторил за ним мужчина.

- А-а Дарону Алёшеньку представишь?

- Как сединой аки мхом покроется, так Дарон сам ему и представится. Да, и чуть не запамятовал, не дозволяй ему спражняться, пускай ко мне со своей калой прибудет – таков мой навет.

- Великий Мирон. Благодарю тебя. – он стал судорожно-жарко целовать старцу руку.

- Чую, гложет тебя чтой т?

- Токо зародилось, провидец. Не мои то мысли, но отца во мне. – не в силах поднять на старика глаз, Матвей глядел тому в руку.

- Глаголь же.

- Не дано мому пониманию, не вложено матерью мудрости в уста мои, токмо сомнения…

- Ну же.

- Безбрачием послушники твои живут. Как так, что сын мой радости простой не познает? Что так?

- В сокрытом от непосвящённых писании от Матфея 9:14-15 и Марка 2:19-20 сказано: «Тогда приходят к Нему ученики Иоанновы и говорят: почему мы и фарисеи постимся много, а Твои ученики не постятся? И сказал им Иисус: могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься».

- Понял, понял. – снова припал с лобызаниями к ладони мужик. – Жених, пока жених с ними…

- Всех доставили, Мирон Великий! – в дом, окутанные морозным паром, ввалились двое одинаковых парня с алыми солевыми хребтами – егеря, братья Евсей и Вилор. На литых бёдрах их мерно покачивались лисьи хвосты, через плечи, в кожаных ремнях томились смоляные арапники с кистенями, промеж шаровар свисали верёвочные своры. – По лавам разложили, Преподобный. – зычно вещал один. – Раны мешковиной перетянули.

- Молодцы, оводы вы мои однояйцевые. – радостно приветствовал их Мирон, вставая. – А калитку заперли?

- На оба засова. – отвечал другой. – А Вилор потом через гумно переправился.

- Ну, к столу, заработали! – широким жестом пригласил их Мирон.

- А где, святой, дочура моя младшенькая? Чай, видал? – хозяин избы наклонился к Мирону.

- А как же не видал – видал. Сном Иисуса сына божия почивает на теле моём, аки полип. – Мирон принял бороду и обнажил грудь. Ангельская головка Софьи глядела на них ясными со сна голубыми глазами.

- Ай ты моё солнышко. – поцеловал её отец и сковырнул ногтем засохший сталактит белка с мясца. – И ты солнышко наше, святой старец. – поцеловал и Мирона в губы.

- Тять, а бочка может разговаривать? – дрогнувшим голоском проскрипела девочка.

- Если ты про нашу, то она всё может. – засмеялся отец и пояснил Мирону: - От отца ещё бочка осталась. Очень он перед смертию просил, что б я об ей побеспокоился. Ну, я и вкопал на заднем дворе.

- Ну, славяне! – поднялся Мирон, держа у сердца ребёнка. – Засиделся у вас – пора и честь знать.

день второй

Ближе к полуночи в двери Мирона постучали. На пороге, жутко таращась воспалёнными глазами, стоял синий от холода восьмилетний мальчик с прижатой к груди иконой пантократора.

- Алексей, ты ли это!? – громогласно обратился к нему Мирон.

- Я, п-препод-добный. – не попадая зуб на зуб пролепетал мальчик.

- Проходи под образа и укутайся в шкуру – это Урсус, священный медведь. – Мирон выдвинул из под стола плетёную флягу с самогоном и налил в кружку. – Теперь в твоей жизни будет всё священно и всё в таинстве. На выпей – согреешься, на глубоком мху и волчьей печени настояна.

Мальчик, давясь, выпил и тут же размяк. Мирон подошёл к печи и открыл топку. Свет из печи осветил лежащие поперёк хаты трупы.

- Горелым пахнет. – Алёша втянул носом жаркий воздух.

- Это братья наши пахнут усопшие, погоревшие, рабы Божии: Ярч Поморов, Николай-солдат, Пётр Ван Дик, Серафима, Стас Холмогор, егерь Пётр Егорович, Ада, баба Галя и баба Аделаида, грудничок Васечка и Дарья Чёрная.

- Аминь. – сказал мальчик.

- Правильно, аминь. – Мирон пошарудил в топке кочергой – угли вспыхнули.

- А что, чай, студёно было сюда идти-то? – прищурился Мирон и, ступив в золотистый эгрегор[11], семирежды со свистом перекрестился.

- Нет. – помотал головой Лёша. – Как по углям шёл, превеликий Мирон, чую, что на святое учение иду…

- Так вот ясноокий ты мой. – Мирон, переступая через трупы, подошёл к мальчику. – Святое учение твоё началось, как только ты шаг свой голый сделал в студёный снег и закончилось, как ты порог моего дома переступил. – он выдержал паузу, Алёша внимательно слушал. – А теперь у тебя начинается служба, служба таинственная, служба посвящённая. Сейчас волк придёт ниже положенный, и примешь ты таинство Докрора, и моё Мирона унижение разделишь. С минуту на минуту пожалует волк, приготовься, будь мил, к его приходу. – Мирон провёл гладкой ладонью его по бедру. – Согрелся, посвящённый?

- Да, мне жарко.

- Так скинь же Урсуса – он тебе сейчас не пригодиться.

Алёша сбросил шкуру, обнажив стройное раскрасневшееся от жара тело. Мирон поставил перед ним серебряную чашу с вином.

- Это кровь христова. – скрипел он своим завораживающим голосом. – Почувствуй, какая она горячая. – он зачерпнул вино в ладонь и вылил мальчику на живот – бордовая струйка быстро скользнула вдоль пупка и нырнула под яички.

- Горячая. – вздрогнул мальчик.

- Кровь спасителя нашего. Давай я омою тебя. Вставай.

Алёша покорно встал. Мирон зачерпнул ещё вина и стал тщательно его омывать: плечи, подмышки, талия – его руки постепенно опускались ниже, пока не коснулись члена, тот уже напрягся и теперь торчал поросячьим хвостиком. Помассировав яички, Мирон аккуратно заголил головку и

[11] эгрегор – информационно-энергетическая сущность, объединяющая общие идеи и мысли, среда, через которую происходит взаимодействие человека с Богами

большим пальцем стёр створоженную мочевину, затем развернул мальчика и тщательно промыл ему анальные отверстия.

- Вот и хорошо. Ты во Христе, Алексей. А теперь волк! – властно прокричал он. – Повелитель ночи, тайный жрец Денницы? Выходи, волк!

Под полом послышались шаги, скрипнула дверца погреба и с грохотом упала на пол. Лёша испугался и попятился, но Мирон крепко прижал его за ягодицы.

- Привыкай, отрок, с этого дня и до смертного одра твоя жизнь будет связана с таинствами. Ты посвящённый. – Мирон говорил, и грязная марлевая повязка на его лице подрагивала. – Сейчас ты увидишь то, что не доступно простому смертному.

Из раскрытого квадрата погреба показалась волчья морда, затем грудь и торчащие колом передние лапы, потом человеческие ноги и хвост. Волк вышел и направился к Мирону, волоча за собой мёртвые лапы. Подойдя к Мирону, волк сел и уставился на Алексея. Алексей мелко трясся.

- Познакомься, волк, это Алёша, мой приемник, прошу любить его и почитать, аки меня.

Волк учтиво кивнул.

- А теперь Докрор! – Мирон кивнул на погреб. – Таким его ещё ни один смертный не видел. Это истинное состояние Докрора.

Из дыры выползло мохнатое существо с торчащим вместо лица пуком соломы. Оно низко стелилось по полу, прямо по покойникам. Поравнявшись с волком, Докрор уселся по другую руку от Мирона.

- Познакомься, Докрор. – старец смиренно поклонился. – Это Алексей – наше будущее.

Докрор, не шевелясь, сидел перед мальчиком.

- Р-рад… – начал было блеять тот, но Мирон его оборвал:

- А теперь Алёшенька, допей кровь христову, которой омывал я тебя!

Пока мальчик пил, Мирон замотал ему глаза и уши мешковиной.

- Выпил? Молодец. А теперь я венчаю тебя этим шлемом. Аминь.

- Аминь.

- Аминь.

В один голос сказали волк с Докрором.

Мирон водрузил увесистую чашу мальчику на голову.

- А теперь встань, посвящающийся!

Лёша встал, дрожащие от волнения ноги подкашивались. Мирон обернулся к волку – тот уже скинул шкуру и положил рядом с собой на пол. Под шкурой оказался довольно упитанный тоже обнажённый мальчик с недовольным лицом.

- Ну, что ты куксишься? – одними губами произнёс Мирон. – Я, между прочим, тебя кормлю, и неплохо.

- Можно я сниму, мне жарко. – раздался тонкий жалостливый голосок из-под маски Докрора.

- Конечно, Эдик – всё готово.

- Уф-ф-ф… - Эдик сбросил с себя увесистый костюм и вытер со лба пот. – Ну и жара.

- Тише…Тс-с-с. – зашипел на них Мирон, заметив, что Лёша попытался повернуться. – Готов ли ты раб, служить Докрору!?

- Да.

- Готов ли ты служить Мирону!?

- Да.

Пухленький мальчик, сонно оглядевшись, стал прохаживаться вдоль трупов и всматриваться им в лица. А Мирон тем временем одним движением скинул с себя рубаху, распустил длинные седые волосы, размашисто осенился семериком. Оставшись нагим, он опустился перед Алёшей на колени и кончиком языка лизнул кожицу, свисавшую с кончика его члена, затем аккуратно заголил и взял ставший наливаться кровью член в рот. Сладко сося, он просунул ладонь мальчику между ягодиц и стал медленно вводить мизинец в правый анус.

- Илья. – в пол голоса окликнул старец пухлого мальчика.

Тот, наспех досматривая лежавшее у самой двери тело, недовольно поднял заплывшие глаза.

- Нашёл? – Мирон лишь слегка выпустил из губ тоненький член Алексея, что б говорить и медленно двумя пальцами, не перестовая, ласкал.

Илья кивнул, указал пальцем в кучу и спешно направился к Мирону.

Обойдя вокруг них, Илья взобрался на лавку и прильнул к Алёше сзади, едва касаясь, погладил его плечи, талию. Панцири его плавно отошли в тазовые кости, и члены напряглись. Он жестом дал понять Мирону, чтобы тот отошёл. Палец Мирона к тому моменту же полностью погрузился в анус.

- Илья. – ещё раз окликнул его Мирон.

- Ну, что? – тревожно и одновременно страстно посмотрел на него Илья.

- Есть какашечка. – не в силах сдерживать торжество, прошелестел тот. – Острая концом и холодная. Вот…конечик ейный трогаю. – он медленно водил палец в кишке. – Ну, подтаскивай Дарью, чего стоишь, блаженный?

- А ты уверен?.. – взволнованно топтался на месте Илья. – Что её…того… ну, Максим не лупанул?

- В силе моей сумневаешься, ирод!? – побледнел в гневе Мирон и тут же нежнее добавил. – Ну, веди же, не томи…

Илья мигом соскочил с лавки и подбежал к телу Дарьи – та сильно выделялась среди остальных тел хрупкостью сложения и выпученными в муке глазами. Схватив Дарью за косу, мальчик потащил её к лавке.

- Подводи, подводи мой ненаглядный… - задыхался в волнении Мирон. – Тринадцать лет я ждал этого момента. Давай, Алёшенька, наклоняйся.

Хотя Лёша и не мог слышать его слов, но, видимо, по давлению рук понял, чего от него хотят, и прогнулся, остро оттопырив попу.

- Подводи, подводи. – не унимался Мирон.

Упираясь босыми пятками в доски, Илья пристроил Дарью лицом к лаве и, балансируя, встал той на грудь. Убедившись, что всё сделано верно, Мирон сделал два шага в сторону и громогласно на поповский манер запел:

- Триедино венчаются рабы Божии Алексей, Илия, раба Божия Да-а-а-арья.

Илья пристроил оба члена к раскрытому сначала правому, а затем и левому анусам Алёши и медленно ввёл, фосфорное кольцо вытеснило верхние слои кожи и, засияв, покрылось ароматной жижей – сделал несколько движений. Алёша в ответ страстно задвигал широким плоским тазом.

- Калою первородную скрепляю ваш союз. 13, 8 и 12 – с этого дня вам 33 и имя вам – Кохон. Да будет имя ваше, как и имя святой матери вашей Дарьи вписано святым пророком Мироном в новую историю писания, истории воскресшей после миллионов лет от забвения грязноруких левитов, новой кровью нальются канувшие в лету полые вены страниц пяти кругов: Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие, да будет дата сия, дата пожарища, принесшего жертву Господню вписано золотой двадцать третьей буквой в рождаемое Евангелие – Евангелие от Мирона…

Алёша вытолкнул плоский с заборную доску копчиковый хрящ и, изогнувшись, завыл – фекалии, как из зайца посыпались мелкой крошкой из обоих отверстий, Илья, шумно вдыхая смрады, крестился и плакал, Эдик запоминал, чтобы потом всё в подробностях пересказать страдающему плохой памятью Мирону.

- И вдыхает сейчас Господь с нами ароматы жертвенные, как с пожарища древнего сладость кож обопаленных. – возопил Мирон.

Вдруг икона, что висела в красном углу под потолком, надулась, словно грелка, затрещала и истекла густым волнообразным сиянием, что с шумом ударялось в стены и рассыпалось на тысячи тонких с иглу красных струй.

- Икона святая замироточила. – молитвенно побледнел Мирон. – Иисус пантократор, сын отца своего кровит с нами.

Икона, постепенно сдуваясь, наливалась золотым свечением, изображение спасителей растягивалось вдоль, словно улыбалось.

- Да будет имя твоё вечно. – Мирон размашисто осенил себя и лбом коснулся пола.

Илья, просветлённый и поражённый, не отрываясь, глядел в икону, по щекам его текли неоновые в каловых мешочках кристаллы. Алёша не переставая испражнялся. Заметив это, Мирон трепетно закричал:

- Давай-давай, одна треть, орошай блаженной калой матерь свою новопреставленную, оплакивай её, радуйся за неё, а ты молись, молись господу нашему Намаду Идам Посвящённому Илюша, твои уста сейчас сладки ему, а я уж унижусь, сяду горой неподвижной за бумагу и оповещу мир о сошествии господа на землю нашу грешную окаянную…Только сначала греху предамся, дабы не загордиться чистотой своей, да… - он задрал Дарье обгоревшую ночную рубаху, раздвинул закоченевшие ноги и, усладив взор, превозмогая сопротивление, вошёл в неё – кровь быстро окрасила член и струйкой поползла по половице. – Лупанули… – ворчал он себе под нос. – Цыган строгий, цыган поберёг… – и снова громогласно, для всех: – Чай, не сподобилася во сраме, так во Христе поправилась. Ох, како сладко мне-е-е!!! – возопил он и заизвивался в штыковых атаках.

- Он закончил. – обернулся к нему Илья, жестом указывая на стоявшего на четвереньках Алёшу.

- Ну, придержи, п-пока…я. Давай, давай поклонись ему, придержи. А-а лучше, вылижи триединому глазочки, чай, это теперь и наши с вами глазочки, чай, все разом смотреть и будем. Полижи, милый, полижи… – Мирон положил ему ладонь на спину и наклонил, Илья лёг грудью Алёше на поясницу. Вибрация Алёшиного хряща плавно перекинулась с грудины на двойной хребет Ильи. – Вот умница. – пот скользил Мирону по лицу. Илья, закатив глаза, стал сильно вылизывать Алёше анусы. – Покажи-ка и мне глазок. – он пальцем нащупал Илье анус, размазал его большим пальцем. – Молодец, хороший глаз, всевидящий глаз…

- Всевидящий глаз. – проговаривал про себя Илья.

Мирон впился языком в горячий сфинктер и зарычал, движения его участились, на мгновение превратившись в частокол, и замерли. Мирон испустил семя.

Скучающий Эдик так остался сидеть на маске Докрора, словно на корзине с грибами.

день третий

- …и так и нёс Спаситель, революционер и бунтарь, лучший ученик детей несправедливо прозванного гоями «сверженным преступником Ахетатоном»

единого от начала Творца, ученик учеников того, чьё имя боялись произносить в слух, гонимый и оплакиваемый, сущий и нереальный едино, балку с бедро охватом – сие крест Его, сие крест Наш, сие грехи Наши… - послюнявив палец, Мирон перелистнул страницу. – Внемли, Кохон, истории священной, ты следующий в этой истории, и ты, Эдуард, вникай. Тебе, как ни одному смертному Господь послал клад – хранить тайну. Ну, ладно. – он развернул книгу к лучине. – Продолжим. Шёл он, истерзанный, истекающий кровью и кристаллами, сам нёс крест свой на Голгофу. И здесь древний кольщик отступает от священного писания. – Мирон внимательно посмотрел в лица детей. – И впервые коснулся личности одного, казалось бы безразличного истории человека – Марусн, Армит, Ритуал, Иибарх, Дорант – пять имён, из которых только одно истинное, остальные четыре ложные… Я, как и никто из смертных не знаю его истинного имени, поэтому называю его несуществующим именем Марид, субстанция из начальных букв его лживых и одного истинного имён. Марид, его субстанция. И, как часто это и случается в истории, на сцене лишь спектакль, а настоящая жизнь, истинные события разворачиваются за кулисами. Там герои снимают маски, обнажая черепа – ведь все они мертвы. И вот, «седьмым седьмого ряда с семью пальцами», именно так описывает древний кольщик Марида, «сын воина, внук воина, правнук колдуна, красив, добр, свиреп». Пусть вас не пугают такие контрасты – свирепость – это не зло, это огненное стремление, присущее каждому верующему, и вкупе с добротой оно даёт духовное свечение. И вот идёт Марид, седьмой седьмого ряда с семью пальцами…

- А почему пальцы? – коснулся плеча Мирона пухленький Илья.

- Семь?

- Угу.

- Это знак Божий, метка. Всяк человек непонапраслену на земле положенный метку имеет. Такмо божия метка может быть и диавольская.

- А как их отличать?

- А у тебя, Мирон, какая меть?

- Делами, дети мои, делами – всё в Мире делами соизмеряется. Каки дела – така и меть. А коли нет мети, то и дела твои – суета.

- А у тебя, а у тебя. – Илья увлечённо разглядывал свои пальцы.

- У меня шишечка за ухом есть. – Мирон откинул седую прядь с покрытого густой шерстью лица и, отворив нижнюю складку, выделил фиолетовый околоатлантовый фиксатор, на его пористой поверхности красовалась бордовая, размером с орех шишка. – С рождения её богом даденную ношу.

- А что у тебя под повязкою, Мирон? – Алёша указал пальцем на несвежую леской прихваченную тряпицу.

- То ещё одна метка, явная. – Мирон отстранил повязку и обнажил зияющие впадины носовых костей, уходивших узкими тоннелями в носоглотку.

- Ча смердь яка. – замер в изумлении Алёша, оскалив жёлтые зубы из-под огненно рыжей шерсти.

- Се меть явная, в муках приобретенная. – вещал Мирон. – Собакою бешенною отъеденный. – Се меть!

- И у меня! И у меня! – Илья демонстративно вложил указательный палец в глубокую расщелину между лобными буграми с горящими на них фосфорными остями. – Мирон, у меня?

- У тебя… – я! – Мирон замер, словно прислушался к собственному слову. – Я – меть твоя, судьбою призванная, а не расщелина твоя жалкая. Кохон – меть тысяч, на долгие годы, предвестник Скорпиона, сын новой эры. Я меть твоя и призываю, тысячи, до представления Кохона: оглянитесь округ себя, яко дети мои округ себя – чи не прилип к вам меченый, чи не часть истории Библейской Ты? – Мирон выдохнул и положил отяжелевшую вдруг голову на стол – конусоподобный в редкой чешуе лопаточный отросток его лёг по вертикали на затылок и с шипением расползся. – Запомнил, дитя Эдуард? – не открывая глаз, простонал Мирон.

Всё это время не сводившие друг с друга глаз, Алёша и Эдик, кивнули.

- И Алёша кивнул, преподобный. – тревожно обратился к Мирону Илья.

Вдруг Алёша молитвенно на одном дыхании произнёс:

- И меченый сей Денницы свет в своих очах хранить буде, ибо я глаголю, Кохон триединый – я меть, и свиреп будь мой прихожанин, ибо я пантократор. – сказав это, он закричал, лицо его самоопорожнилось и он вскочил из-за стола.

- Держите его!!! – превозмогая усталость, кричал Мирон. – Откровение снизошло на триединого. Держите…его…

Эдик с Ильёй, омываясь слезами умиления, схватили, бросившегося к погребу Алёшу и заломали ему руки. Связав кисти, Эдик сел ему на лопаточные ступни, а Илья начал бить ногами по голове и остановился лишь тогда, когда из ушей Алёши полилась кровь. В наступившей тишине Алёша медленно, практически по слогам стал читать:

- У преступления нет срока давности. Плати своей кровью, свинья.

- Быстро, записывай за ним. – скомандовал Мирон Эдуарду.

- Я видел тебя всего четырежды. – монотонно продолжал Алёша. – Трижды жал твою поганую руку. Тот дом, что ты осквернил вчера, завтра будет разорён. Возьми камень, пока ещё бьётся кровь в венах того, что виновато. Камень смрадный, как жизнь твоя, камень спрессованный, как твой труп,

камень вечно не могущий выйти, видя выход, как все твои дела, камень причиняющий боль, как твой член, бесплодный, роковой, безвыходный… В анусе ищи дитя своего греха и увидишь, как безобразно оно. В Холм-заветный езжай, как людей без ног навестишь и там ветер приведёт. Узнаешь по татарину.

- И да сказано сего дня в Святом писании: «Не суди Илюшу за свирепость его – он раб тебе, Кохон». – Мирон торжественно открыл толстую в свином переплёте тетрадь и тремя росчерками вписал.

- Кажися, успокоился. – крикнул ему Илья.

- Сажай за стол. – Мирон спрятал тетрадь и вынул из-под лавы бутыль. – А ты, Эдик, кружки принеси. А ты. – он ласково лизнул глазами сверлившего глазами Илью Алёшу. – Не гляди, что Илюша так свиреп, он слуга тебе, Кохон.

Комната наполнилась ароматом трав, самогона и елового масла. Ёрзая на месте и разминая затёкшие кисти, Лёша следил, как Мирон разливал по стаканам. Отёкшее в гематомах лицо его сияло.

- Ну, Триединый. Эдуард. Вздрогнем. – Мирон радостно взмахнул стаканом. – Лехаим, друзья!

- Лехаим.

- Лехаим.

- Лехаим.

Повторили дети и осушили кружки.

- Хороша-а-а… - вытер усы Мирон. – Как священная история, хороша, ей Богу.

- У-хху… - сморщился Алёша.

- Пей-пей, триединый – раны свои рубцуй. Да слушай дале, а то откровениями яко тот кроль шариками посыпаешь, священной истории не ведая…

- Как это по-русски! – стукнул о стол кружкой вмиг захмелевший Илья.

- Что, самогонку без приправы пить? – лукаво прищурился Мирон.

- Не, причащаться, не ведая.

- И то верно, но то не меченые, им всё дозволено – хошь, в цэркву ходи, а хошь на работу, всё одна природа – суета. Коль в суть не вникать, тако всё едино будет.

- Едино черно?

- Едино беспочвенно. – Мирон довольно выпустил жидкие веки. – Ну, ладно, вернёмся к истории: походка Марида суровая, уверенная, мысли тяжелы. Чует Марид жалость смертную к мученику его народа, видит Соломона, оводом мечущегося в толпе, видит в разрезе свого шлема

пластиковую нутрию с платком, видит и чудится ему, что знает он, что неслучайны эти существа, что не случаен и он здесь. И погрузился Марид в ведения и привидел он иссохшего, измождённого Христа висящего на кресте, голубую пену у губ его, лучи ослепляющие десяти рук его на дважды по пяти древах крестовых, застывший взгляд – мёртвую оболочку увидел Марид, человека разглядел он в Боге. Тогда он протиснулся чрез семь рядов, и чем ближе подходил он, тем отчётливее видел он огромное красное бьющееся в мертвой плоти сердце, сердце отца, и также видел он тех избранных, что укутавшись в траурные сари, внимали этому сердцу и спинами ждали Марида, чтобы сохранить его тайну для верующих. Сдавил тогда Марид семипалой кистию своей кол меднокованый и вонзил клинок его в тело христово, и аки хлеб стал крошить его, и струилась кровь и жидкости смрадные по колу, биясь в ветра порывах и в пар сбиваясь, и сыпались в небо хмурое кристаллы иссиня смоляные, вызывая ликования на лицах посвящённых в тайну и являя свету единость природы человеческой со Христовой… По возвращении в казарму, Марид, аки пришибленный повалился на полати, било его в лихорадке. Воины и преданные друзья его Амин, Рос, Плиний, Лим, Оксфорд, Даман и Роамин стащили с него латы пудовые, исподнее и предстало тело их брата иным, нежели было до прихода их в казарму. Тело яго стало белым в исщерблинах хлебом, а ноги налились вином. И произнёс Марид голосом сильным звонким:

- Ешьте, меня братья, ибо я тело Христово, и пейте вино ног моих, ибо то кровь спасителя. – и отломив от груди своей кусок трегранный протянул тот другу свому ближайшему Роамину и пал тот на колени пред чудом явившемся. И ели они Марида и черпали вино из ног его. И стали лица их покрываться демонами чёрными да мушицами чернородными и превратились все семеро в гадов пресмыкающихся и тут же расползлись по свету проповедовать. Амин лягухою бородавчатою прикинулся, Плиний бобром голотелым обернулся, Рос в змия скользкошкурого обернулся, Лим крысом подвальным, Роамин ежом игловидным да скорым, Оксфорд рыбом щуком снарядился, Даман блохою скотоподобною. И у каждого гада проповеди в сердцах зрели, аки лоза виноградная у доброго хозяина.

Вот таким предстаёт перед нами первый кольщик – тайный смертный Марид, зачинатель славного рода кольщиков – Мирон поднял полные благоговения глаза на ребят. – Именно того настоящего, что сокрыто за кулисами, сего закулисья, чему имя – Вера Истинная в Бога нашего Иисуса Посвящённого. – закончил Мирон и отложил книгу. Ну, а теперь поспим малость, помолимся, да к таинству Радона приготовляться станем.

Все четверо улеглись по лавам.

день четвёртый

Как рассвело, к Мирону в дом стали стекаться родственники погибших. В крепко натопленной убранной по ритуалу хате царило спокойствие, одиннадцать тел, словно спички у колдуна светились внутренним светом. Раздетые, вымытые, с опечатанными воском глазами лежали они посреди хаты в четыре ряда: Ярч Поморов, Николай-солдат, Пётр Ван Дик – ряд №1, Серафима, Стас Холмогор, егерь Пётр Егорович – ряд №2, Ада, баба Галя и баба Аделаида – ряд №3, грудничок Василий и Дарья Чёрная замыкали схему.

Пришедшие, в тишине рассаживались по лавам, расставленным вдоль стен, принесённая с собой снедь оставлялась у двери на поминальном столике.

- Горе у нас. У нас горе. Горе у нас. Проходите. Горе. Присаживайтесь. Горе у нас. – монотонно приветствовал всех входящих Мирон и смиренно кланялся в пол. – А залишних вон! Не потерплю!!! На мороз! – и выталкивал зевак и дальних родственников.

- Слово твое вострее шильного жала, топорного вострия. Кислым не запить слово твоё, пресным не захлебать. – откликались на приветствия входящие.

- О-ой…Никола-а-ай. – едва переступившая порог розовощёкая молодая баба скривила лицо и пошатнулась.

- Ну, милая. Ну, не плач, всем тяжело. – с участием подхватил её под руки Мирон и вдруг, поведя лицом, взорвался. – Чу!? Чу!!!? Смирна?! Смирну[12] у себя в хате не потерплю! Не дам вонять! – и, забыв о бабе, метнулся к двери.

- На, милый, поешь ягодок. – в дверях стоял усыпанный птицами седенький старичок. Ссутулившийся, в чёрном от сажи тулупе и босой он держал в ладони жменю земляники.

- Ну, и смердюч ты, Ягайло. – Мирон поправил повязку на лице. – Давай, убирайся вон, здеся и без тебя скотов хватает. Али ты думал – кафтан ряженый на себя налепишь, так и не признаю я тебя?

- Умойся! – возникший из-за угла мальчишка ткнул старика в лицо куском снежного наста.

Когда все собрались, Мирон вышел в центр комнаты – в белой до пят холщёвой рубахе, лисьем воротнике, босой, длинные седые волосы, словно граблями были убраны ярко голубым обручем в некое подобие копны. Обведя присутствующих прищуренными глазами, он внятно почти по слогам произнёс:

- Мусор, мусор и шелуха лежит сейчас перед нами. – он пнул лежащее по правую ногу тело бабы Гали. – Тлен. – повисла пауза, под полом послышалась

[12] смирна – благовонная смола для курения.

возня и приглушённый рык – родственники заёрзали на местах. – Тлен и прах пришли мы похоронить. Колом изошёл дух божий из этой срани. Тлен и прах оставил он земле. Мудрец сказал: мужчина – это земля, женщина – вода, а вместе они грязь. – из-под пола донёсся звон медного таза. – Это грязь. – он ещё раз пнул бабу Галю. – Которая отягощала их, и до сих пор тяготит нас, это кожа нашей души. Адский царь Сатана кормится ею аки грифон падалью! Так давайте же избавимся сегодня от этой кожи, от этого ороговелого нароста, нежного в детстве и болезненно ломкого в старости, позволим их душам парить свободно.

- Докрор. – слабо донеслось из утопавшего во мраке угла.

- Докрор, Докрор… – загудела в волнении толпа.

У кого-то из рук выпала шапка и колесом покатилась поперёк хаты.

- Я иду за ним. Рящите[13]! – торжественно произнёс Мирон и направился к погребу. – Отворяй, Докрор. – он четыре раза топнул ногой.

Дверь погреба со скрипом отворилась – Мирон спустился по лестнице.

- Вы готовы? – спросил он у Ильи и Эдика.

Те кивнули. Алёша сидел на полу также как и день назад с перевязанной головой и серебряной чашей.

- Зал. – Мирон кивнул в чёрное пространство в конце коридора. – Свет сразу зажгите – потом не с руки будет.

- Инструменты?.. – волнение передалось невозмутимому Эдику, и он часто заморгал.

- Инструменты потом. – Мирон проследил взглядом за проворачивавшим выключатель Ильёй. – Потом инструменты. – словно сам себе повторил Мирон. – Вот, хорошо…

Вспыхнул яркий неоновый свет. Пространство разродилось белоснежным в кафеле залом с десятком металлических столов и стеклянными шкафами по периметру.

- Хорошо… – повторил он и быстро надел костюм Докрора. – Помоги Эдичка с молнией. – повернулся к мальчику спиной.

- Ах! – как один выдохнули собравшиеся, когда Докрор во всём своём великолепии показался на верху.

- Ох, и светел.

- Ай, горит, горит сокол!

Докрор заметался по комнате, крича и припадочно трясясь.

- Ты!? Ты!? – бешено тыкал он деревянными руками в тела. – Ты!?

- Серафиму забери. – трусливо пискнул неокрепший детский голосок.

- Аду. Аду. – выдохнул, как из погреба глухой старческий.

[13] рящите – встречайте(церковнослав.)

- Ты!!!? – Докрор подскочил к трупу Серафимы и ногами затолкал его в погреб.

Тело глухо ударилось об пол. Тут же из погреба раздался животный рёв и радостный вопль детей.

- Ангелы радувьются. – послышалось из толпы.

- Радон. Радон ревёт.

- Лютует, избавитель… –загалдели вокруг, кто-то в панике бросился к выходу, но его остановили. Заплакал ребёнок.

- Ты!? Ты!? – метался Докрор. – Ты!?

- Петра Егорыча, Царствие ему небесное.

- Ты!!!!? – пуще прежнего завопил Докрор и сбросил труп егеря в дыру.

Расторопный Эдик тут же подцепил его багром и, пятясь, оттащил в секционный зал.

Снова из-под пола раздался рык и детский вопль.

- Аду! Аду прибери! – сипел старик.

- Ты!!!!? – взревел Докрор.

Тело Ады полетело к остальным. Толпа в возбуждении затопала копытами.

- Грудничка мого Васеньку прибери, блаженный. – высунулась из толпы тощая баба с лошадиным лицом и пожелтевшими бивнями у висков.

Вася, словно футбольный мяч в ворота направился в дыру. Раздался звон – тело его упало дальше положенного и развернуло медную утварь стоявшую вдоль стены, затем слабый шлепок по касательной, возня и тишина – рыка не последовало.

Толпа замерла.

Докрор заметался, страшно по-вороньи размахивая руками.

- Ты!? Ты!? – по-прежнему ревел он в подклет, но крика всё не следовало. – Ты-ы!!!

Тогда Мирон навис над дырой и ловко выскользнув из оставшегося стоять на поверхности каркасного костюма, быстро спустился по лестнице.

- Что? Что такое? – набросился он на детей, которые в этот момент отчаянно вырывали палку из лап медведя, что сидел у стены в клетке. – Что? Утащил?

- Я и не заметил. – со слезами на глазах оправдывался Илья. – Только его ткнуть сунул, как он хап…

- Ладно-ладно, оставь, возьми прут, или багром, в общем, торопись, у нас ещё семь. А этот!? – Мирон с негодованием посмотрел на перекрученный Васин труп, что ногами торчал из-под груды ссыпавшейся со стеллажа медной утвари. – Почему ещё здесь?

Эдик ловко подцепил того багром и, стараясь не греметь, выбросил на проход. Обогнув, потащил тело за собой в секционный зал.

Медведь лениво грыз палку, подмяв её под себя.

- А!.. – в сердцах махнул рукой Мирон и пополз обратно.

- Радон решил оставить Васю себе. – прохрипел Докрор и с новой силой закружил по комнате. – Ты!? Ты!?

Мать грудничка заголосила.

- Ты!!!? Ты?!!!!! – размахивал руками Докрор.

Из погреба снова донёсся медвежий рык.

- И ты-ы-ы! – Докрор вспорхнул к телу Дарьи и замахнулся ногой.

Вдруг в дверь постучали. Присутствующие как один направили свои взоры к двери, последним повернул громоздкую голову Докрор. Стук повторился.

- Ты ли это… Святой Заворотень? – играя, лукаво просипел Докрор и опустил занесённую ногу.

Из-за двери послышалось приглушённое бульканье.

- Кажись, дерьмом несёт. – прошептали в толпе и задвигали ноздрями.

- Не иначе...

- Кала священная-то, кала.

- А!!? – рявкнул Докрор и взмахнул рукой. – Ты ли это?.. Коли так, то отворяй, замка для тебя нет в моём доме.

Нервная рябь пробежала по толпе. Дверь сама отворилась, и в дом вошёл Заворотень: трёхметровый, похожий на старого селезня с подвязанным, раздутым, как дюжины рожениц, животом. Ломано раскачиваясь и квохча, он переступал трупы и, словно стараясь не расплескаться, задирал раскрытое горло в потолок. Помещение постепенно стало, как дымом костра наполняться тленью перебродивших испражнений, они смешивались с бледным трепетом лампадок и взорами строгих икон – и пьяным сторожем размахивали резным дулом.

- Угл-угл-угл. – заквохчал Заворотень и стал скакать по полу, отталкиваясь сильными ногами от трупов и с хрустом давя им грудные клетки. – Уг-гл. – бурлил он смрадной жижей-рвотой выплёскивавшейся из горла.

- Заворотень…

- Великий святой…

- Васютку мого окропи!

- Великий, великий…

Люди стонали и, трепеща, сползались к нему, словно голодные утята, они тянули к нему свои рты и раскрытые головы, в упоении наполняя себя липким тугим калом, а Заворотень с неистовством бросался из одного угла дома в

ругой и хруст из под его ног заставлял стёкла дребезжать, а половицы скрипеть, будто по ним идёт гружёный лесом поезд…

- Ну, посмотрим, чего нам Бог послал. – Мирон закрыл дверь за последним родственником. – Давай-ка Ильюша, разбирай. Хоть бы лобанчик[14] кто в закуток домыслил схоронить, хоть обрезанный: прохудились совсем.

Илья с охотой бросился разбирать замотанные в тряпки, рассованные по корзинам кули с пищей.

- О! Салат с кукурузы. – радостно докладывал он. – И гренки вот! Алёша гренки любит с вареньем, он рассказывал.

- Уже пообщались? – Мирон переодевался в более удобную одежду.

- Немного. – не глядя на него Илья потрошил корзины.

- И чего он тебе сказал?

- Что пока сюда шёл, очень боялся обкакаться. А когда ты его вином омывал, он вообще еле удержался, чтобы не навалить.

Мирон честно рассмеялся.

- О! Акульи плавники, оливки… Это кто такой продвинутый?

- За Дарью, небось…

- Осип? – недоверчиво скривился Илья.

- Максим.

Вдруг в дверь постучали.

- Я же сказал, входи Максим. – повысил голос Мирон, и поймал в ладонь выпавший из печи раскалённый уголёк.

Дверь отворилась, и в дверях возник Максим, сутулый, серый лицом.

- А-а…Докрор…зд…ушёл? – Максим зачем-то улыбнулся, из обветренной, надтреснутой губы показалась сукровица.

- Ушёл. – неприязненно ответил Мирон. – А что за дело смертного к Богопоставленному?

Максим нервно мял в руках шапку.

- Ну!? – повысил ноту Мирон.

- Он уже…у-ум…забрал…Дарью?

- Ты же, вроде, присутствовал на «скидках»? Слышал: Радон приветствовал Дарью? Забрал, значит. Радуйся.

- Я не слышал. – неожиданно быстро и сбивчиво заговорил Максим. – Плакал, я, слёзы. – он вцепился себе в горло. – Слёзы, накатили, не слышал, ничего не слышал, вот деньги, ничего не слышал, вот, Радону… - он достал из-за пазухи кожаный узел и высыпал на ладонь золотые монеты. – Вот, вот, я ничего не слышал, слёзы, я ничего не слышал…

[14] золотой

- Да ты успокойся. – Мирон взял его под руку и повёл к столу. – Ты отпей водицы колодезной, да успокойся, Радон не враг тебе, успокойся.

- Он, он, пир, уже…уже готовят? – размазывал слёзы по лицу Максим. – Мне Дарью, только одним, деньги, я не слышал…

- Чего тебе нужно!? – Мирон влепил ему пощёчину.

Максим замер и вытаращенными глазами уставился в него:

- Плева… - прошептал он и, не моргая, продолжил. – Плева родная, к пиру…

Мирон сделался пунцовым.

- К пиру. – как зачарованный продолжал Максим. – Дарьи уже нет, а плева, вот она – есть, целая. – он рассеянно провёл ладонью себе по паху. – Запечённую, на блюде, целую, двадцать золотых монет, с царского режима, целое состояние – мать на дом копила, плева…

- Ты хочешь, чтоб Радон вырезал тебе преддверие с плевой? – хмурил брови Мирон. – С плево-о-ой… Ум-м-м… Ладно. – вдруг просиял он. – Давай узел, попробую договориться.

Максим судорожным движением сунул ему деньги.

- Жди здесь. – Мирон, прихрамывая, направился к погребу. – Значит целая. – бубнил он под нос. – Ну, это как кому…

Привычным движением Мирон спустился по лестнице в подклед, балансируя, переправился по доске, брошенной в лужу крови, и вошёл секционный зал, нащупал выключатель. Вспыхнув галогенными лампами, свет отскочил от белоснежных блестящей керамики стен и, лоснясь, расползся по влажному металлическому полу. Груда покалеченных при падении тел небрежно наваленных друг на друга лежала в углу. Широкая алая полоса крови тянулась от них к лестнице.

- Целая. – улыбнулся в усы Мирон. – Боюсь, придётся тебя разочаровать. – он открыл стенной шкафчик, разорвал ещё не распечатанную пачку с одноразовыми перчатками, расправив, натянул их. – Целая. – уже в голос едва сдерживая смех, произнёс он и, отыскав глазами Дарью, вцепился в ногу, рывком вырвал её из-под грузного тела Холмогора, подтащил к столу. – Угу-у. – аккуратно, как послушный школьник уроки, он сделал круговой разрез по внутренней линии бедра, поперёк промежности, обогнул клитор, отточенными движениями отсепоровал мягкие ткани, на сколько мог глубоко выделил полость влагалища и аккуратно уложил получившийся препарат на пол. Налюбовавшись, он шприцем смыл кровь, отсёк от препарата влагалище и на просвет развёл малые половые губы. Их украшали рваные, не успевшие зажить лоскуты девственной плевы – та была нарушена.

Воротившись в хату, Мирон поставил на стол перед Максимом накрытое бежевым платочком блюдце.

- Я вынужден тебя огорчить, Максим. – с напускным трагизмом произнёс он.

Максим, не моргая, смотрел то на блюдце, то на Мирона.

- Я вынужден тебя огорчить, Максим. – повторил он. – Пролитое полно не живёт. – и сдёрнул платок.

Отшатнувшись, Максим вскочил, его лицо исказила гримаса отвращения, он схватил влагалище с блюда и, не видя ничего перед собой, выскочил во двор.

Илья флегматично, проводив его взглядом, вынул из принесённого им короба с плавниками записку:

- «Дорогая, вечная, любимая. Дарья – молодость моя, моя несостоявшаяся жизнь. Чту память о тебе и твою память такмо чту. К тяте твоему батраком наимусь, чтоб с плотью твоею рядом быти. Не познал я тебя девой и перед прародителем твоим не виновен, и перед тобой не виновен. Дорогая моя, вечная, любимая, то не буквы скачут сейчас по плоти бумажной, то годы моей боли издрыгаются – буква за год. Здесь 517 букв. Я жду пира, как первой ночи, чтобы прикоснуться к тебе. Пускай в моей руке будет вилка и нож, но передо мной всё же будешь ты – вечная, любимая, дорогая. Отведав тебя, я зарекусь есть мясо мертвецов, одною травою питатися буду. Это мой обет тебе. Да прибудет с тобой Господь. Аминь. Максим»

- Во как. – констатировал Мирон и причмокнул губами.

Ближе к вечеру Максим повесился. Ни записки, ни какого бы то ни было внятного объяснения своему поступку он не оставил. По традиции, умершего до прихода кольщика похоронили без поминок в отстойнике.

день пятый

- Мирон, беда. – раскрасневшийся от бега мужик снял с мокрой головы шапку и прижал её к желудочным распорам. – Доча кончается.

Мирон отложил занесённую уже ложку с супом обратно в чугунок и вопросительно посмотрел на вошедшего.

- Бабы, скоты. – сбивчиво говорил мужик. – Неделю дома не был. Уголь жечь в лес, на промысел ездил, спину рвал, токмо первый заклад золою вышел – поздно дёрном закрыли. Второй с головешками похоронили, пальца чуть не лишился. Неделю не был, всего, а они, скоты, ну, скоты…

- Не сыпи ты кролем. – Мирон устало поморщился.

- Беда. – повторил тот и коротко поклонился.

- Беда она одна не ходе, да и до кого приходить она, как никто ведает. Тебе ль Владлен не знать?

- Знаю, великий. Оттого и глаза мои сухи, что знаю.

- Гангреной кончается дитя твоё, а ты с туберкулёзом не разминёшься. – мерно поскрипывал челюстью Мирон. – Гангрена та за Марфу, тобою сгубленную тебе приставлена, а на туберкулёз ты ещё не наработал. Ну ладно, кончаю уж, к пиру сегодня готовка у меня большая, уж трудов, почитай дня на два, одиннадцать тел. А ты меня отвлекаешь. Кони то быстры у тебя?

- Быстры, повелитель! – вдавил шапку в грудь мужик.

- Тогда, ступай, разворачивайся, пока твоя гнедая мово собаку не съела. А я сейчас выйду.

Мужик скрылся в сенях. А Мирон тем временем спустился под пол к мальчикам.

- Илюша, золотце, покличь Алёшеньку. Мне отлучиться бы надобно, а вы покась…А вот и Алёшенька, милый, ты где был, я уж и разыскивать тебя велел.

- Канатики тянул, дедушка.

- Покакатьки, значицца, ходил – святое дело, не надобно, чтоб в кишочечках нечистота задерживалась – лицом почернеть можно, а ты, как херувим белолик быть обязан. Значит так. – он широким жестом пригласил ребят в секционный зал. – Я по делу отлучусь, а по возвращении сразу к очищению приступим. А вы пока халатики оденьте, да перчаточки защитные и тела по столам разложите. Инструменты поточите, что надобно смажьте…

- А столов пятнадцать, а тел одиннадцать.

- Через стол и ложите. Головами к выходу. Ну, приступайте. – он похлопал Алёшу по плечу. – А ты, триединый – за главного.

Четырёхлетняя Настенька лежала абсолютно нагая, бело-синяя с неестественно красными щеками, из разбитой, местами разрезанной повязки виднелась чёрная гноящаяся плоть, ногтей на пальцах покалеченной руки не было.

- Как натоплено у тебя, Владлен, не дыхнуть. Вели ставни отворить. – Мирон подошёл к ребёнку и ногтем приподнял багровое веко – смоляной зрачок в ужасе сократился.

- Уже и дышит через раз. – обратилась к нему заплаканная в чёрном платке женщина. – Я сестра ихняя. – она кивнула на Владлена. – За экономку тут. А мать ейная давлением мается, днями лежит. Уж и говорить ей боязно…

- Ладно, тут ясно всё. – перебил её Мирон.

Настя открыла второй глаз и, не понимая, смотрела перед собой. Взяв кол, Мирон молча, не целясь, заколол девочку.

- Не за свои грехи страдаешь. – он вытер кол о занавеску, затем сорвал её и бросил на Настю. – Заверните. – скомандовал он и вышел из дома.

- Спасибо, Мирон. – Владлен протянул свёрток Мирону в дрожки. – Когда на скидку?

- Пятого дня приходи. Раньше не поспею. Трогай. – он пнул сапогом в спину кучера.

Когда усадьба скрылась за холмом, Мирон выпростал голову девочки из шторы и поцеловал в губы с языком…

Четверть часа спустя широкими движениями вошёл Мирон в сияющий нимбом секционный зал и, не глядя, швырнул свёрток в угол.

– Ну, что, коршуны? Вижу всё готово. – он довольно вышагивал вдоль разложенных по столам трупов, то всматриваясь в искажённые смертью лица, то в ясные глаза детей. – Ярч, Николай, Пётр Ван Дик, Серафима, Стас Холмогор, Пётр Егорович, Ада, Галя, Аделаида, Вася, Дарья Чёрная. Красавцы! – словно на плацу рявкнул Мирон.

Ребята удивлённые припадочному настроению наставника, переглянулись.

Прямоугольный, зал казался без стен. Залитый светом ламп белоснежный кафель отливал радужным сиянием, и мерцал, страстно контрастируя с гордо лежащими на плоских без бортов столах трупами. Чёрные, с вздувшимися мягкими тканями, мошонками, оползшими лицами они источали едва уловимый сладковатый смрад свежемороженой курицы. Ребята, в одноразовых фартуках на голых телах, босые и с довольными, возбуждёнными лицами «свиньёй» выстроились перед Мироном. Алексей стоял впереди с вытянутым, серебро с хрусталём, блюдом с инструментами, слабая улыбка блуждала на его бледном лице. Инструментов было немного. Тонкие и длинные, широкие в ручке и с кривыми лезвиями, с мудрёными пружинами – всех их объединяла одна, сразу же бросающаяся в глаза особенность – все они были ритуально нарядны и визуально казались из разных эпох. Но особенно блистал, лежавший посреди средней длины нож с золотым клинком и фарфоровой с изумрудными вкраплениями ручкой. Вот за него-то и схватился Мирон.

- Орудий Мурава светоносного! Послужи его рукой! – в экстазе прокричал он.

И тут же Эдик извлёк из-за спины, как букет для любимой, засохшую, похожую на пластиковую, кисть.

- Прими кисть, вседержитель. – пропел он девичьим голоском и протянул кисть Мирону.

- Да придет царствие твое.

Мирон вложил рукоять ножа в кисть, своими пальцами сдавил ссохшиеся святого и стал рубить трупы. Рубил он методично, наотмашь, кружа вокруг каждого тела, словно в вальсе. Мальчики, держа Алёшу за ноги, носили того по залу за Мироном. И он, словно с трона, величественно нагибался и собирал отрубленные конечности в специально приготовленные мешки. Через десять минут на столах остались лежать лишь истекающие кровью обрубки. Без конечностей, с вырезанными половыми органами и веками, они безучастно взирали в потолок, и взирали бы так вечность, если бы вопль Мирона ни заставил их вздрогнуть.

- Слияние!!! – завизжал он.

И все одиннадцать качнулись – кровь со столов полилась на пол. Послышались стоны и скрежет покойницких зубов и хрящей.

- Мр-ху-у-уу… – завыли в один голос они.

- А-а-ам-м. – простонал Пётр Егорович и, столкнув себя на пол, пополз по залу.

Тут и там послышались шлепки и проклятия.

- Ебаный н-нахуй. – выла баба Аделаида, запутавшись позвоночным столбом в кишках.

- Простите меня-я. – плакала Дарья, не видя, тараня бабу Аделаиду и волоча за собой, словно хвост многометровую кишку, из которой выливался жидкий кал вперемешку с кровью.

- Это всё Егоровы Егоровы это всё всё это Егоровы Егорвы это… – Ярч упёрся в шкаф и, стеная, лупил об пол державшейся на сухожилиях лопаткой.

- Святая крыса, святой бобёр! Братья во Христе – Амин, Рос, Плиний, Лим, Оксфорд, Даман, Роамин! Мальчики! Апостолы, заждались! – размахивал окровавленными руками Мирон, танцуя меж ползающих трупов, и россыпи крови и с тела, и с рук его саблями рассекали изуродованное пространство.

В дверях показались апостолы. Не проронив ни звука, они стали носиться по залу, словно бы вбирая в себя стоны умерших. Кружа, они скребли когтями по скользкому полу и, ко всеобщему ликованию, то и дело, переворачивались на спины, купаясь в лужах крови, кишках и во вскрытых брюшинах трупов.

- Иди, иди, сынок, покатайся на апостоле крысе. Он это любит. – Мирон заговорщески взяв Алёшу под локоть, подтолкнул к бегущему прямо к ним крысе.

Илья с Эдиком стали в форме ловушки, опустили Алёшу горизонтально полу и, угадав момент, когда апостол-крыса поравняется с ними, бросили Алёшу на него. Крыса завизжала, изогнулась, и тут Алеша увидел её лицо. Оно было черно, пластмассово, и… спасительно. Триединый заворожился: никем не виденное лицо спасителя застыло в представшей его взору маске. Он

с гордостью прижался к окровавленной невероятно бархатистой и ароматной шерсти святого и, стуча сердцем в такт скачкам того, с вожделением ощутил, как оба хвоста его вошли в анусы и стали посылать ему ещё не ведомые знания из божественной истории.

- А-ай-лллллля-я-я. – взвизжал Алексей при виде слияния апостола бобра с Ильёй.

Илья, стоя на столе, возвышался под потолком нахлобученным на голову трупом грудничка. А бобёр припал к нему своим голым младенчески невинным телом шестью к шести сосцам, и они, тоже визжа при виде слившихся апостола крысы и Триединого забились, словно услышав общую оргазматическую музыку.

- И-и щёлкнул радостно Мирон перчатками, и взопел тогда, и страшным сделалось лицо его!!! – кричал Алёша, скача на крысе. – Словно узрел он ужас и неподъёмное безумие пустоты! Весёлые вы мои!!! Весёлые!.. И в то же мгновение вскользил в зал апостол змей, таща на спине своей смиренной апостолов ежа, блоху и лягуха, и примкнул тем к священной истории, и как все впал в экстаз, сам и телами принесённых братиев-апостолов, и телом всех мучеников оскользил греховные столы кровавые и стал на стенах, на потолке, на дышавших в зале святых писать новую историю священного писания!!! – теперь уже пел Алёша.

- Весёлые-е-е!!! – ежесекундно взвывал Мирон, безрезультатно пытаясь поймать за хвост склизкого апостола змею, что шурша, с невероятной скоростью писал своим телом, то и дело возвращаясь к мертвецким столам, чтобы напитаться кровью…

Через час уставшие и счастливые Мирон, Алексей, Илья и Эдик уже сидели на тесной кухоньке, и, неспешно счищая мясо с уже сваренных конечностей, делились ощущениями.

- А крыс-то мой. – радостно говорил Алёша. – Какой пронырливый оказался – Дарью взял, как знал, что часть триединого.

- Пускай лакомится. – с лица Мирона не сходила блаженная улыбка. Он собрал соскобленное с ноги бабы Аделаиды мясо и бросил в котёл, отложил кость и взял руку Стаса. – Пускай проныра просветится. Хотя-я-я…я бы лучше змее отдал. Тот проку бы больше из ней извлёк.

- Да. – выдохнул Алёша.

- Да сколько их здесь? – Эдик в сердцах швырнул слипшееся веко в небольшую кучку.

- А ты посчитай. – без злобы, но с некоторым укором зыркнул на него Мирон. – Чай, грамотный.

- Двадцать два. – ответил за Эдика Илья.

Эдик ткнул его ногой.

- К утру управимся. – не понятно к чему сказал Мирон, встал, взял на плечо мешок, в который сам сбрасывал мясо и молча пошёл к лестнице.

Поднявшись в дом, он прикрыл за собой подклет, накинул тулуп и вышел во двор. Там уже стояла серебристая «Инфинити» с шипованными колёсами. Присыпанная снегом, она таинственно поблёскивала в предрассветном брожении. Из салона доносился глухой ритм игравшей там музыки. Мирон стукнул по колесу ногой. Из машины тут же вышел рослый молодой мужчина в усах и коричневой модной дублёнке, сунул Мирону свёрток, взял мешок, положил в багажник и выехал со двора.

- Сорок килограмм. Сынок… – слабо крикнул ему в след Мирон и по инерции сделал полтора шага. – Если б ты знал, сынок, как заебало меня это закорузлое пошехонство.

Дождавшись, когда гул мотора стихнет, он развернул свёрток – там были лекарства и запрещённая литература. Постояв с минуту на крыльце и успев озябнуть, Мирон вернулся в дом.

На вечер был назначен ритуальный пир.

Terror antiquus 2

…Владимир захлопнул дверь и, заслонив телом зеркало, чтобы Ира не заметила, тихонько, стараясь не звякать, повесил запорную цепочку.

- Разувайся здесь. – он снял ботинок и поставил на протёртый половичёк.

- А, посмотри, кажется, шнурок. – Ира стояла на одной ноге, смешно балансируя и придерживаясь рукой о стену.

Высокая, подростково сутулая, она обещала стать года через три-четыре настоящей красавицей; а сейчас – в урезанной натянутой выше пупа школьной юбке, коричневых колготах, просвечивающих белым на широких коленных суставах, в неуклюжих, потёртых плоскостопием зимних ботинках и бесформенном дешёвом ватнике, что колом торчал на острых плечах, она напоминала нахохлившуюся цаплю.

- Да сними ты ранец, тебе ж тяжело. – как можно доброжелательнее произнёс Владимир. – и стал разматывать сбившийся узел у неё на ботинке.

- Мне нетяжело, только шнурок.

- Да сними, чего мучаться?

- Мне не тяжело, я так…

Ботинок стал рядом с Вовиными.

- Давай следующую.

- Я сама. – маленькое лицо её налилось краской, не то от волнения, не то от жары. Квартира хорошо отапливалась.

Ира, неловко протиснувшись между тумбой и трюмо, присела, и Володя, глядя в отражение, увидел шов, что начинался на колготах на линии бедра, затем, скользя взглядом выше по силуэту, – квадратный горб, из ранца и толстой спины ватника, так теперь нависавший над ней, что, казалось, вот-вот съедет многотонным настом ей на голову и раздавит. На секунду ему даже представилось, что у Иры там, вместо видимых ватника и ранца – огромные-огромные лопатки и рёбра…

- Да что ты, давай я, я помогу. – постарался прогнать уродливые мысли он, и тоже присел.

- Я сама.

Их руки соприкоснулись тыльными сторонами ладошек, и Володя, к своему стыду, почувствовал, как зарделись кончики ушей. Видимо, Ира тоже почувствовала нечто подобное, потому что она вдруг засуетилась, едва не развернула ранцем трюмо, и из носа её, прямо на коленку капнула

струйка растопленной сопли. Володя сделал вид, что не заметил и стал неоправданно долго выставлять Ирину обувь ровно, словно бы учитель физкультуры линейку из людей.

- А где твои родители? – натянуто спросила Ира, сделала два неуверенных шага по прихожей и, заметив себя в зеркале, распрямилась.

- Предки на работе. Сестра в институте – только на выходные наведывается. Голодная приезжает. Полные сумки белья привозит. Грязного. Потом эти сумки обратно тащит. – тараторил Владимир, стараясь держаться непосредственно. – Вот моя комната. Проходи. Тесно у меня тут. Немного не убрано, прости.

- Не-е-ет. Здорово.

Ира, наконец, сняла ранец, ватник и положила их на стул.

- Да-да, клади сюда. Я сюда свои вещи обычно складываю, когда...

- Да-а? А я тоже на стул вещи складываю! – Ира восторженно округлила карие глазки. – Вот так же, как и у тебя возле кровати стоит. А это твоя кровать?

- Да. Я здесь сплю. – зачем-то пожал плечами он. – Да ты садись. У меня здесь тесно.

Квадратная Володина комната была практически на всю свою площадь занята кроватью. Кровать, старая и продавленная, с обпиленными полукруглыми углами, некогда собиралась в метровую полоску, а теперь, после сотни ремонтов, стояла мёртвым грузом. В углу, подпирая трюмо, ютился компьютерный стол с прибитыми к стене полками-жабрами с журналами и учебниками. Долговязая Ира в нерешительности замерла в узком проходе, став в столь тесном пространстве ещё более нескладной.

- Смешно. – вдруг громко сказала она. – Твоё покрывало напоминает поздравительную открытку.

- Да? Ну, тогда я тебя поздравляю – ты у меня в гостях. Присаживайся же. – нашёлся Володя. – У меня всегда на кровать друзья садятся. – и, словно стараясь собственным примером показать, как нужно «присаживаться», бухнулся на кровать.

- А у тебя много друзей?

- Ну, так. – он неопределённо пожал плечами и зачем-то разгладил и без того ровное покрывало.

Теперь Ира стояла в пол оборота, и Володя мог видеть, что спина её и, в сущности, лопатки – нормальных девичьих размеров – под коричневой тканью платья лишь незначительно выступали нижние края их, полукруглые, несколько косые.

- И у меня. – Ира рассматривала приклеенный к стене плакат. – Была одна подружка. Но мы поссорились… .

- А давай одеколона выпьем? – словно чужим языком произнёс Володя, придуманную ещё вчера, и заучиваемую всю ночь фразу, и с ужасом осознал, что перебил Иру, и что даже в волнении не может вспомнить, о чём она говорила. Не найдясь, он трясущейся рукой достал из шуфлядки зелёный флакон с одеколоном и, став рядом с Ирой, продолжил, но уже более развязно-бывало: - Мы в лагере с ребятами такой пили. И девчонки пили. Он с елью, м-м-м, пихтой, с пихтой…

Ира, на секунду смутившись, видимо прилагая усилия, чтобы не дать себе подумать, улыбнулась, верхняя губа мелко затряслась:

- М- м-м, давай? – она села и зачем-то, как и несколько минут назад Володя, пожала плечами.

Глотая слова и бубня что-то сбивчивое о технологии пития одеколона, Володя, отвернувшись, налил Ире в рюмку изумрудной жидкости и себе из заранее приготовленного стаканчика подкрашенную воду.

– Ты, главное, сразу не дыши. И компотом потом запьёшь. – он дал ей в руку графин с компотом.

Ира, всё так же, стараясь не дать себе опомниться, опрокинула рюмку в рот, запила компотом, и сразу же рассмеялась. Засмеялся и Володя, сглатывая сладкую слюну подкрашенной воды. Ира всё продолжала смеяться.

Через двенадцать минут, когда одеколон закончился и Володя принёс пластмасску домашнего креплёного вина, Ира выпила полтора стакана и уснула. Она лежала на боку, молитвенно прижав к груди длинные руки и свесив ноги, кучерявые от природы чёрные волосы, выбились из хвоста и накрывали плечи.

- Ир, вставай. – осторожно, в пол голоса окликнул её Володя. – Ира.

Ира не реагировала. Тогда он надавил ей на плечо и перевернул на спину. Стало понятно, что её алкогольный сон крепок, как истинная вера. Выпив для успокоения вина, Володя прилёг рядом с ней и стал дожидаться, когда руки перестанут трястись.

Ещё позапозавчера, когда его одноклассница, Ирина Зендина, в душном пропахшем потом школьном классе, под нудный треск испорченного светильника и не менее нудный монолог пожилого педагога, ответив задержавшимся взглядом на задержавшийся взгляд Володи, на его призыв, и тем самым, запустив эту машину, ещё позавчера, когда Володя, поймав её трусливый полный любопытства взгляд, дождался таки, когда она

скромно опустит ресницы и станет суетливо перебирать ручки в пенале, ещё вчера, когда он, блуждая глазами по просвечивавшимся на коленках колготам, по выпиравшим из передника грудям, по покрытой гусиной кожей шее, по нервно трясущимся полу прозрачным зрачкам – он распинался в себе и дрожал.

И вот – восемь мастурбаций, «рупь» двенадцать, мята в воде, два дня нервозов и она здесь.

Что сейчас?

Володя осторожно потрогал её руку – та была тёплой и твёрдой, локтевая кость неестественно близко примыкала к коже. Он проскользил ладонью по переднику и ощутил далёкую мякоть груди, выше – всё те же позавчерашние мурашки. А ещё были коленки. Не открывая глаз, он аккуратно просунул руки под юбку, нащупал резинку колгот и плавно, забирая с собой трусы, стащил их до щиколоток. Всё так же, не раскрывая глаз, он погладил ногу, ощупал коленный сустав, провёл по шелковистому бедру. И, чем выше скользила его ладонь, тем жарче становилось его пальцам. Володя раскрыл глаза – Ира спала, приоткрыв рот, её красноватые, словно бы пересушенные, в грубых рытвинах губы то и дело сокращались, словно бы она желала что-то сказать, но не могла собраться с силами. Володя вспомнил старый бабушкин плед. Когда та умерла мама забрала плед к ним домой. Роскошный, кажущийся многовековым, он тогда чудился Володе живым, эдаким древним стариком, старо живым, при смерти живым, таящим в себе знания и тайны. И многие годы, годы его бессознательного, животного взросления, он относился к нему, как к живому существу, и всё время ждал, когда же тот проявит к нему внимание и расскажет, если не о зарождении человечества, то, хотя бы о не менее глобальном событии – последней минуте его бабушки.

На восково-бледном Иринином лице проступила испарина, она стала редко, но глубоко дышать, сипя носом. Из-под задранного платья торчала не ухоженная чёрная копна лобковых волос. Володя, не спеша, развязал фартук, расстегнул платье; бережно приподнимая, словно дорогой сердцу труп, он раздел Иру, коснулся рыхлого бесцветного соска, в припадке нежности поцеловал в губы, но отпрянул… – несвежее дыхание её дополняло дешёвое амбре одеколона. Раздираемый двойственными чувствами, он разделся сам, стал лизать ключицы, грудь, спустился к лобку, раздвинул ноги, коснулся пальцами спрятанного в жёстких волосах влагалища и, к своему негодованию обнаружил, что из него, словно из потревоженного улья пчёлы, вылетел и тут же заместил воздух кислый

смрад мочевины. Уже в некоторой панике, словно бы пытаясь отыскать хоть что-то хорошее в совершенном, и не заботясь больше о сне, Володя перевернул Иру на живот, слегка приподнял таз и, размазав и без того выпуклый анус, склонился к нему носом – пахнуло далёкими фекалиями. Разведя пальцами редкие волосы, он разглядел прозрачные слои пота и кусочек сухого кала присохшего к волоску.

Стараясь больше не изучать Иру, Володя закрыл глаза и стал представлять себе её в школе, за партой, спрятанную в платье и передник, словно бы замурованную в крепость принцессу, её, её – голову, только торчащая из воротника голова, рот закрыт, глаза, как и полтора дня назад скромно опущены, и кисти, кисти лежат на столе, только толстые, непомерно толстые, слоновые, чтобы не было видно сквозь кожу костей.

Володя мастурбировал пустой член, и старался увидеть Иру такой, какой она никогда не была. Через десять минут, когда стало ясно, что член не встанет больше никогда, Володя открутил у кровати ножку и ввёл её во влагалище…

Часть 2

Глава 1

Хутор Выдрин край (1118 км. от Болота-родителя)

Грудничок

«Уж как свирепствовал-то ветер в поле да как ставнюшками смолодубовыми да погрохивал, так то кущами райскими приглянётся в сравнении с тем, как билась да выла от боли нестерпимой баба Оля – миома кожная посетила её в страду, да так к Рождеству разгулялася, что кабы не смертный грех, прописанный в Евангелии, то давно бы уже страдалица на себя руки наложила, а жизнь прожитть, это тебе не бревно за угол закатить, вот уж и коробья моя девичья без малого полна: вытканные холсты, строчи, ночьми бессонными плетёные кружева, дары сва...»

- Открой, Джессика, ставни… Богом молю. – словно издыхающий от старости пёс сипела, задыхаясь и обливаясь потом, Ольга.

Джессика, вздрогнув, словно бы её разбудили, недовольно захлопнула толстую папку с надписью «Мой дневник. Джессика» и отложила карандаш.

Долговязая, без подбородка, в мужских трусах, она подняла тяжёлую стиснутую в жирную косу голову и, западая на левую ногу, вышла из хаты.

- Пап? – она качнула за плечо, спящего головами на столе мужчину. – Не едут никак. Ходи ты покарауль.

- А?! Не едет?! – отец вздрогнул – непослушная рука плетью соскользнула со стола и закоротила. – Вот шельмец. А сколько времени?

- Уж за полночь. У Мнимолиса-угодника усы горят.

- Почитай за два часа перевалило… – ошалело просипел он себе в мозговой гребень и сощурился на вырванный горящей лучиной ало-оранжевый клок иконы Мнимолиса. – И не приехал… - констатировал второй головой, в редких, почему-то мокрых усах вместо гребня.

- Нет. – Джессика пожала плечами и подошла к зыбке с грудничком Василием. – Вася Васенька Васютка Ва Васютка Ва Васютка. – она, напевала Васино имя вместо слов колыханки.

Вася лежал навзничь, выставив из взбитого пуховика круглые розово-влажные хрящевые листы, бесформенные пальчики были вжаты в плечи и мерно дышали, огромные в синие вены панцири покрывали неспокойно метавшееся лицо.

- Джессика, отойди от него. – с печи послышался помятый женский голос. – В хате кислороду мало, как бы ни проснулся.

- Да, мама. – Джессика послушно отошла от зыбки.

- Слышь, Марфа. – окрепшим сипом обратился отец. – Егор ещё не возвернулся.

Печь затряслась и Марфа, плотно сбитая, с огромными прямыми руками, села, свесив босые ноги.

- А что там? – она кивнула на дверь, четвёртая и седьмая ноги, словно слизни со скоростью свободного падения вытянулись и выгнулись на полу, вторая устремилась за ними, но замерла, не коснувшись пола, и разгорелась.

- Да вроде тихо. – отец неопределённо скривил губы. – Джесси, ты ходила во двор?! – гаркнул он сразу двумя головами.

- Ну, снега намело, но, так…тихо, даже мороз вроде спал. – Джессика отворила топку и подсунула полено, но полено оказалось кривым и ей пришлось ногой протолкнуть его глубже. На пол посыплись раскрошенные угли. В трубе зловеще завыло.

- И чего ж это он не едет, окаянный? – покачала головой Марфа, и на лицо её упал тревожный печной рефлекс.

- Отойди! Отойди от печи! – неожиданно грубо рявкнул отец и попытался ухватить Джессику за волосы, но та вовремя отскочила. – Потаскуха. Забыла,

как дед запечный божатке[15] твоей на голову чугунок одел, да как она с голоду то да с удушья помирала? Забыла, а!? Напомнить, а!?

- И в правду, Джессика, ты б понежнее, и то б… – испуганно расплылась мать.

- И что ж Егорка всё не едет? – выдохнула из угла Джессика, как если бы ничего и не произошло.

Отец провёл ладонью по лакированным тесно подогнанным доскам стола, краска гнева с лица его спала, и он сухо констатировал:

- Да, бражничает, поди.

- А я слыхала. – Марфа отчерпнула ковшом воду и влила 270 грамм в отверстие на родничке, губка включилась и стала шумно всасывать жидкость. – Слыхала, волки теперь у Суховки пасутся. Как Жабий Луг сгорела, так они ихния леса облюбовали.

- Да, а Егорка, чай, аккурат мимо Суховки ехать должен…

Вдруг за стеной послышалось скобление, как будто кто-то металлическим прутом пытался проковырять гаражную дверь; к скоблению прибавились глухие удары.

Все трое посмотрели на стену, Вася закряхтел и едва слышно скрипнул листами.

- А что мать? – хрустнув топинамбуром, Марфа протянула половину Джессике.

- Жарко ей. Просит ставни отворить. – Джессика открыла крестец и положила кусок топинамбура в мини-дробитель – послышался тонкий звон. – Как думаете – она поможет?

- Пока ещё всем…

- А Егор с ней приедет?

- Не факт. – отец почесал похожий на петушиный гребень нос на ведущей голове. – Если увидит, что дело дрянь, то и сама может приехать, а ежели так – просто рецепту передаст, через Егора.

- Не удивлюсь если ваш Егор сейчас в Дольней у Сивридских водку трескает, да с Анжелкой тешится.

- Ваш! – отец ударил опорным позвоночником по столу. – Он тебе брат, между прочим! И пора бы вам уже успокоиться, что было, то было – уже не переделаешь.

- Не реви на дочь, Аркадий. – мать соскользнула на пол.

- Хм! – Джессика отправила пластиковую половину тела из комнаты, демонстративно хлопнув дверью.

[15] божатка - крёстная

- Ну-у, Аркаша, не кипятись. – мать подплыла к Аркадию и поместила голову с усами себе в выгреб. Та нежно загудела. – У девочки трудный возраст, а Егор и в самом деле может сейчас у Сивридских висеть. Набери ему.

- У меня там баланс – хуй да ни хуя. Если вообще есть. Да он, как видит, что я звоню – не берёт. – он приложил мобильник к лицу. – Не доступен. – убрал телефон в шуфлядку. – Может, специально отключил, а может там метёт.

- Скорее метёт. – Марфа три раза перекрестилась на икону. – Уж не допустит он, чтоб за своей страстностью мама померла.

- Да и я думаю, что… - начал было что-то длинное Аркадий, как вдруг с улицы донеслось ржание, стук копыт, разбуженная собака слила отрывистые выкрики в вой.

- Тпр-р-р-р. – послышался высокий мужской голос в сенях.

- Чай, Егорка? – Аркадий и Марфа переглянулись.

И, словно бы отвечая на их вопрос, в дверях вырос молодой мужчина – необычайно красивый в спадающей до пят волчьей шубе с высоким козырем, о трёх ногах, с идеально круглой красной, как ртутный шар головой, пористые острые губы роскошно спадали по груди и прятались в блестящих голенищах. Перекрестился.

- Егорка, сынок! – мать подскочила к нему и, обливаясь слезами, повисла у того на шее. – Мы уж волновались, почитай, неделю ездил.

- Ну, сын. Рассказывай, с чем приехал. – отец сидел вполоборота и серьёзно смотрел на сына.

- Отец. – Егор сделал шаг, отстранил мать и, в чём пришёл, не разуваясь, сел на лавку.

- Ну? – Аркадий так нахмурил брови, что белки проглянули через тонкие теменные корды.

- Я, отец. – Егор мял шапку в руках. – Как выехал, так сразу и в буран угодил, первую же ночь под снегом пришлось ночевать, как улеглось, я берегом решил пробираться, ну, вдоль Корявой Доли к Румяновским мануфактурам, а тут, я батя даже спужаться не успел, как полукони с чащи выбежали да на лёд меня согнали – голодные, злые с бурану, пришлось на баркасе брошенном под настом ночевать, как рассвело, утренник[16] меня повстречал свирепый, и я решил с таких потрясений попередохнуть малость, и тогда, чтоб не застудиться на хуторе у Першака отлежался – в баньке выпарился, SDM [17]принял, лыко себе новое сделал, что в пути истрепал.

[16] утренник – заморозок.
[17] вид проституции

Марфа слушала его, прикусив костяшки пальцев и пульсируя от волнения.

- Затем сутки ехал без проблем. – то бледнея, то разгораясь, продолжал Егор. – И как в Судьбы спустился, так и стал народ пытать – где Паучиху можно застать. Зато, бать, я, без малого, дюжину берёзовых рубцов привёз. Березняк у брошенной деревни тако пестрел, затеси[18] вековые, не меньше, – залюбуешься. Вона, в санях дожидаются. Ты ж, помнишь, жалился, что грабли треснули. Тако теперича с дюжину граб…

- Я сейчас грабли эти вместе с рубцами тебе о голову разобью, трутень! – приподнялся со стула отец.

- Ну, Аша, Аркашечка. – тут же подплыла к нему жена. – Успокойся, дай Егорушке дорассказать. Может, и не виновен он…

- Да, бать, не виновен. – всё сильнее разгорался в волнении сын. – Стал я, значит, Паучиху разыскивать. Но никто толком ничего сказать не смог: то, говорили, что в острог её заточили, то, что в Персию её увезли, то замуж вышла, говорили, за врачевателя какого-то, то, что к Алёше-кольщику служить отправилась, а кто и в шею горазд оправить… В общем, помытарился я помытарился, да в Старый город и отправился, чтоб, так сказать, своими глазами убедиться. Да и там не сыскал. Зато старичок мне встретился всезнающий, Стефана Пермского с зырянских поселений потомок дальний, белый такой, как лунь у него сальный гребень, да брови, яко круп лошадиный рыжий на солнце ажно пыщут, говорил, это у него от того, что всё отрочество своё по баням маялся, рожки да пиявки господам ставил. Да баил он, что, дескать, каменюка в здешних лесах бродит целебная, из самой древней Америки, якобы, пришедшая, жила она, дескать, в ихней Долине смерти, да ещё со времён Иоганна Самодержца по нашим местам блуждает. Да один, ты, говорит, не сыщешь. Возьми, говорит, батрака мого, странника Митрофана…

- Да-а ты короче!– гаркнул отец и побежал рябью. – Мы в ажитации[19]. Мать моя кончится вот-вот, а ты… Огонь вздуй!!! – трижды мощно обрушился он к жене.

- В общем. – как бы заключил Егор. – С невероятными усилиями и вливаниями удалось нам со странником этим Митрофаном, кстати, он сейчас в санях сидит, гнева вашего, батюшка, пужаются, разыскали мы батюшка каменюку эту заморскую. Да и лёг я в расщелину в ей, да и спросил, как, дескать, бабушку мою ненаглядную от смерти выратавать. А она и прислала мне не то видение, не то иероглиф старославянский. Отправились мы с

[18] затесь – нарубка на берёзе, которая через долгое время заплывала, и образовывался рубец. Эти наплывы отличалась высокой прочностью, и из них, обыкновенно делали грабли.
[19] ажитация – волнение, возбуждение

Митрофаном к ведунье одной, что руны читает. Так, мол, и так, видел на камню такое видение. А она и расшифровала, что, дескать…

- Да что у тебя за слово паразит появилось – дескать? – оборвал его отец.

- В городе, тятя, подцепил. Там все сейчас на новый манер разговаривают. Что ни слово – дескать, что ни два – яко. Сказала, руна эта не иначе как «приложи младенца, в коим дух тёзкий с пожарища скоро притаился» не расшифровывается. Ну, я сходу и смекнул, что про нашего Васютку камень намекал…

- А, что это за дух тёзкий, ну, с пожарища?

- Того не ведаю я, мама. Того колдунья переводить не стала – денёг у нас с Митрофаном не богато на тот момент было.

Не дождавшись, пока Егор договорит, Аркадий приказал жене грудничка Василия, матери на рану приложить, да потуже прикрутить лозой, чтоб не уполз. А потом подумал с минуту и, не глядя на сына, спросил:

- А чего это твой Митрофан меня пужается? Чай, не разбойник-я-душегуб?

Словно выжидая этого вопроса, Егор выпалил, как заклинание:

- А мы пожениться собрались, тятенька. – и тут же застенчиво потупился.

- …один сын – не сын, два сына – пол сына, три сына – сын. Вы ж сыны мои! – спустя семнадцать часов, говорил уже крепко пьяный Аркадий. – Только спать будитя порознь. В своём доме мужеложства не потерплю.

- Ну что вы, отец. – басил Митрофан, поглаживая Аркадия за руку. – Какие ж мы мужеложцы? Я ж Марфой был в юности, как жена ваша распрекрасная. Я ж говорил.

- Ой. – кокетливо отмахнулась Марфа и зарделась.

- Да, тятя, акромя бороды у Митрофана ничего мужского нет, он…

- Не потерплю!!! – заорал сразу в две головы пьяный Аркадий и добавил, тут же проглотив последнее слово. – Блядства… У меня мать помирает. Одна надежда на Василия, а вы тут…

- Ну хватит, отец. – вступилась за сына мать.

- И, правда, отец. – Егор молитвенно раскрыл шар головы и вывалил на стол густую в обволоке лаву. – Не така это и нечистота. Вспомни историю нашу, умов больших изыскания. Вота, гляди – в городе у букиниста на ятаган поломанный выменял. – он вынул из-за пазухи увесистый фолиант и, отыскав закладку раскрыл. – Внимай, отец, сам граф Лев Толстой пишет в своём дневнике от двадцать девятого ноября аж тысяча восемьсот пятьдесят первого года рыб эры: «Я никогда не любил женщину… но я довольно часто влюблялся в мужчин… Я влюблялся в мужчину, еще не зная, что такое педерастия». Во как.

- Сынка. – сокрушилась мать. – Этот жа уродец с христианами якшалси.

- Но он же…

- А я сказал…в хлеву будешь спать! – Аркадий был на столько пьян, что говорил сразу двумя головами, но с некоторым резонансом, глаза его были закрыты. – Дашь мать ему подушку мякинную да грелку гелиевую. А не то, можета, перины португальской с кружевами вьетнамскими!? молодожёны, ебаны мой зад!

Егор с Митрофаном переглянулись.

- Ты! – отец ткнул позвоночником в сына. – В хлев пойдёшь…пьяный не замёрзнешь. А гость твой у нас с матерью в комнате поспит.

- Ой, Аркаша, я ж Джессику скоро менять буду. – сделала плаксивую гримасу она. – Боюсь, как бы не прокараулила она.

- Джессику? – отец, словно подгоняемый ветром скользил вокруг стола. – Ну, с богом. Пошли, Митрофан, я тебе постелю.

- Напился батька. – Марфа шла рядом с сыном в хлев.

- Да-а. – вздыхал тот. – Совсем не держитьси…

Марфа взяла в зубы лучину и повела сына через сарай и поветь к хлевам.

- А Митрофан мне понравился. – словно пыталась поддержать сына, ластилась она. – Видно – начитанный, хоть и вид имеет суровый, а видно, что покладистый.

- А в постели, ма-а! – стал распаляться Егор и даже дёрнулся назад в хату.

- Ну, полно, полно. Не гневи батьку. Проспится, а там я его уговорю. Тем более он любит «стандартных»[20].

Она сунула ему под пояс гелиевую грелку, уложила в стылое сено под бок коровы и тихонько вышла из хлева. Когда она вошла в комнату к бабе Ольге, та спала, лёжа на боку с открытой спиной. Перетянутый лозой, приложенный к спине Вася лениво копошился, Джессика, уже переодетая в холщовую ночную рубашку и портки тоже дремала, уронив острую голову в раскрытый дневник. Пустоту комнаты наполнял жар печи и мерный стук костяных часов.

- Доча. – Марфа нежно тронула дочь за плечо. – Не спи, солнышко, а то простудишься к хуям собачьим. Джессика, просыпайся, милая.

- А? – вздрогнула та и выпустила на пол анальный мешок, но, увидев мать, успокоилась.

- Пойдём, милая, я тебе на полатях постелила.

Мешок стал постепенно втягиваться в таз.

Неслышно, чтобы никого не разбудить, Марфа проводила её в хату и уложила на полати, а сама заступила на вахту. Проверила Васины крепления, соску сменила, мамино взмокшее в поту кудельное одеяло заменила жарким с печи шубным, подушки поправила да за стол села.

---

[20] «стандартный» - древнее анатомическое строение человека

- О. Джессика дневник забыла. – она с некоторой опаской покосилась на раскрытую тетрадь. – О-ой, нехорошо-то как. – отодвинула потайную дочерину книжицу от себя. Но любопытство взяло верх, и она стала в пол голоса читать последнюю запись:

«Явился эта пьяница Егор, брат мой да предатель. Бабу с собой приволок…с бородою, яко воловья шерсть. Представляю, как потешишься ты этими словами мой будущий читатель, жизни моей тайный свидетель. Да токо не смеху для я предложения эти складаю. Ой, кажись Васютка проснулся… Поправила я Васе лозинку и соску с водкой сменила – спит снова. А какое лицо у Василия вдохновенное! Что б не быть голословной приведу краткую зарисовочку. – Марфа покрутила лист, всмотрелась в нарисованное лицо сына. – Вот примерно так. Ведь красивый? Да? Не то, что этот дегенерат Егор. Ну, не будем об этом. Мне Виолета как-то по секрету… Ой: мне Виолета по секрету. Это ж уже если не стихотворение то песня слагается. Говорила, что Полину Карасёву собственный брат девственности лишил. Рассказывала, что напились они сильно в большой компании, и брат ейный Герман с пьяных глаз и… Во-о-от. Что б ещё такое написать? А как мама за бабушку спереживалась. Лица на себе не имеет, как коровье на лошадином, а бате лишь бы водку трескать с этими мужеложцами и сестроёбами. Жду лета – будем снова с Макаром по воду на Луганку ходить. Токмо я теперь смелей буду. Смерть – как страшно твоё жало – обо всём забыть пытаюсь, бабушке в лицо заглядывая. Бр-р-р. Уж четыре месяца минуло да недели полторы, а я всё в толк не возьму, что желал донести до меня Макар, когда говорил, что видит женщину, через гигель. Попытаюсь ещё раз, тысячный раз воспроизвести монолог его дёрганный, но такой важный для меня. Ежели сейчас не осилю, пойду кланяться ему да вопрошать. А сказывал он так, издали, как водится летом на пруду скрытом: гигли, говаривал он, эти сладкие трубки дягеля дикорастущего, - проводник се. Есть их можно лишь когда они свежие, сочные, нежные, невесомые… Но то время проходит и на смену ему приходит суровое время сенокоса: пот, голод, овод, мошка, ругань и дификация в борозну поросшую… К сенокосу твёрдые становятся стебли те, толстые. Ежели срезать ножичком перочинным, ложкой заточенной, а то и косой покосить лютой, то уж по «Сеньке и кафтан», срезать колено побольше, один с концов глухим оставив, да пронизать его иголкою еловой мёртвой, навить на ивовый пруток бабкиной кудели, водозаборное сооружение сообразится. Эка механика! – вскричал тогда Макар, да сам краскою стыда залился своей разнуздонности. А засосав туда воды по боле, говаривал он после успокоения моего словесного. Ты только вслушайся, твердил он всё: засосав полный гигель воды, мальчик подкрадывается к залежам девочек. Неважно чем они

занимаются: загорают ли, выпивают, «клетками» балуются али норы в земле выкапывают, - и… выдыхает! тонкая, мощная струя била на десятки метров, орошая всё вокруг. Девочки с любопытством, задрав свои потные головки, глядели в небо, неважно ясное ли, пасмурное, глядели и, затаив дыхание, гадали, - откуда дождик? Как пуповина подсыхает под скрип тихий очепа, так и женщина становится и чахнет, тлеючи, в дожде из гигеля иголкой хвойной проткнутого, заключил он мысль свою во плоть иносказания. Что се? Вопрошаю я себя. Одурение похоти-ли, аллегория-ли, теория знаков?.. А ставни смолодубовые всё по-прежнему колоколом чугунным бьются о стены дома нашего в грехах погрязшего и всё вижу я скрытые омута... Чтой-то живот крутит. Пойду посру».

Марфа в глубокой задумчивости закрыла тетрадь и вынула из передника заготовки для будущей Васиной поилки: уже выскобленный бараний рог, вымоченный в рассоле коровий сосок, изолента и банка из-под витамин. Немного подумав, она воровски огляделась и затолкала дневник дочери под комод.

- Ну вот, Митрофан, укладывайся. Перина мягкая, а ты мужик суровый, должен любить контрасты.

- Да не мужик я. – ударил себя в грудь Метрофан и, горько отмахнувшись усадил своё могучее тело на кровать.

- Ну, ладно-ладно. Не злись. Давай, дрогой гость, хоть я многого и не понимаю, но давай, помогу. – Аркадий помог гостю стащить верхнюю рубаху, развязать портки, и уже было потянулся к завязкам на штанах, как Митрофан изогнулся и, словно боясь не успеть, с такой силой подул на лучину, что та улетела с ночного столика в угол.

Комната погрузилась во тьму. Уложив Митрофана, Аркадий, пошатываясь, добрался до своей кровати, неряшливо и громко сопя, разделся – лёг, не накрывшись. Вертолёты захватили его, и он вспомнил одноименный белый стих древнего еврейского мыслителя, непонятно каким образом сохранившийся в его памяти после тяжелейших репрессий:

- Вертолёты. Вертолёты. – бубнил он в пол голоса. – Они настигают везде, от них невозможно укрыться, от них нельзя спрятаться ни на островах, ни в самых защищённых частных владениях, от них нет спасения, спастись не возможно…

И едва уже начал погружаться в их водоворот, как его потревожил шёпот Митрофана:

- Батюшка, Аркадий Лукич, батюшка.

- А? – вздрогнул тот. – Чего тебе?

- Мне б до ветру. А дверь заперта.

Аркадий приподнял голову и в ночной дымке увидел едва различимый силуэт Митрофана – он стоял у двери голый и словно ссутулившийся, на широкой его груди просматривались маленькие французские грудки.

- Ходи в горшок. – по-стариковски капризно сказал Аркадий, но тут же осёкся и уже с большим уважением добавил: - Ночная ваза, Митрофан, у тебя под кроватью, сразу, как коврик кончается, так она там.

Митрофан немного потоптался у двери и пошёл к кровати. Достав вазу, он сел на корточки и, видимо, специально направляя струю в борта, чтобы не журчать, тихонько помочился. Аркадий присел на кровати. Дождавшись, когда Митрофан уляжется, он спросил:

- А-а-а…у тебя, что…и впрямь…как…

- Да. – как эхо откликнулся Митрофан и тоже присел на кровати. И уже нежнее, от волнения теряя голос, сказал: - Ежели желаете…можете посмотреть.

По телу Аркадия пробежал трусливый озноб. Он вмиг вспомнил широкое в бороде лицо зятя, его двух метровую, богатырскую фигуру, тяжеленные ладони, которые он пожал при встрече, и озноб, теперь уже возбуждения бросил его в жар. В воображении всплыли далёкие воспоминания, когда он имел счастье предаваться любовным усладам со «стандартными». Но то были женщины, а Митрофан… Аркадий поймал себя уже стоящим у его кровати. Мысль о том, что у Митрофана борода смущала его, но все остальное…

- Посмотрите. – тоже в невероятном волнении шептал Митрофан. – Я настоящая женщина. – он встал на кровати и почти упёрся головой в потолок.

Аркадий провёл ладонью по бедру Митрофана – то было горячим и невероятно, не по-мужски нежным, провёл по внутренней стороне бёдер, коснулся лобка, жаркий и липкий тот источал кислый женский аромат.

- Верите…т-теперь?.. – Митрофан громко и страстно выдохнул, присел быстро, словно у него отказали ноги, повалил Аркадия на спину и стал покрывать его обжигающими поцелуями. Аркадий вмиг протрезвев, стал ощупывать две ноги, две руки, одну голову, спрятанное во чреве влагалище…

Ближе к утру, когда все уже крепко спали, у бабы Ольги случился жар, и она перевалилась на спину. Под давлением лопатки мягкий хрящ носа вжался, грудная клетка сдавилась, и Васи не стало.

Глава 2

Легенда о Заворотне

- Кончается. Серафима, кончается.

Бледная с раздвоенным лицом молодая женщина, изогнувшись, трясла за плечи спящую на стуле хозяйку.

- Серафима Юрьевна, да проснитесь же! – слёзы брызнули из глаз её. – Кончается же!

- А!? Что!? – словно лебедь, потревоженный молнией, Серафима вскинула руки и пустыми со сна глазами уставилась в широкое лицо Акулины, слуги.

- Акиндин Ермолаевич… совсем плох…Гриншпун с Аверсом уехали уж…Чай с вареньем попили и уехали. – подавляя рыдания, причитала слуга. – Снова вода не окрашенная сифоном вышла…За батюшкой, сказали, посылайте…

Не дослушав, Серафима Юрьевна бросилась, было, но, едва ступив на ковровую дорожку, ноги её подкосились, и она упала в объятия Акулины.

- В-валерьянка. – задыхаясь, простонала она. – Н-не прошло… Акиндин. Мне нужно к нему.

- Анжела! Анжела! – закричала Акулина, с трудом сдерживая на руках тучное тело барыни.

- Ась!? – из двери показалась растрёпанная в прилипшем от пота сарафане девка с тазом в руках. Из таза на пол плеснулась вода.

- Не вишь!? Барыне плохо.

- А. – на ходу ставя таз на широкую лаву, Анжела бросилась на помощь.

- Гриншпун Зиновий Иванович капель ей заморских выписали с вытяжкой. – поясняла Акулина Анжеле. – Так всё спят Серафима Юрьевна, да за вроде как не соображают ни чего. А Зиновий Иванович сказывали, что б успокаивались кап…

- А-А! – словно кашель, раздалось из темноты коридора.

Слуги, как по команде, не усадив до конца барыню, бросились на звук. Серафима Юрьевна, вновь утонувшая в сновидениях, медленно сползла на пол.

Когда слуги вошли в жарко натопленную с высокими потолками комнату, человек, окликнувший их, стоял у кровати умирающего и прижимал к уху трубку телефона. Смоляной до синевы смокинг покрывал

тугое словно бы скрученное из каркаса тело. Жестом он указал слугам молчать.

- Отец Никита. Здравствуйте. – совершенно не подходящим к его строгому, в чём-то даже деспотичному лицу, нежным голосом вещал он. – Это вас беспокоят из дома Савельева. Да-да. Очень плох. Слышали? Ну, это только облегчает дело. Акиндин Ермолаевич очень часто о вас вспоминали в минуты бреда. Да…

Лусиан Жан- Пион, телохранитель и по совместительству управляющий делами Акиндина Ермолаевича, был некогда выписан им из Парижа в качестве прислуги, но однажды на псовой охоте проявил не дюжую преданность и отвагу, закрыв своим телом хозяина от разъярённого вышедшего из-под контроля жирафа и был назначен телохранителем, потом заведующим домом, а там, год за годом, стал не только заведующим, но и близким другом Акиндина Ермолаевича. Потомок древних ессеев, или, как он сам себя называл – «колено Осириса», он много и целенаправленно чудил. Например, раз в год, по одному ему ведомому звёздному ориентиру отправлялся на поиски Нью-Йоркского Стеклянного спецфонда, что покоился на бывшем дне Второго Кристального Океана, а теперь в толще песка какой-то незначительной полюсной пустыни, и в котором уже многие сотни тысяч лет хранится тайная книга Баварских Иллюминатов. Или собирал, в самое не подходящее время, в страду ли, или в половодие дворню и рассказывал о том, что некогда на Земле его предков существовали треугольные каменные сооружения и стражники-сфинксы при них, и что взоры стражников, как острия построек были устремлены на Сириус, «ориентир утренней звезды». А на ночь имел обыкновение туго перебинтовывать голову, что бы та приняла «правильную форму» - форму головы Эхнатона и их с Нефертити потомства, потомства цивилизации из созвездия Сириус. Плосколобый, восковый лицом, с тонкими практически отсутствующими губами он ещё в юные годы нагонял свирепый страх на прислугу. В приватной беседе любил то и дело глубокомысленно простонать: «Тесно мне у вас. Я человек южный. А человек южный не может жить без простору». И поводит изящными кистями по туго перетянутой жилеткой грудной клетке.

Он чеканно говорил в трубку, и при всём лицо его оставалось недвижимым:

- Ну и что, что в скиту? Сколько? Скажите сколько? Я вам в третий раз повторяю – сколько? - он убрал телефон в карман и сказал хозяину. – Трубку бросил. Сказал, что отошёл от дел и уехал в скит.

Барин Акиндим Ермолаевич Савельев, обнажённый ниже пояса с тощими в язвах ногами лежал недвижно и лишь, то и дело, выпучивал бордовые от мук железы. Ссохшийся, напоминающий истлевшего телёнка он топорщился на мокрой простыне, откинувшись в вышитые бархатом ватные подушки, жёлто коричневый лицом и кистями, в редкой измазанной фекалиями бородке. Рёбра подпирал вздутый шароподобный живот.

- Ум-м-м. – беспомощно взвыл он и, завращав зрачками, отрыгнул в тряпку буро-охристую каловую жижу, резко вдохнул и снова стошнил.

Негнущимися пальцами он столкнул на пол заскорузлую пропитавшуюся испражнениями суконную тряпицу.

- Батюшка барин. – в слезах бросилась к нему Акулина и отпрянула, увидев дёргающийся на жилистой шее кадык. На груди в такт частому и прерывистому дыханию вздрагивал тазик с мутной водой, тут же, подпирая живот, полу сидела плюшевая ярко голубая панда. – Словно живой. – указывала она трясущейся рукой на кадык.

- Поди, дура. – грубо отпихнул её Лусиан. – Можно к протоисламитам обратиться – у них схожая религия. Или ещё попробовать менеджера отца Никиты окучить?

Выслушав Лусиана, Акиндин Ермолаевич, делая долгие паузы, на выдохах произнёс:

- Семь. Один. Три. Семь. Пять. – и дал глазами понять, чтобы тот звонил.

Лусиан набрал номер:

- Алё! С кем я говорю? Время? Я знаю, что ночь. Всё-таки, с кем я говорю? Отец Анатолий. Отец Анатолий здравствуйте! Это вас из дома Савельева беспокоят. Да-да. – учтиво кивал он, глядя в потолок. – Все-все, определённо все страдают. Звонил-звонил. В скиту. Никита. Да-а-а? Да он мне сразу, знаете, нахамил. Да? Нужно было сразу вам звонить, отец Анатолий. Диктуйте ваш адрес. – он жестом указал Анжеле на толстую записную книгу, подпиравшую пожелтевшую от времени персидскую вазу. – Да-да. Знаю. А как же.

Забористо вписав адрес, Лусиан-Жан-Пион спрятал телефон в нагрудный карман и, словно через распахнутые ворота, широко шагая, прошёл между расступившимися слугами в коридор. Передав водителю бумажку с адресом, он вышел в уборную.

Спустя четверть часа за калиткой послышался рёв мотора, затем лязг засова, затем рыжеволосый, лвуподобный, словно бы горящий под туго обтягивавшей его плотную фигуру рясой вошёл в комнату отец Анатолий. Из ноздрей его клубился пар.

- С морозу, батюшка. Аж пышаття весь. – светилась гадальным блюдцем Анжела.

- Аж звериная сущь ваша пре. – вторила ей пасхальной булкой Акуля.

- Ну, пшли! Не мозоль глаза праведнику. – гаркнул Лусиан и, моментально налившись гневной краской, поклонился батюшке до земли.

- Полно-полно. – едва разжимая тугие челюсти под натёртыми свеклой щеками пробасил батюшка и опустил слюдный лист на горловой заступ. – Полно. – он одним шагом преодолел пол комнаты и, неистово скривясь, уставился на таз с растворившимися в воде фекалиями. – За што ж ента тебя барин Акиндин Рмолаич тако прокрутило? – и посмотрев на Лусиана, в пол голоса спросил: - Помрёт?

- Врачи уж уехали. Сказали – куранты не пробьют – кончится. А ждать не стали, сказали, больных много.

- Ну, что ш, благодетель Акиндим Ермолаевич, хоч и славился ты ересью своей арабской, да под саваном-то, чай, и преставишься в вере истинной. Услышь Царь Вселенной, Господин Трисмегист[21] семи и семижды семи вечно живых цивилизаций имя нововступающего в ряды наши, истинно верующих детей твоих, платиновых пылинок на платии твоем имя нового слуги своего, Акиндина Ермолаевича. – и, вскинув руки к потолку, ударил в надутый бычий пузырь и возопил: - Вечная Жизнь Тебе, подарившему мне бессмертие! Вечная жизнь тебе, явившему мудрость семи и семирижды приумножив ей! Вечная Слава Тебе, Царь Вселенной, разверзнувшему передо мной свет истинной любви и жизни вечной, как великую книгу премудрости! Слава Твоей наготе и чистоте…

Вдруг лицо его и без того широкое, побелело, треснуло и, источив жижу, расползлось в блин, широко расставленные ноздри рогами взметнулись по нимбу и закровоточили лиловым паром – из трещин, словно бы солнце притаилось в недрах его, ослепительный потёк свет. Толпившиеся в тесной комнатушке дворовые стали в панике ломиться в двери, оцепеневший Лусиан стоял как вкопанный. Из отца Анатолия повалил едкий ярко фиолетовый дым, зачадило жжёной костью. Тут в комнату, будто кегли сшибая толкавшихся в узких дверях людей, ворвались прибывшие к таинству святые апостолы: крыса, бобёр, змея, лягуха, ёж, блоха и рыба щук. Выпрастываясь из немыслимо узких щелей, они, щетинясь и, издавая неистовые вопли, карнавальным нарядом облепили желеобразное тело батюшки, создав крепкий каркас, и как один обратили свои лики к кровати Акиндима Ермолаевича.

Воцарилась оглушительная тишина.

[21] Трисмегист – трижды величайший

Барин присел на подушке, таз с нечистотами с грохотом опрокинулся и колом покатился по полу.

- Акенд… – снова бросилась было к нему Анжела.

- А-а… – испуганно хлопал глазами барин.

Внутри тела барина раздался глухой щелчок и, словно давно мешавший нарост у него отпала грудина, обнажились крючковатые концы ключиц. Барин ошалело провёл ладонью по влажным лёгким. Кровь поползла по белью. У замершей, словно бы врезавшейся в невидимую стену Анжелы подкосились ноги, и она с немым рёвом повалилась на таз. Тут же у Акиндина Ермолаевича прямо из гортани стали прорастать хрящевые ухваты, вмиг раскрывшееся лицо его погонами легло на плечи. Комната наполнилась криком и едкой горчичной вонью. Лусиан тем временем, разорвав на себе смокинг, сорвав рубашку и исподнее, на руках подошёл к Акиндиму Ермолаевичу, грудина его так же отпала и с грохотом ударилась об пол. Всё так же на руках, под восторженный визг святых апостолов он вскочил на кровать, встал ладонями на половины лица хозяина и, прогнувшись, насадил свою яремную впадину тому на гортанные ухваты. Их головы соприкоснулись ушными раковинами, кости, скрипя суставами, скрепились, задранные под потолок ноги его раскололись в сухожилиях, с хрустом раскрылись и как лепестки легли неистово вращавшему красными глазами барину на плечи. Уже закрываясь, словно бы моля о пощаде, Лусиан подбросил в воздух руки, которые тут же срослись кистями, и, образовав кольцо, хомутом накрыли таз, на возвышении которого гигантским гнойником вспыхнул анус, что, обнажившись, стремительно покинул тазовое вместилище и выпростался, словно стебель лианы, набух и, затрещав, раскрылся невиданной красоты цветком. Тело стало покрываться белоснежным пухом и принимать форму пирамиды, последним от него отпала голова Акиндима Ермолаевича. Она ударилась об пол и разбилась, как разбивается переспелый арбуз.

Барин поднялся с кровати. Лежавшая на перевёрнутом тазу Анжела жутко изогнулась, переломилась в позвоночнике и, засунув голову в открывшийся живот, зубами вырвала себе кишечник и стала расстилать его, водя из стороны в сторону, словно бы расстилая невидимую парадную дорожку и тем самым выражая почтение. Когда барин прошёл, она легла на пол и, перемещаясь, словно гусеница, мышцами таза подползла к нему и наросла на него.

Двери рассыпались в труху и Акиндим Ермолаевич с облепленным святыми опосталами батюшкой вышли в коридор. Батюшка шёл впереди, он

по-гусиному переваливался и квохчал, а барин, словно стараясь передразнить, за ним повторял и тоже переваливался с лапы на лапу.

- Угл-л-л-хр-р-р. – неистовствовал барин и то и дело игриво подпрыгивал.

- Тр-р-р, тр-р-р.

Батюшка затрясся своим тучным телом и, оторвав себе руку, швырнул её в спавшую на полу Серафиму Юрьевну. Та, не просыпаясь, схватила зубами руку, сожрала её, расслоилась на полоски и, на ходу покрываясь пухом, овила ступни мужа.

От рёва батюшки в коридоре погасли свечи, и пространство, погрузившись в жаркую тьму и словно бы испугавшись собственной глубины, лихорадочно затряслось вспышками крови – невидимый мальчик испустил семя мастурбации на тапочки и выбросился с балкона – варево, в котором в эти мгновения зарождалась новая жизнь, приветствовала измятая и истоптанная трава на заднем дворике высотки, приветствовали невидимые глазу кислые прелости дубовых лав, приветствовала сладкая нуга крови, приветствовал дурманящий аромат испражнений, неуловимый – волос – живших здесь – кож, столбиков ресниц, разомкнутости коридора с обоих концов, сперма на ворсе тапочек. Ликовало костровое потрескивание костей! ликовали шпажные шлепки отлипающих от кости сухожилий! ликовал бельевой телеп рвущихся вен! ликовал лунный шелест лопающейся кожи – звуки любви во имя новой жизни…

- Э-эмр-р-р. – выскочила с рёвом из дверей Акулина и, сросшись за спиной руками и ногами, обручальным кольцом покатилась им вслед, а ударившись, рассыпалась по суставам и облепила его, ставшие после жены втрое массивнее икры.

Батюшка, резким поворотом тела вырвав себе из сустава вторую руку, словно плетью хлестанул ею барина – рука осталась у того на груди. Уже во дворе, встревоженные криками и шумом дворовые облепившие крыльцо, едва завидев барина, тут же, даже не успевая удивляться, распадалась на куски и, подползая-подкатываясь, налипали на него и тоже обрастали пухом некоторые наиболее расторопные успевали добежать до амбаров но там едва ухватившись за вилы и топоры распадались и оставляя на снегу кровавые полосы катились к барину статный дворовушко[22] неспешно осенив скот да попрощавшись с каждым поименно «доброходом» взвился в небо собаки Егор, Тибор и Саша шарахаясь от распадавшихся дворовых выгрызали себе анусы и выпростав наземь кишки носились кругами выписывая на снегу узоры визжа и поднимая неимоверный гвалт катались в сугробах неистовые куры Хохотушка Айля Виолетта Хохлома и Зойка взобравшийся на крышу

[22] дворовушко – попечитель скотины.

кот Серёжа отгрызал лапы и швырял в барина лапы тут же прирастали лапы проломившая стену сарая корова Дыба ритуально затоптала себя своими же копытами превратившись в груду мяса с неба упал гигантский светловолосый мальчикистрашновсосавртомморозныйвоздухвыстрелилголовойводворсследом упалитапкирыхлоемозговоевеществонакрылоредкуювытоптанную ребятишками траву…

Утонувший в крови двор бензопилой варился в лютой сибирской зиме, глядя своими безумными глазами в иссине-смоляное небо, что, нависая своей пёстрой бездонной тушей, переливалось сиянием и низкими пестрящими огнями мегаполисов с зеркалами океанов планетами. Тонкие полоски космических кораблей, бесшумно проносившиеся в триллионах километрах, оставляли ярко синие царапины в казавшемся густым пространстве – словно бы и не зима вовсе, а шоколадная амазонка лежит сейчас на берегу океана в шезлонге и взирает в ослепительный космос сквозь солнцезащитные очки.

Когда они вышли за ворота, батюшка растаял, превратившись в огромную прямоугольную лужу крови, по которой, словно по ковровой дорожке новосформировавшийся Заворотень пошёл в черневший тонкой нитью на горизонте Самайский лес, в котором, уже, распугивая сонных птиц, со скрипом и хрустом нагибаясь до земли и выгибаясь обратно, готовили свои закоченевшие спины сосны великаны, в благоговении раскалялись вечно живые мхи, спящие под метровым снежными настами; трупы бурелома крошили собственные тела, чтобы, едва нога нового хозяина ступит на их царственную территорию, поклониться ему всем своим большим сердцем, чтобы такие ветреные и непостоянные сугробы сбросили, наконец, свою гордыню и, расступившись, прокричали поздравления, чтобы воем и стоном ответили небесные толщи на их старания, чтобы медведи не поленились выползти из берлог и, таинственно кротко улыбнувшись, пасть ему в ноги, целовать ступни, лизать руки, чтобы подлые лисы падали на спины и бились в истерике, высказывая своё уничижение, а мелкие животные парили в воздухе, словно комары…

Жутко было слышать этот оглушительный скрип, разлетавшийся на многие километры и парящий над пустынной скованной морозом чащей, к которой, раскачиваясь, увязая по грудь в снегах, пробирался Заворотень.

Многие годы после этого ходил он по лесам, ел землю, пил воду из болот и озёр и являлся в деревни, в дома, на хутора либо на большой праздник, либо на большое горе, и все были рады его видеть. Но за всё время он так ни разу и не объявился в своей усадьбе, что стояла нетронутой, как в тот золотой год, когда он покинул её.

Terror antiquus 3

«… - Ну и холодина у тебя. Бр-р-р. – розовощёкий Саша опустил джойстик на колено и, поднеся ладони к губам, подул.

Артур рассеянно на него поглядел:

- Самое абычто. – комично тонко констатировал он. – Вроде и не мороз ещё, а холодно, и отопление ещё не включили. Отец сказал, что только чрез неделю, это, подключат.

- Я даже играть не могу – пальцы стынут.

- Видно, что ты лажаешь. Когда мой легионер каланчу обходил, тебе нужно было врубать факел, это наискосок и двумя пальцами «B» и «C» давить…

- Да я знаю! Что я факел не включал никогда!? Я бы тебя прикрыл, а ты япошку бы валил, и всё, там только супер-паук и уровень наш. Но, ты же видишь, я пальцами пошевелить не могу. А может, конфорки включишь?

- Эка, ты умный – включил давно. Как мы пришли, так и включил.

- А как ты думаешь, Артур, классуха заложит, что мы с химии того…

- Слиняли?

- Ну.

- Ну и пусть пиздит, срал я на неё, короста! У меня предки понятливые – скажу: живот заболел.

- Да?.. Я тогда тоже скажу. – нахмурился Саша. – Так говоришь, только через неделю... А у меня дома и воды горячей нет.

- Нет?

- Весь двор перерыли, конца не видно… Слушай, а у тебя одеяло есть?

- Одеяло? – Артур повернулся к шкафу со спальным бельём. – Одеяло есть. Придумал, а давай укутаемся в одеяло, и будем горячий чай пить.

- А когда согреемся, продолжим рубиться! – Саша оживлённо кивнул на экран.

- Лады! – вскочил со стула Артур.

- Тогда на кухню.

- А у тебя одеяла толстые?

- Как жопа у Вики.

Они дружно рассмеялись, вспомнив необъятные габариты завуча.

- Как ты без воды? – Артур сунул руку под горячую струю. – Я утром наверно издох бы, в таком дуборе, да ещё и ледяной водой умываться.

- А мой папа каждое утро в душ прохладный заползает – чтоб взбодриться на целый день, говорит. А сейчас вода такая ледяная, что он перестал.

Саша тоже погрузил посиневшие кисти под кран и тут же ощутил, как кожа стала мякнуть.

- Бля-я-яя, как заебись... – выдохнул он и потрогал Артура за пальцы. – О, у тебя руки уже, как кипяток.

- Ну. – довольно млея, Артур прикрыл глаза. – Мне кажется, будто от них тепло во всё тело проника-а-ает… Слушай! – он вдруг встрепенулся и уставился на друга. – А давай ванну наберём, и-и-и в пару посидим… ну, или… так посидим, представь, там, как в бане будет, или залезем, посидим. У меня ванна большая.

- Думаешь? – посмотрел ему в глаза Саша.

- И чаю заодно там же и попьём.

- А твои не придут?

- В лучшем случае часа через три, не раньше. Как раз отогреемся, обсохнем, да в «легион» рубиться будем.

- Или в «Спарту».

- Можно и в Спарту. – ответил на взгляд друга Артур. – Можно в «Спарту». Давно, кстати, в неё не рубались.

Через десть минут они уже сидели в ванне: благоухающая мятной солью, в сизых островках пенки горячая вода источала пар и негу. Друзья с трудом умещались в вытянутой чаше, но жар и магическое действие морской соли моментально расслабили суставы и, уже не обращая внимания на касания, они упирались бёдрами и ступнями в бока друг друга.

- Как классно… – не отрывая глаз, прошептал Саша. – А я так мечтал о ванне. Ты себе даже не представляешь. Последний раз, что бы помыться мама вёдрами грела воду и в ванну носила, так я тебе скажу, так, как я тогда мёрз, я в жизни своей не мёрз. Ну, может, помнишь, только тогда…

- На «соревах»?

- Ну! Помнишь, как мы тогда колотились, в палатке? Я думал, издохну.

- Да помню я, как ты трясся. – рассмеялся Артур. – А-арту-ур, я сейча-а-ас превращу-у-усь в сосу-у-льку. – передразнил друга Артур и раскатисто захохотал.

- Ну! – по-доброму ткнул его локтем Саша. – Я тогда тебя веселил, потому что видел, что ты готов был разреветься.

- Я готов был этого Исаёнка зарубить его же американским топориком.

- О! Помню топорик. – аж встрепенулся Саша. – Красный такой, с ручкой специальной из каучука. Помню. Он ещё всё хвастался.

- Хвастался, а потом нажрался, как свинья, чуть нас всех не заморозил.

- Ты знаешь… – Саша выдержал многозначительную паузу. – Нужно было взять эту печку тогда, да разжечь её.

- Так мы малые были.

- Ну. А сейчас – хуй бы мы мёрзли! – Саша аж привстал от возбуждения. – Я бы даже не постеснялся и всё бы ему с утра высказал. Он бы у меня узнал. И родителям бы сказал, что б знал.

- А прикинь, если б нам тогда лет по восемнадцать было.

- Во-о! Мы бы ему такой пизды ввалили. Год бы в больнице провалялся. А давай, когда вырастем, дадим ему пизды.

- Давай.

- Тогда договорились, в первый же день, когда тебе, ты же младше, исполнится восемнадцать, даём Исаёнку пизды.

- И так конкретно даём! Скажем: ну что, вспомнил, падаль, нас, как холодом мучил!? Во как, за всё, в своё время получать придётся.

- Дха-а-а… - мечтательно выдохнул Саша. – Аж от этой мысли и ещё кайфовей сделалось. Две недели без горячей ванны, ты представляешь?

- Так сказал бы мне раньше. Лежи вон, балдей.

- Дха-а-а… Прямо как в бане.

- Ну…

- О! А тебе Стас не говорил? – Саша приподнял разбухшие веки и заинтригованно посмотрел на Артура.

- Что?

- Значит, не говорил. Это он мне сегодня рассказывал, как раз перед тем, как мы с химии смылись. А я и забыл тебе сказать. Короче. Стас с Репой вчера в баню на Орловскую ходили зырить. И прикинь, кого они напасли…

- Ну?

- Нет, ну ты угадай.

- Ну, не знаю, классуху нашу?

Саша отрицательно помотал головой.

- Утку?

- Нет.

- Ну, говори, не угадаю я.

- Катьку.

- Малышеву!?

Саша медленно с явным удовольствием кивнул.

- Бля, во повезло. – с некоторой досадой произнёс Артур и побагровел.

- Ну. Она с мамашей и младшей сестрой мылась. – со смакованием рассказывал Саша. – Ну, та совсем ещё малая. Так Стас сказал, что Катька уже бреется. Да, говорит, лобок у неё такой чёрный-чёрный…

- Это, наверно, потому что в воде намок. Он так чернее, я слышал.

- И побрит в полосочку, он даже раздражение рассмотрел.

- Ни хуя себе…

- Да, они у раздевалки прямо напротив её шкафчика сидели. Стас сказал, что когда ему надоело смотреть, он даже хотел через форточку руку просунуть да её за грудь схватить и делать ноги, но там мамаша подошла и села аккурат перед ним. Говорит, соски у неё стояли.

- В бане? – Артур занервничал и свёл колени.

- Тебе тесно? – предусмотрительный Саша сел повыше, освободив Артуру пространство. Но вместо этого поднял волну, и Артур от неожиданности сполз вниз, и на мгновение на поверхности возник его эрогированный в редких волосах член. Заметив это, Артур смутился и, стараясь сгладить конфуз, заговорил:

- Да, повезло Стасу с Репой – Катька супер девка. Она как-то наклонилась на физре, и я в прорез футболки сиську её разглядел…

- Нужно и нам в баню сходить…

- Мда-а-а... – Артур снова заёрзал и свёл коленки.

- Вот бы можно было сфотографировать её…в бане…

- Это нужно со вспышкой, а там поймать могут.

- А была бы фотка, прикинь?

- Да-а...

- Слушай. – вдруг со смешинкой сказал Саша. – А у тебя…есть, ну, что-нибудь?.. Ну, такое.

- Типа фотки?

- Ну.

- Есть. – он свесился с ванны и вынул из потайного места измятый и волнистый от влажности журнал.

- О, клёво. Дай-ка. – Саша развернул, на страницах пестрели порно фотографии. – смотри, эта на Катьку похожа.

- А вот ещё она. – Артур перевернул две страницы. – Вот с негром – здесь даже больше похожа.

- Ну. А ты это, ну, в ванной любишь, ну, это…да?

- Ну, да. – не сводил глаз с журнала Артур.

- А я в туалете… Сяду, вроде по большому. У меня дома такие типа фишки есть с девками, их слюнявишь, и одежда исчезает, а девки голые, и карты есть, почти колода. Я беру, а потом в туалете…

- А давай сейчас, что-то захотелось…очень. – Артур впился глазами в журнал.

- Ну, давай. Что здесь такого. Только журнал нужно…как-то…что б и тебе и…мне…

- Да? А я к тебе сейчас пересяду. Ты так слегка на бочок давай. Вот.

Друзья сели рядом, так близко, что едва не касались головами. Мелко подрагивая, они мастурбировали, то и дело переворачивая страницы. И без того румяный Саша стал пунцовым, шелковистые кудри его, словно шлем, облепили голову и, накрывая уши, острыми прядками струились по шее, Артур, сосредоточенный с вытянутым словно бы лошадиным лицом приподнял таз, чтобы член выглядывал из мыльной воды, и теперь тот уверенно торчал красной широкой головкой.

- Стой, стой. – Саша вдруг, словно пьяный, схватил Артура за руку, журнал упал в воду. – Только молчи, только молчи. – крича, шептал он. – Стой. – скользнув под воду, увлекая за своей рукой руку Артура, он вложил в неё свой член и сдавил свободной, а сам перевернулся на бок и стал рваными движениями ласкать член Артура, мошонку, живот. С закрытыми глазами, не замечая друг друга, они слились в поцелуе, а после минутных трясущихся ласк, Саша навалился на Артура, забросил его длинные похожие на телячьи ноги себе на плечи и, задыхаясь от волнения, медленно ввёл член в анус. Артур закричал, и подумал о двух недоразвитых зверях – Саша кончил. Как взорвался, как ампутировался, как проснулся, как умер… На поверхности воды новорожденными лилиями проступили розовые разводы крови.

Простившись с Сашей, Артур зашёл в туалет, чтобы сменить быстро напитавшуюся кровью туалетную бумажку…»

Часть 3

Глава 1

Поездка к шести бабушкам: оловянной, деревянной, настоящей, мраморной, медной и каловой.

« Остекленение. Жуткая поэзия воздуха. Стеклянные кроны за моими глазами. Будущее, словно прошлое, навалилось на затылок и давит, давит, упруго, умело… Колея. Глубока комната для чёрного человека, траншея незаметной жизни, музыка ветра, стеклянная перкуссия, догма… Расширение затылка за счёт челюсти, тёплое тело члена у меня во рту, мякоть разжёванной бабочки, грибы лисички вокруг одного пня, злобные пауки в глухом углу за пылесосом. Бабушки… Такие разные, как будущее, как прошлое, как вкус ушедшего члена, как музыка стекла. У неё над дверью была табличка «розовое олово». И за это я полюбил. Чрезвычайно чёрствая, несвежая кора, она же фольга дорожной плитки «Алёнка». Что так льнёт к зубам? Где мой рот? Расчленение черепа, превратившийся в дерево поэт, как легко поджечь его и уничтожить, и радостно глядеть на него по весне и сажать на влажные ветви сорвавшихся галчат. А как же сладко сношаться в его кроне! Оловянная бабушка, не ешь мой снег, аки крив он, как та сабля, что прославила турок. Не наливай поэту – он мёртв.

Твой Егор».

Егор сложил письмо вдвое и засунул его в заранее приготовленный конверт, послюнявив, придавил конверт графином с водой и тут же сунул в карман. Одновременно одеваясь и рывками разжёвывая засохший мясной пирог, он вышел из дома.

- Стелет, стелет-то как… – пробормотал Егор, на ходу закрываясь промасленным крылом кожуха от колючих хлопьев снега, которые, словно сорвавшиеся с цепей собаки норовили укусить его в лицо. – Пластмассовая вера, немытые онучи, каторга, схрон… Чем я им? А стелет-то как, стелет! Плохая мать так перину перебирает, али плотник пьяный в гробу так опилки стелет – колко, колко при них жицць та. А вверху заметает тта, ай тта! Как всё одно сороку лисица в водоворот крутитть, будь она неладна аки та мать, что сосок млечный у губ дразнит да всё в нос суёт да в лоб норовит…

- Здоров, Егор.

- Здоров, Евсей. – Егор выдернул из-под полы обрезанное ружьё и выстрелил Евсею в грудь.

Тот, статный, розовоусый, с весёлой стружкой чёлки, по всему видно, с гулянки, тут же обмяк и молча осунулся в снег. Вытерев дуло о его тулуп, Егор спрятал обрез обратно.

Время было позднее, девятый час, чёрная исхоженная дорога, ведущая на вокзал, лежала криво, заваливаясь на бок, словно худая изба. Бранясь и, то и дело, соскальзывая к замёрзшей промоине, Егор цеплялся за голые сучья клёнов, росших в этих местах в изобилии. Через тринадцать минут он вышел на асфальт, вдоль которого белела шестиметровая лента стены следственного изолятора. Изогнувшись, переступил блестевшую в свете прожекторов колючую проволоку, аккуратно, чтобы не проткнуться, отогнул стальной прут и вышел на мощёную булыжником тропинку. До вокзала уже было недалеко, а там и почта, оставалось только преодолеть верхнюю улицу – из-за торчащих тёмно-синими силуэтами крыш уже долетал грохот проносящегося мимо товарняка и оканье шпалосмотрителей. За толстой стеной изолятора, сжавшись в комок, дикими пчёлами кружились стоны и хрипы заключённых. При мысли о них Егор поморщился. Вдруг из темноты послышались скрипучие снежные шаги.

- Мужчина. Мужчина! – нежно кричал возникший из заборной мякоти молодой человек в камуфляже. Он бежал и одновременно показывал развёрнутые к свету ладони в знак своего доброго расположения. – Мугх-жч-хина, здравствуйте. – задыхаясь от бега, сказал он.

Егор нащупал обрез.

- Мух-жхи-чина. – всё не мог отдышаться «военный», как его про себя тут же окрестил Егор.

Парень зачем-то снял с лица повязку и, широко улыбнувшись, взволнованно затараторил:

- Пожалуйста, я потом узнаю ваше имя мне нужна помощь моя мама рожает вот мой дом а фельдшера найти не могут, помогите мне хотя бы советом я не знаю, что делать. – и холодно, на долю секунды поменявшись в лице, посмотрел на часы. – Я боюсь её смерти. – снова улыбнулся.

- Я… на почту…скоро закроют… – попытался оправдываться Егор и даже погладил то место на груди, где пригрелось письмо, но «военный» уже взял его под локоть и практически силой потащил во дворы. – Письмо. – Егор вынул письмо и потряс им в воздухе.

- Вот мой дом только на минуту. Мама! Мы идём! Вот сюда. Меня Всеволодом зовут, а маму Глафира Иосифовна, хочет очень Вероничку выродить или Вениамина, как святого, а кто будет неизвестно… – он затолкал обмякшего от неожиданности Егора в абсолютно чёрный закоулок, с силой сжал за волосы и, не останавливаясь ни на секунду, с размаху ударил виском об угол колодезной крышки. Егор захрипел, но новый удар заставил его замереть. – Вот и хорошо. – пробурчал себе под нос Всеволод и расстегнул ремень. – Послушная девочка. А что это у тебя? – он поднял выпавший из руки конверт, покрутил его в тусклом лунном свете и засунул в нагрудный карман.

Уперев безжизненное тело в колодец, он задрал тулуп, завернул его на голову – скинул пояс, и широкие лёгкие шаровары сами соскользнули под ноги, задрал рубаху до лопаток; потёр уже смазавшейся головкой по обрюзглым ягодицам, помял холодную мошонку, затем бешено озирнулся, будто почуяв что, и аккуратно вошёл Егору в анус. Кончив, он тщательно вытер сперму и испачкавшийся фекалиями член носовым платком.

- Вот и сделано. – прошептал он и развернул труп лицом к ночному небу, снова посмотрел на часы.

Застегнув ремень и подтянув расползшуюся в страсти форму, он вынул из ножен «воронье крыло» и сделал Егору аккуратный надрез на уровне желудка. Из раны тут же выскользнула струйка крови и, задержавшись в пупе, стремительно поползла к паху. Егор оставался неподвижен. Нащупав концом лезвия желудок, Всеволод проткнул его и, не вынимая ножа, откупорив одной рукой флягу с водкой, стал с косметической точностью, направляя по лезвию, вливать водку в желудок. Закончив, он оттащил труп к железнодорожному полотну и уложил на рельсы. Дождавшись, когда первый товарняк разорвёт тело на тряпки, он поспешил к тюрьме.

- Ну, и где ты ходишь? – недовольно, но не зло отчитывал его квадратный с усами во всё лицо надзиратель. – Позавчера на десять минут опоздал, сегодня на пятнадцать…

- Ну, Вов, не горячись. – Всеволод быстро поцеловал напарника в щёку. – Лёд присыпало, я и не заметил – поскользнулся.

- Эх ты горемычный. – пробасил на выдохе Володя и расписался в журнале в графе «смену сдал». – Чиркани, да пойду я – у дочки сегодня день рождения, ждут меня, уже раз двадцать звонили, рассказывали, как салаты готовят, как торт…

- Завидую я тебе, Вова, такая дружная у тебя семья, и с Еленой тебе повезло – понимающая она. – Всеволод в задумчивости подошёл к окну и

посмотрел на пустынный, залитый светом семи прожекторов тюремный дворик. – Завидую…

- Не сглазь. Давай пиши да пойду я.

- Ой! – вдруг словно очнулся Всеволод. – Я пописаю, сбегаю, минуту ещё подожди, собирался дорогой, да запамятовал.

- Ну, конечно, иди, мог бы…иди…

- Я мигом. – он спустился по лестнице и зашёл в уборную. Зачерпнув из бочка, вымыл головку и измазанный кровью рукав.

Вдруг за спиной раздался тихий полный тайны голос:

- Это я, не пугайся… - Володя закрыл за собой дверь.

- Ты… – как бы констатируя, а не спрашивая произнёс Всеволод и закатал мокрый рукав. – А как же Елена?

- Елена ничего не узнает. – стараясь подражать интонации Всеволода полу шептал тот.

- А как же твои слова о предательстве? – Всеволод не поворачивая головы, говорил в стену перед собой.

- Предательства не будет – я люблю Елену, и хочу, чтобы ей было хорошо, а для того, чтобы ей было хорошо, хорошо должно быть и мне…

- Быстро же ты сорвался. – Всеволод заголил головку и приготовился мочиться.

- Я не могу без этого, я зависим, как женщина без секса. Я издёргался, сам не свой – я нуждаюсь. А Елена не узнает… Ты начинаешь? – он заглянул Всеволоду через плечо.

Всеволод стоял без движения.

- Послушай. – роняя в волнении голос произнёс Волод. – Я ещё теряю тебя?.. или… уже потерял?..

- Н-нет. – растроганно замялся Всеволод. – Нет, что ты…

- Т-тогда…я… можно?..

- Да… – неопределённо и уже как-то безучастно пожал плечами тот.

- Тогда… я… – Вова нерешительно опустился на колени и, с трудом развернувшись в тесном пространстве туалетной кабинки, просунул голову Всеволоду между колен.

Посмотрев с минуту оценивающе, Всеволод снял с ремня наручники и состегнул их у Володи на запястьях, у себя за спиной, затем встал ботинком на металлический обод и, увлекая за собой упивающегося своей беспомощностью Володю, сильным движением встал на унитаз.

- Ждёшь? – злорадно, наливаясь кровью от натуги, выдавил Всеволод.

Володя только быстро кивнул и изобразил глазами молитву. Выждав, Всеволод стал мочиться ему в рот, Володя увлечённо глотал парную мочу,

давясь и, то и дело, расплёскивая. Закончив, Всеволод освободил руки напарника и вышел из туалета. Володя молча вышел вслед за ним и тут же, отворив дверь на улицу, сгрёб в ладонь снег и омыл лицо. Не дожидаясь, пока тот кончит, Всеволод поднялся на вахту и расписался в графе «смену принял».

- Остекленение. Жуткая поэзия… – в четвёртый раз перечитывал Всеволод письмо. Письмо потрясло его, забрало и приняло в себя. Он стёр со лба холодный пот и повернул ручку калорифера в положение «минус», подошёл к окну. – Село Вырть, дом Талашкиных, баба Оля. – он закусил губу и ещё раз внимательно просмотрел адрес. – Это где-то за Худым Ладом, если по кольцу, или поездом…до Борового и-и-и…часа два езды. Это с пересадкой, а до мануфактур Калашникова две станции, это минут двадцать… - вернулся за стол.

Вдруг на телефоне загорелась красная пластина, и раздался тягучий треск звонка.

- Да. – всё ещё не отошедший от письма, произнёс в трубку он.

- Сева, голубчик! – послышался радостный Вовин голос, на заднем фоне звенели детские голоса, то и дело, перемежавшиеся смехом, игравшая музыка заглушала телевизор. – Я так рад! У моей Настеньки десять лет! Если хочешь, круглая дата!

- Поздравляю. – перебил его Всеволод и расслабился в стуле, осознав, что звонок не служебный.

- Спасибо, друг! А я по такому случаю гостинец тебе припрятал. Думаю – устанешь ты дежурить, загрустишь, а я, глядишь, и подслащу тебе пилюльку-то. Короче просунь руку под холодильник, да пошаруди там. Всё, отбой. Удачной службы.

Послышались гудки.

- Спаси бог. – сам себе сказал Всеволод и положил трубку.

Под холодильником оказалась плитка шоколадки «Алёнка».

- Алёнка!? – немо захрипев, Всеволод на подкашивающихся ногах кинулся к столу и не в силах встать стащил письмо на пол. – Она же фольга дорожной плитки «Алёнка». – дрожащими губами прочитал он в письме и хлопнул ладонью о пыльный пол.

На следующее утро он уже спешил на вокзал. В кармане ватника млели бутерброды с ветчиной и 250 граммовый пакетик с ряженкой. Как он и предполагал, до Борового доехал быстро, а там, подкрепившись, лёг на «деревяшки» тепловоза и проспал до самого Света 11, в окрестностях которого и возлежала на живописных, словно искусственно вырезанных холмах деревня Вырть.

- …превратившись в груду мяса, с неба упал гигантский светловолосый мальчик и, страшно всосав ртом морозный воздух, выстрелил головой во двор, следом упали тапки, рыхлое мозговое вещество накрыло редкую вытоптанную ребятишками тра…

- Здравствуй, баба Оля. – оборвал говорившую саму с собой старушку Всеволод и, низко поклонившись, снял шапку.

- Ну, здравствуй. – подозрительно взвесила его взглядом добродушного вида старуха с нарастающим на носовой хрящ затылком, и поставила в угол расписной в ручке ухват. – С чем ж это к нам такой добрый молодец пожаловал? Да ты проходи, не стесняйся. Можешь не разуваться, я к вечору буду пол мыть.

- Спасибо, бабушка. – Всеволод прошёл в хату, как и был в ватнике и облегающих колени валенках, сел на лаву. К нему тут же подскочил, словно его пхнул кто, серый в точках котёнок и, изогнувшись, стал тереться о шерсть. – Хороший котёнок. – потрепал его за ушком Всеволод. – А у меня вот старый живёт. Уж и оглох и ослеп, а всё живёт. Меня ещё мальчишкой помнит, да и я его помню, вот, почитай, с таких пор. – он кивнул на котёнка.

Тот раскрыл лопаточные пандусы и выделил ядовито салатовые хрепты. Хата наполнилась ароматом жареного зефира.

- Разбойник. – улыбнувшись, пожурила его бабушка.

Всеволод дёрнулся.

- Такой разбойник. – повторила она. – Только и гляди за ним… А вы, чай, из города к нам пожаловали?

- Из него кормильца.

- А из какого конкретно, коли не тайна?

- Из Академического. – улыбнулся Всеволод и расправил ватник.

- Китайцев, чула, многось у вас.

- Чего-чего, а китайцев у нас хватает. А вы как, баба Оля? Жизнь бьёт…

- А как ж не бьёть. – картинно застыла она. – Как вдовой осталась, без мужненой помощи избу дорубила. Мы ж всё в подвале проживали, последние недель восемьсот токмо подымать сруб почали, да захворал Дабран, милый мой мужичёк, кровью харкать почал…

- Ключом. – произнёс Всеволод.

- Чего, ключом?

- Я хотел сказать – жизнь бьёт ключом, а у вас, гляжу, того, бьёт, да всё мимо.

- Чего ж мимо – вона, каки хоромы вамахала. Гляди каки мозоли натёрла. – она развернула тёмно-зелёные ладони.

- Я, собственно, вот по какому вопросу, баба Оля. – почесал кончик носа Всеволод. – Мне б. – он потёр переносицу. – Мне б оловянную бабушку повидать.

Лицо старухи моментально сделалось каменным, волосы на шее почернели и она, словно бы замышляя неладное, сказала:

- Так под карантином она, милый. А я всего большухой [23]при ней. Никак к ней нельзя.

- Я от внука её, Егора. – словно не слыша её продолжал говорить Всеволод. – Вот и письмо к ней имею. – он протянул конверт с торчавшим из разорванного края сложенным вдвое листом.

Бабушка, нахмурив подбородочные бугры, потянулась, Всеволод прибрал руку и привстал, она подалась ближе. Он схватил её за ворот кофты, он она вырвалась, развернулась и, шипя, бросилась на него раскрывшимися, как парашют металлическими клешнями. Сделав подсечку и заломав руку, Всеволод надавил коленом ей на кадык. Позвонки хрустнули, и бабушка замерла. Клешни на половину успели втянуться и теперь торчали локтевыми суставами с голубыми шипами. Котёнок подскочил к ней и непосредственно, по-детски стал играть с клешнями. Тогда Всволод поднял с пола точильный брусок и огрел им котёнка по голове. Скрючившись, тот дёрнулся, выгнулся и замер. Сбросив тело бабы Ольги в погреб, Всеволод набросил на дверь замок и прошёл в соседнюю комнату.

- А-о-о-о. – едва ступив через порог, отшатнулся он и бросился бежать, но, зацепившись воротом ватника за торчавший их косяка гвоздь, словно на крючке повис на нём.

В красном пористом полумраке на высокой, напоминавшей соляной столп алого бархата подушке восседало кобальтовое с жидкими глазами существо. Оно было на столько безобразно, что, обезумевший от страха, Всеволод схватил первый попавшийся под руку предмет и запустил его в существо. Табуретка протаранила его и отбросила к стене.

- Что вам на… – только и успел произнести миниатюрный с напёрсток рот и тут же испустил дух.

Голубые, похожие на проволочные ручки застыли в оборванном движении.

Придя в себя, Всеволод всё же осмелился приблизиться к телу. Помятое, с круглым ртом оно кричало коченеющими глазами, чёрная копошащаяся кровь, плавно вытекая, собиралась в лужу под пробитой оловянной головой и во вдавленной ложбинке на щеке. Обследовав остальные комнаты и

[23] Большуха – женщина, которая правит домом.

убедившись, что в доме больше никого нет, Всеволод вернулся в комнату и стал перебирать вещи.

«Оконные раны. Появление крови, как появление человека. Боль. Истребление состояния, неготовность к меди. Раны бабушкины раны раны старости. Выпади в окно – они закричат, птицы закроют клювы. За окном. Звери и звериные любовники. Похоронили медную бабушку в червя, отговорили петь в вогнутом поле, съели траву, как мякоть бабушки, холодная плоть аутопсии касается моих предплечий, плеч, шеи, затылка. Зачем? Кто вырастет выше ограды? Не занимайся стрекозой – она не зимой. Медное чело, медные уста, медный наполнитель выделителя, ограда медная. Струпья аэробуса. Где гарантия, что вираж не закончится землёй, как всё на Земле. Где икона, что не наполнена деревом? Где та, что не ценна золотом? Пустота. Скрежет колёс локомотива, медленные самоубийцы за рулём. Звероподобная бабушка под кабиной. Ты сам себя под колёсами увидишь. Мысли. Игната. Слёзы…рождение для чужого. Медью окован, медью обит, медный всадник, бронзовая бабушка, я хочу умереть под твоими колёсами…»

Всеволод отложил письмо, и стал быстро пробегать глазами те письма, что были адресованы оловянной бабушке.

- Что за старческий маразм! – отшвыривал он, не дочитывая, письма, одно за другим. – Маразм. Околесица! Это что ещё? «Здравствуй дорогая бабушка Поля. Я очень по тебе скучаю. Очень жду лета, каникул. А мы завели собаку. Его зовут Тобик. Я обязательно его тебе привезу. Мама сказала, что если я четверть закончу без троек, то она отправит меня к тебе на всё лето. Я буду очень стараться, ба…» Вон нахуй! Что за дерьмо!? Безумцы! – Всеволод в ярости разорвал письмо. – «Здравствуй, бабушка Поля. Поздравляем тебя с новым 117 от вознесения Солнечного Иго годом. Желаем тебе счастья и здоровья. Я, грудничок Аристарх и мама с па…» Безумцы!!! – взревел Всеволод и в ужасе отшатнулся от стола, как вдруг услышал настойчивый стук в сенцах.

Выбежав, он замер у двери и прислушался.

- Ольга Ивановна, вы дома? – долгий ритмичный стук повторился. – Я пришла.

Голос тонкий, пронизывающий, словно сквозной ветер, явно принадлежал ребёнку.

- А-а-а…кто её, ум-м, бабушкой интересуется? – как можно ванильнее старался говорить Всеволод.

После недолгого молчания за дверью откашлялись и повторили:

- Ольга Ивановна, вы дома? Я пришла.

- А кто ей интересуется?

- Андрей. – тут же последовал ответ.

- А что вам, Андрюша, нужно от бабушки?

- От бабушки…телевизор. Я пришла смотреть «Чрезвычайное происшествие».

Всеволод открыл дверь и, стараясь не показывать своего лица, впустил гостя. Тот оказался щуплым, малолетним, каким-то неказистым и в довершение всего, при ходьбе словно бы выбрасывал голени вперёд – в народе этот дефект именовался «конская ступня».

- Вы, Андрей? – стоя в пол оборота и краем глаза выглядывая из-за капюшона, спросил Всеволод и тут же бочком продвинулся вглубь комнаты.

- Да. – деловито ответил мальчик, направляясь к телевизору. – А вы, наверно, Аристарх?

- Да. – ответил Всеволод.

- Странно… - сказал Андрей. – Аристарху ещё не исполнилось и года.

Лицо Всеволода покрылось испариной. А мальчик, не переставая настраивать телевизор, продолжал:

- А как Полинка? Родила?

Всеволод сделал вид, что не услышал вопрос и побежал в комнату оловянной бабушки. Схватив там горсть писем, вернулся в дом и сел к Андрею спиной так, чтобы видеть телевизор.

- Во, кажись, настроился. – довольно сообщил мальчик и так близко подсел к Всеволоду, что тот почувствовал исходивший от него холод.

Не дожидаясь следующего вопроса, он открыл первое попавшееся письмо и стал про себя читать:

«Привет, ба. Папа заболел. Что-то воспалительное. А я, скорее всего, от Сикачёва уйду. Хоть мама и говорит, что он перевоспитается, но я в это не верю. Такие как он не перевоспитываются. К тому же мне кажется – он мне изменяет. До встречи. Целую. Твоя Полинка-невидимка».

- Полинка-невидимка скоро должна приехать. – как бы невзначай сказал Всеволод и нарочито шумно зевнул.

Мальчик хмыкнул. В телевизоре замелькали и тут же зашумели незамысловатые музыкальные вариации рекламных сообщений.

- Сейчас начнётся.

Всеволод почувствовал, как по телу Андрея пробежала нервная дрожь.

- Так родила? – повторил недавний вопрос он и поднял с пола кота. – А что это Кешка, как неживой.

- Снотворного ему дали, чтоб спал.

- А-а… – кивнул Андрей и стал гладить мёртвое тело.

Всеволод раскрыл сразу несколько писем и стал пробегать по ним глазами:

« Здравствуй мама. Почему не пишешь? У Аристарха снова ангина. Вторая за зиму. Говорила ему, чтоб на санках долго не катался, а он непослушный. Весь отца. А у Полинки тройка в четверти по ру…»

- Не то. – сказал под нос и стал читать следующее.

«Здравствуй ба. С Новым тебя 167 годом. Надеюсь, ты больше не ждёшь пятого пришествия сына Солнца. Всего тебе наисдчайшего в этом новом году. Поклон тебе от внука твоего Хизима. Позавчера он вышел на пенсию. Мы праздновали. А сегодня он с Манной и близнецами на море отдыхает. Аристарх ушёл в армию, и теперь уж, кажется, насовсем. Так что он со мной не приедет…»

- Что? – как выдох вырвалось из Всеволода.

И вдруг, словно обух на темени, он почувствовал острый трупный дух исходивший от мальчика. Краем глаза он осмотрел его лицо, то было мелово-белым с абсолютно неподвижными словно бы стеклянными зрачками. По губам и крыльям носа ползали сонные мухи. Он с содроганием стал дочитывать письмо:

« …Но зато я тебе фотокарточки его привезу. Весь поседел, осунулся, а всё туда же. А помнишь, каким он маленьким был. Юркий, бойкий, тонконогий. Аришкой-кузнешкой мы тогда его ещё погоняли. Как сорвётся с утр…»

- Смотри, Аристарх. – ткнул его острым локтем мальчик. – «Происшествие» показывают.

Всеволод уставился в экран.

- Уже четвёртая страшная автокатастрофа за последние сутки произошла на крутогорых склонах Ушбека. – докладывал ведущий. – На этот раз авария унесла жизни одиннадцати человек.

На экране показались искорёженные каркасы машин. В вишнёвом микроавтобусе, выгнутый дугой неистово ревел и скалился молодой парень с практически отсутствующей половиной головы. Было видно, как оператор протиснулся между широких плеч спасателей и просунул объектив камеры в проём заднего окна. В секундных кадрах мелькнули разорванные, частью перемешавшиеся тела детей и лежавшая на полу, зажатая между сидений девушка в голубом купальнике, огромная вырванная с мясом грудь её покрывала голову, жёлтый жир вывалившийся из распотрошённой раны покоился на спине переломанной вдвое годовалой девочки. Мужчина перестал кричать, и камера зафиксировала его

потухающий взгляд. Ядовитые отблески мигалок задрожали в его мёртвом лице.

- Сейчас наш оператор покажет вам, как спасатели извлекают тела погибших…

Поплыли лица заспанных зевак, мелькнула ярко оранжевая спина «зондера», оператор показал, как, отработав болгаркой, спасатели вырезали гидравлическими ножницами кабину серебристого автомобиля и стали по частям доставать погибших, некоторые фрагменты слиплись, и их пришлось растаскивать за одежду уже на земле. Трупы раскладывали на обочине дороги в линейку.

- Вот такая трагедия посетила земли Ушбека. – снова появился ведущий. А теперь о развитии событий в селе Колонна. Напомню: отец педофил на протяжении семи лет насиловал свою малолетнюю дочь и снимал всё происходящее на камеру.

- Да это вместо фотоальбома. – на экране появился растерянный в красной вязанной шапке мужчина. – Я же для дочери старался. – оправдывался он, беспомощно обращаясь то к одному милиционеру, то к другому.

- В камеру смотри! – послышался рык оператора. – Срань.

- Здравствуйте, Юлий. – сменилась картинка, и Всеволод увидел круглолицего очень возбуждённого ведущего с микрофоном в обеих руках.

- Здравствуйте, Вениамин. Что нового вы можете нам рассказать?

- И не только рассказать! – возбуждённо пучил глаза Вениамин и то и дело поправлял перетянутый галстук. – Но и показать! У нас в руках оказалась эксклюзивная запись из коллекции отца педофила. Здесь вы можете видеть, как он насилует ребёнка в извращённой форме. – на экране появилась не очень чёткая картинка, на которой тот же мужчина, только теперь уже в матросской тельняшке, посадив маленькую девочку на стол заставляет делать минет, та хочет отвернуться, но он силой вводит ей половой член в рот. – Обратите внимание. – распалялся за кадром корреспондент. – С какой дочериной покорностью выполняет она все требования извращенца. Вот девочка покорно замирает, и он начинает медленно с наслаждением качать ягодицами. Член едва ли на треть умещается в маленьком рту несчастного ребёнка. А вот другой эпизод, тоже в извращённой форме… – не унимался Вениамин.

Появилась картинка, где обвиняемый на том же столе, но уже в компании вусмерть пьяного спящего головой на столе приятеля медленно с наслаждением насилует дочь в анальное отверстие, при этом, пошатываясь, пытается примостить вторую камеру на голову спящего.

– Суд всё ещё ознакамливается с видео материалами, которых за семь лет обвиняемый снял на сотни терабайт. – закончил Вениамин и выключился.

- Спасибо Вениамин. А вы, уважаемые телезрители, подробнее с материалами сможете ознакомиться посетив наш сайт в Интернете. – ведущий отложил лист бумаги и, сведя брови стал читать следующий. – А в селе Холм Заветный, что всего в шестистах километрах от печально известного болота-родителя совершено жестокое разбойное нападение: расстреляна семья лесника. Посмотрим кадры с места преступления.

Всеволод увидел тесное помещение хаты, пол и стены которого густо залиты кровью, на полу, прямо по центру хаты лежала половина старухи с практически отсутствующей головой, миниатюрное, похоже, мальчуковое тело без плеча подпирало разбитый иконостас, под поваленным столом раскинулась болезненного вида с задранным подолом старуха, в седых волосах её застыл мёртвый уж.

- Следствие разрабатывает версию ритуального убийства… – завизжал ледяной женский голос.

Дальше Всеволод не слышал, его мутило от трупной вони, источаемой Андреем и от той, колотившей его дрожи, какой обычно бьются страстные женщины во время соития или маленькие дети перед тем, как умереть. Не помня себя, едва не забыв сумку с телом оловянной бабушки, он выскочил из дома. Дворами он прокрался к лесу и, как в горячую душистую ванну окунулся в его пышущую зимнюю природную благодать.

- Медное чело, медные уста, медный наполнитель выделителя, ограда медная. Струпья аэробуса. Где гарантия, что вираж не закончится землёй, как всё на Земле. Где икона, что не наполнена деревом? Где та, что не ценна золотом? Пустота. Скрежет колёс локомотива, медленные самоубийцы за рулём. Звероподобная бабушка под кабиной. Ты сам себя под колёсами увидишь. Мысли. Игната. Слёзы… рождение для чужого. Медью окован, медью обит, медный всадник, я хочу умереть под твоими колёсами… - как заколдованный твердил он, продираясь сквозь колючие лапы кустарника. - Медное чело, медные уста, медный наполнитель выделителя, ограда медная. Струпья аэробуса. Где гарантия, что вираж не закончится землёй, как всё на Земле. Где икона, что не наполнена деревом? Боже мой! Какая истина!

Он в восторге выхватил жменю земляники и размазал по лицу. И тут же, едва успев оторвать руку от лица, он увидел, как на него, уже стоящего на путях несётся товарняк. Чувствуя каждую секунду, он выхватил из-за ремня пистолет и, прикрываясь рукой, стал палить в кабину машинистов.

Уже волной воздуха его вымыло из-под колёс, ударив напоследок боковой лестницей по щиколотке.

- Ам-м-м!.. – взвыл Всеволод и юлой покатился с насыпи. Щебёнка ножами впилась ему в лицо.

Когда он пришёл в себя, было уже темно. Сырой, с мокрым снегом и тягучей железнодорожной грязью снег забился за ворот ватника, к подбородку прилипла вспухшая от крови прокладка. Он вспомнил, как припал тогда машинист к окну и стал бить кулаком, как потом вместе со стеклом взорвалось его лицо.

- …какое знакомое лицо. – Всеволод оторвал прокладку от подбородка. - Скрежет колёс локомотива, медленные самоубийцы за рулём. Звероподобная бабушка под кабиной. Ты сам себя под колёсами увидишь. Мысли. Игната. Слёзы…рождение для чужого. Бабушка под кабиной на Выдрин край. – Всеволод перевалился на спину и наморщил лоб. – Игнат, слёзы Игната, локомотив, бабушка под кабиной. А может…

Не теряя ни секунды, он пополз по насыпи к железнодорожному полотну. Поезд стоял далеко у линии горизонта и бледно тлел сигнальными огнями. Всеволод пошёл по шпалам. Уже за сотню метров стал слышан гул работающего в холостую двигателя. Взобравшись в кабину через расстрелянное стекло, он увидал лежащих на полу людей. Двое были в форме железнодорожников, со спущенными штанами, и один, лежащий у выхода, приваленный одеждой, с практически раздробленной головой и в таком же пуховике, как и у Всеволода. Рядом в луже крови валялся сильно измятый и перепачканный в крови ворох бумаг. Стараясь не задерживаться, Всеволод обшарил карманы убитых, у каждого из машинистов во внутренних карманах было по письму, ещё раз посмотрел в сильно изуродованное лицо показавшегося ему тогда знакомым машиниста и спустился на рельсы.

- Бабушка под кабиной. – вдруг замерев в недоумении проговорил он.

Всё было понятно в этой истории, кроме последнего: звероподобная бабушка под кабиной. Не долго думая, Всеволод обошёл тягач, подлез между боковых колёс и пополз по направлению кабины. Прожектор локомотива бил далеко вперёд, и здесь под своим же собственным телом был абсолютно бесполезен. Всеволод полз, пока не наткнулся на то-то мокрое и тёплое. Нащупав что-то напоминающее тряпки, он потащил находку к свету. Это оказалась старуха, плохо одетая и пахнущая, она в дребезги была разбита уже к тому времени терявшим скорость поездом. По огромному в пол туловища лицу и вепрьским клыкам можно было предположить, что она из Заволжских поселений, какого-нибудь родового

побора. Обыскав её и ничего не найдя, Всеволод уже было собрался уходить, как вдруг заметил, как в лунном свете, где-то четыре вагона назад что-то мерцает. Вернувшись, он увидел оторванное четырёхпалое копытце, на указательном пальце блестел огромный перстень. Перстень указывал на едва заметную в темноте коричневую на голубом снегу тропу. Всеволод спустился с насыпи и побрёл по тропе.

- Это откуда же ты, сынок, такой помятой? – смотрел на Всеволода двухголовый мужик с благодушным прищуром и увесистым топором в руке, когда тот, поплутав по ночному лесу, выбрел на низкий с высоким частоколом хутор.

- Не бойтесь, батя. – Всеволод протянул на свет ладони, на наличие оружия.

- Да вижу, что не бандит. – отставил мужик топор. – Ну, проходи, чай. – отстранился, указывая в темноту.

- Спасибо, добрая душа. – Всеволод пошёл по длинному тускло освещённому коридору.

В крепко натопленной, пропахшей ладаном и воском хате с полом из елового кругляка и медвежьих лап за богато убранным столом сидели, по всему видно, сильно захмелевшие и разомлевшие люди: видный молодой парень с красным шаром головы в по-городскому перешитой чесучовой рубахе, широкоплечий и широкоскулый в мощной бороде «натуральный», вся расползшаяся, словно желе немолодая уже женщина и девка с плоской, как игла головой без подбородка, посреди комнаты, под громоздким пластиковым Триглавом, на копне из еловых лап в импровизированной оградке лежал труп пожилой женщины в язвах и струпьях, она была нага, на лбу, в яремной впадине, на сплетении, в пупе и на лонном сращении стояли зажжённые с отражателями свечи, в рукомойнике за печкой, низко согнувшись, полоскала руки божедомка. В длинном до пола светло зелёном фартуке, бахилах и нарукавниках, она напоминала пришельца.

- Здравствуйте, люди добрые. – Всеволод поклонился до пола. – Вижу не ко двору я – горе у вас, старые верующие. – он покосился на Триглава.

- Да уж, горе. – вздохнул мужик и жестом приказал Всеволоду садиться. – Мать, Ольга Константиновна Обухова преставилась нынче утром. Вот, пируем. – с досадой сказал он и тихо прибавил. – Не доглядели.

- Примите мои соболезнования. – блаженно произнёс Всеволод и тут заметил на столе перед налитым стаканом с коркой хлеба фотографию младенца перевязанную чёрной лентой.

Парень с красной головой заметил его взгляд и сказал:

- Беда, мил человек, как водится, одна не ходит.

- Сынок это мой, Васенька. – мужик с двумя головами смахнул слезу и, словно стараясь зашибиться, выпил сразу три рюмки, включая Васину и тут же, сипя, каркнул женщине: - Марфа, плесни Василию, он горемычный так и не успел отведать и корку ему обнови, а то я закусил, да солью присыпь, не забудь. Да и ты, гость, как, кстати, тебя величать?

- Всеволодом.

- Из города, поди?

- Из него родимого…

- Слыхал, китайцы вас тама…того…заедают.

Всеволод неопределённо пожал плечами.

- Ну, я готова, господа родственники. – прогнусавила божедомка.

Все как по команде на неё обернулись.

- Егорка, тащи гроб, клеёнку в подклете посмотри за пряностями. – Сказал двуглавый сыну.

Пока тот ходил за гробом, божедомка лёгкими движениями рассекла тело бабушки по бокам по линии диафрагмы, отложила шмат брюшины на еловые ветки, так же легко разделалась с грудиной и едва стала вскрывать низ живота, как замерла и, казалось, даже отпрянула. Все за столом напряглись. Обуреваемый догадкой Всеволод нащупал под рубахой пистолет и тут же пожалел, что не сменил обойму.

- Э-э-э…Что это? – несколько исступленно, словно боясь услышать ответ, спросила она.

Хозяин дома и широкоплечий с бородой мужчина ринулись к ней, едва не развернув стол, а как подбежали так и застыли. Двуглавый повернул одну голову к столу и вопросительно посмотрел на жену. Та привстала. Всеволод понял, что медлить нельзя. Чтобы отвлечь приговорённых, пока будет меняться обойма, он стал истерично кричать:

- Оконные раны! Появление крови, как появление человека! Боль! Истребление состояния, неготовность к меди! Раны бабушкины раны раны старости! Выпади в окно – они закричат, птицы закроют клювы! За окном! Звери и звериные любовники! Похоронили медную бабушку в червя, отговорили петь в вогнутом поле, съели траву, как мякоть бабушки, холодная плоть аутопсии касается моих предплечий, плеч, шеи, за… – он стал палить.

Буквально в следующую секунду комната наполнилась едким белым дымом, воплями и визгом. Всеволод палил в слепую и истерично считал выстрелы, то и дело разворачиваясь на сто восемьдесят градусов. Посыпались стёкла, и в дыму он увидел, как в сантиметре от его головы проплыла рогатина ухвата, он молниеносно выстрелил в ту сторону, и в

лицо в ответ брызнула кровь. Перестав стрелять, он в возбуждении бегал по дому, то и дело спотыкаясь о тела и натыкаясь на нехитрое убранство хаты. В гудящей тишине были слышны слабые стоны и, со двора, топот и ржание встревоженных коней. Нащупав печь, Всеволод прошёл по ней вдоль стены, отворил дверь и в тусклом свете не застланного дымом пространства увидел вжавшегося в угол красноголового парня с целлофаном в руках, в ногах его стоял гроб. Всеволод расстрелял его и вернулся в дом. Когда дым рассеялся, хата напоминала репортаж, который он видел на кануне в доме оловянной бабушки. Пол и стены были залиты кровью, повсюду, как мокрые тряпки валялись ошмётки кожи, пальцы, уши… искалеченные тела в уродливых позах застыли по странному стечению обстоятельств с раскрытыми глазами, словно бы они до последнего желали видеть, что происходит.

Всеволод ногой столкнул труп божедомки с трупа Ольги Константиновны и, как он и ожидал, увидел в глуби органов малого таза труп деревянной бабушки. Та была чрезвычайно мала, с напёрсток, округ неё росли неземной красоты полипы и белоснежные в сферах листы. «На тупую» выделив её из чрева, Всеволод сунул труп в рюкзак и поспешил на улицу. Во дворе он отвязал тройку, что мутно стыла под покосившимся подобием крыши из жердей и скалья, и подгоняемый рвущимися на цепи собаками, выехал со двора.

При въезде в город он завёл лошадей в лес и, привязав, там их бросил. Дойдя до четырёх этажного эклектичного до отторжения терема на прорезиненных сваях, резную крышу которого он заприметил ещё из леса, он поднялся по устланным ковралином крыльцу и, почуяв запах жаренной свинины и морской капусты, понял, что следующие сутки он не покинет этого места. На тереме перемигивалась цветными галогенками вывеска «Дом отдыха путника у Иннокентия». Прямо в дверях, сбросив лакею рюкзак и сильно истрепавшийся пуховик, Всеволод пометил птичками в прейскуранте: водяная кровать, баня, бассейн, массаж, мальчик (2 анус+открытая гортань), обед «брошенный табор»+ десерт «Мальвина с кровью», аудиосопровождение «у бабушки на блинах», раздражители «на гумне».

Часы, что висели в холле, показывали пять утра. К трём часам Всеволод уже лежал у себя в номере на водяной кровати, опытный мальчик делал ему минет сразу тремя анусами: двумя ректальными и одним гортанным, при этом он смешно гудел и нашёптывал скабрезности. Номер наполняли знакомые с детства ароматы и звуки: крик дергача на лугу, чиликание ласточки, удары колокола в далёкой поскотине, звон комара, сладковатый

аромат черёмухи; запах одежды и сундука, сухого сена, росного хмельника и злаков чудаковато переплетался с запахом здоровой козы, её пота, молока... Из колонок в потолке и по углам томно вздыхала корова.

Всеволод был крепко пьян, сыт и разморен. Он знал, что ближе к вечеру, когда он выспится, его ожидает баня и письма, которые он забрал у машинистов и того странного субъекта в таком же пуховике, что и у него. Эти письма, как что-то невероятно интимное, как оставленный на вечер невероятно вкусный десерт, наполняли время до вечера смыслом и сладостным предчувствием таинственного. Всеволод кончил, мальчик слизал у него с живота сперму, ещё немного пососал и прилёг к нему на плечо.

- Всеволод Георгиевич, ваше время посещать баню.

Звук репродуктора вырвал Всеволода из сновидений. Мальчика рядом не было.

Баня оказалась шикарной в славянском стиле. Огромное сложенное из брёвен помещение с земляным полом, как венком ограничивалось открытыми коробками шкафчиков. Радые предстоящей процедуре «путники», не спеша, стаскивали с себя одежду и укладывали на расписанные китайскими темами полочки. Разделся и Всеволод. Народ всё прибывал.

- О! Все неверующие собрались? – послышался зычный кабацкий голос в коридоре. – Мужик отпаривается – конь отстаивается!

Всеволод обернулся и увидел, как из-под арки вынырнул кряжистый с квадратным лицом мужик в зелёных шортах и прозрачной клеёнчатой майке, всё его несколько обрюзгшее, но всё же мускулистое тело покрывали каторжные татуировки.

- Наоборот, верующие. – скрипнул ему в ответ сухонький с выпростанным позвоночником старичок и поправил повязку, что перетягивала грыжу внизу живота. – Берёзы нарубали и вперёд. – он сипло засмеялся.

- Не гомзи, Свисток. – квадратный мужчина, широко шагая, направился к шкафчику. – Верующие сегодня в откате.

- А на конях нонче не выгодно ездить. – разматывал портянки трёхрукий с конусной грудью мужчина.

- Кому не выгодно, а ктой т и в лесе своих бросить не прочь. – придал нотку интриги квадратный. И Всеволоду показалось, что смотрит он сейчас аккурат на него.

По всему было видно, что многие из присутствующих – здесь завсегдатаи.

- А что за праздник? – послышалось из-за спин.

- Троица.

- Так и есть – Троица у старой веры новозаветников. – послышалось сразу из нескольких углов.

- Так, значит, три дня пить нужно. – заключил, уже успевший стащить шорты и майку мужик и раскатисто рассмеялся. Остальные его поддержали.

- А я думаю, чего это мне не работается с утра? А то Троица… - словно по секрету поведал Всеволоду пожилой с грудной головой мужчина и опоржнил плечевые скаты.

- Так нельзя работать на Троицу. – вытаращил рачьи глаза только что зашедший мальчик.

- Не-е-е… Работать не запрещают. Убивать, там, грабить нельзя, а работать…

- А чтой то я, мужики, слыхал, что вчерась мышей из топки кипятком выгоняли. – перебил говорившего старик с позвоночником.

- Ага. – вторил ему конусогрудый. - А тех, что кипятка не пужались кочергой изымали.

Раздевалка взорвалась смехом.

- Не бзди, мужики. – квадратный с татуировками схватил со шкафчика шайку. – Я с истопником уже поговорил. Больше вы его не увидите.

Люди снова рассмеялись.

- А что-то Мостовых ни одного не видно, Джереми. – обратился пучеглазый мальчик к квадратному. – Или ты и с ними поговорил?

- Это ктой т такой дерзкий? - тот с кривой улыбкой остановился в дверях.

- Так, бухают… - решил расслабить ситуацию трёхрукий.

- Что вы гамзите!? – так забасил квадратный, что шайки задребезжали. – У хорошего хозяина и в Троицу кол можжевеловый. – он хлопнул себя по сильной шее, словно убил комара. – Жердь осиновая. – взвесил ярко красные муди. – А вица еловая. – качнул анус и громко, со смаком выпустил газы. – И изгороди, мужики. – он погладил себя по груди. – Век износу не будет.

Всеволод не стал дожидаться конца разговора, притом, что в бане это может растянуться до бесконечности. Тем более ему уже не так сильно хотелось париться, как днём. Сейчас его скорее занимал вопрос томившихся дома писем.

Спешно попарившись, он обтёрся и в одном исподнем проследовал к себе в номер. Повесил на ручку табличку «не беспокоить» и сразу же

ринулся к рюкзаку. Разложив на полу трупы бабушек, он расправил смятые и местами влажные бумажки и углубился в чтение.

«Пальцы резали хлеб, доски – умерший лес, под забором доска, если слово – снег, а цемент – кокаин, то, что тогда кровь? Крест, наконечник. Отсутствие бабушки. Какой бы то ни было. Даже мёртвая ель скрипит, в мороз чаще едят, дерево спит, засыпанные песком. Егор уже вышел. Чего ждать? А «Алёнка» ещё в котле, ждёт, сладкие руки, горький рот, бабушка – дерево: сгнившее, старое, спрятавшееся за туалетом. Чем мы можем? А может уйти?.. »

Дальше письмо обрывалось. Складывалось впечатление, что от него оторвали низ. Всеволод поднёс срез письма к глазам и увидел на срезе микро зазубрины, как будто его отрывали, приложив линейку. Подобрав письма с пола, он перебрался на кровать и, уже покачиваясь на волнах, стал читать аккуратно сложенные в похожих конвертах письма машинистов:

«Здравствуй дорогой Игнат. Чтобы это письмо не приняли за посмертную записку, коей она всё же в некоторой степени является и, ни дай бог, обвинили тебя в моей смерти, я хочу сразу сказать, что ни ты, ни наша с тобой проблема не является причиной моего ухода. Если ты читаешь это письмо, значит, ты уже знаешь, что эта наша смена была последней для меня. Я уверен, мы много говорили эти километры, не удивлюсь, если я плакал, может быть даже желал тебя, всякое могло быть для тебя сейчас, а для мня сейчас, когда до рейса осталось четыре часа, и я вынужден встречать рассвет бессонницей и страшным откровением. Но одно из того, что будет, я всё же знаю точно – я буду рассказывать тебе сон. Пожалуйста, вспомни его сейчас внимательно, отнесись к нему, как ко мне, проникнись им. Я солгу тебе, когда скажу, что тот сон – то явь, то та грань моей жизни, за которой начинается моя личность, тот настоящий я, которого ты мог почувствовать лишь интуитивно, лишь на доли секунды в моменты наших маленьких и таких редких смертей. Вспомни мой сон, и я проснусь в тебе. Как это страшно разговаривать с тобой уже после смерти, я ещё не знаю, что там, но уже ясно вижу, как ты читаешь письмо. А ещё странно, что мы всегда вот так, ну почти так с тобой разговаривали – я говорю и верю, что мои слова станут для тебя явью, только после моего ухода. Для тебя не секрет, что я не любил мать и, даже более того тяготился ею. Из-за неё я не смог состояться, как маньяк, как женщина, как посмешище, как пьяница, я не смог устроить свою жизнь по одному ведомому мне плану, но вот её не стало…Ты, конечно, скажешь, что её не стало уже давно, и это почти так, но для меня, её не стало час назад. И, ты знаешь, я больше не хочу становиться маньяком – я хочу умереть, хочу

просто перестать быть, и ты знаешь, я всей душой молю, хотя и надеюсь, что её нет, я всей душой кричу: пожалуйста, пускай дальше ничего не будет!!!

Твой Борис.

P.S. : сделай одолжение – усмири свою плоть, потому что, если всё же окажется, что там что-то есть, я не перенесу твоей измены. Тысячу раз целую, ещё раз твой Борис».

Всеволод вложил письмо обратно в конверт, повертел его в руке – адреса не было. Он вспомнил, что достал письмо из внутреннего кармана погибшего машиниста и решил, что, по-видимому, он рассчитывал, что его найдут после смерти, которая, кстати, настигла его даже раньше, чем он мог предположить.

«Привет отец. Не спрашиваю, как дела, потому что скоро буду сам и сам всё увижу. Я бы с радостью опустил это письмо лично в твои руки, но, как назло, стоянка в нашем уголке всего полторы минуты, считай, что ничего. Я собираюсь отдать его обходчику, а он либо тебе, либо в почтовый ящик опустит. Но это всё так. Главная новость. Я сегодня еду в последний рейс. Уже твёрдо решил, что переезжаю жить в наш дом, буду работать где-нибудь в хозяйстве, ты ж знаешь - руки у меня золотые. Единственная проблема, прямо даже не проблема просто боль зубная – Борис. Ты должен помнить, я с ним как-то приезжал. Как сказать ему, что я ухожу? Постараюсь в этот рейс выбрать время и сказать. Очень мы, понимаешь, привязались друг к дружке за столько лет совместного «плавания». В общем, батя, готовь койку, да, может, заранее похлопочи в колхозе, что я умею делать, ты знаешь. Крепко жму руку твой сын Игнат».

- Хм. – скривил губы Всеволод. – Видимо, ребята ни при чём. Так, не в том месте, не в то время… Да-а. – он положил письмо рядом и обомлел: обратная сторона листа была исписана мелким, словно бы бьющимся почерком. Он показался Всеволоду знакомым.

- Красные кресла. – дрожащим голосом прочитал он. – В каждом по десять литров свежей крови, бархат и махер, дубовые кости. Скелет тукана особенно тонок на борту. ТУ-134 разбился, потеряв головы пилотов. Мирон стонет. Мясной пирог стынет. Страдает Вифлеем. Я никогда не смогу сказать слово себе, своим же ртом и в свою же душу, чем отнять затылок, руку, две жировые складки в паху, приросшую муху… Крах. Город мужчин. Перисвет ждёт. Обезумевший и не узнавший амфитамина, страшная музыка, песнь свинорылых, одна нога у Кузьмы и та у Всеволода. Бабушка из цемента и та стала деревянной. Все города растут из слёз. Слёзы – древесина мысли…»

Письмо так же таинственным образом обрывалось.

В тяжёлых мыслях Всеволод уснул с письмом на груди и проснулся с твёрдой мыслью о том, что необходимо ехать в Стрелки к Людмиле Оковне – родной бабке, и там передохнуть, а ещё у него осталась твёрдая мысль, что эта мысль пришла сама.

- А бабуля у меня-я-я... – всё ещё хмельной с отдыха в тереме «У Иннокентия» Всеволод навязчиво рассказывал о своей жизни попутчику, помятому с накладной бородой немолодому мужчине. Тот косился водянистыми глазами в окно купэ и, явно из врождённой учтивости кивал и даже иногда слабо улыбался Всеволоду. Всякий раз, когда он улыбался, на лицо падала призрачная тень бледноты. – Я ж к ней сейчас и еду нн-н-а побывку. Как в армии, ей богу! – Всеволод хлопнул попутчика по коленке, тот вздрогнул. – Как в армии. – туманно повторил Всеволод. – Да, в армии я, слава богу, уж ох в каком бородатом году отслужил, не одну пару кирзачей стесал. Да-а… А вы…простите, как вас, э-э-э…величать?

- Стругацкий Семён Ильич. – он едва заметно приподнялся.

- А я Всеволод. – радостно подхватил Всеволод. – Еду в Стрелки, к бабушке на побывку. Вот. Вроде устал, как бы. Вроде воевал, как бы и…устал. А вы…воевали?

- Только с самим собой.

Неожиданно для Всеволода и незаметной, похожей на дорожное покрывало молодой матери, что тихо сидела по правую руку со спеленованным младенцем на руках и с любопытством разглядывала их Семён Ильич расстегнул рубаху, оттянул борт пиджака и, сначала Всеволоду, а затем молодой матери показал глубокий голубо-бежевый рубец на груди.

- ?

- Утюгом вжигал. – так же водянисто, как и его взгляд пояснил мужчина.

- Выжигал? – Всеволод подался корпусом вперёд, словно его потянули за поводок.

- Вжигал. – Семён Ильич сильно надавил на «в». – Хотел сердце себе выжечь, да сил не хватило – без сознания, ап. – он надул губы и смешно ими шлёпнул. – Грохнулся.

- М-да-а…история. – покачал головой Всеволод. – Вот уж действительно, война. Даже неловко вам сейчас о своих суетах рассказывать.

- А давайте в лодыжки сыграем? – неожиданно даже для привыкшего к резким движениям Всеволода молодая мать извлекла из-за пазухи берестяной коробок и вывалила на стол раскрашенные бараньи суставы.

- А-а… – открыл рот Всеволод.

Тут двери купе отворились, и в дверях возник нескладный молодой парень с сильным явно врождённым дефектом на лице. Обоперевшись о косяки локтями он с граничащей со слабоумием добротой обвёл глазами присутствующих и уже было открыл рот, чтобы поздороваться, как тут Всеволод рассмеялся. Лицо парня вмиг побелело, он так растерялся, что локоть его соскочил с косяка, и он ввалился в купе. Всеволод всё пуще смеялся, что-то пытался сквозь смех говорить, указывал на парня пальцем и снова смеялся. Семён Ильич непонимающе на него глядел. А парень тем временем выскочил в коридор и, не закрыв дверь, рыдая в голос, помчался по проходу.

- Что вы делаете!? Дикий вы человек. Он же калека. – раздался немой голосок молодой матери. – Вы, в-вы… – он затрясла перед собой миниатюрными кулачками.

- И вправду, как-то неловко. – заёрзал на своём месте Семён Ильич.

- С-счас… – Всеволод усилием воли подавил смех. – С-счас, я в-всё объясню. У-ух, давно так не смеялся, как всё равно с горки на санях скатился. Вы видали? – он указал на распахнутую дверь. – Каков.

- Каков? – нервно передёрнула его молодая мать и сгребла суставы обратно в коробью. Обиженно добавила: – А я к нему со всей душой…

- Да. – Семён Ильич гладил пальцем лакированную крышку стола. – Нельзя так. Этот человек не виноват в том, что родился… несколько не таким, как мы, несколько иным. Но-о, это же не означает, что он не такой, как мы, просто… просто несколько инакоодарённый. Ведь жизнь это дар, нем дана в дар такая внешность, а его одарили другой, ну нельзя же за это…

- Да вы что? – даже несколько растерялся Всеволод. – Постойте, о чём вы? Какие дары? У парня костюм спортивный. Вы что не видели? Такие только кресты деревенские или быдло городское носит. А если, как у этого придурка – с туфлями бальными, то уж совсем…

- Постойте, так вас костюм насмешил?

- Ну, да. – посмотрел в его водянистые глаза Всеволод. – Особенно надпись на всю грудь «Бауэр».

- А что это означает? – несколько смягчила гнев молодая мать.

- Крестьянин.

- Вот уж истинно. – она так стушевалась, что едва говорила. – Всё познаётся в сравнении.

- Как истина в праздности. – буркнул Семён Ильич и снова отвернулся к окну.

- Пожалуй. – Всеволод вобрал полные лёгкие воздуха. – Пожалуй. Только вот праздность слишком уж, как мне понимается, праздное понятие.

- Да, масло масляное. – без злобы сказал попутчик и улыбнулся.

- Мне кажется, здесь уместнее было бы применить такой термин, как безделье. – продолжал размышлять Всеволод. – Понимаете, праздность – это что-то сродни со сном души, а во сне, не знаю, как вам, а мне хорошо, я даже, если позволите, там истинно живу. Понимаете – хорошо душе в её сне. А безделье – это скорее сон дел. Ну, нечего делать! Понимаете?

Семён Ильич кивнул и привычно уставился в окно.

- А в делах, в суете-е... – увлечённо продолжал Всеволод. – Как танкист в броне своей машины прячется. Сидит весь такой неуязвимый и себя не видит. Толи дело – в безделье. Это ведь на самом деле страшнейшее испытание для неподготовленного человека. Как вы считаете?

Всеволод плавно обвёл взглядом сначала Семёна Ильича, затем молодую мать, затем снова Семёна Ильича.

- Ну? Что вы думаете по этому поводу? Вот мне интересно мнение женщины, да к тому же матери. Меня Всеволодом кличут, а…

- Екатерина.

- Екатерина. – произнёс он в слух непривычное слуху имя и, словно стараясь его материализовать, посмотрел в потолок. – Как вы считаете, Катерина, стоит ли человеку бояться безделья.

- А вы нальёте?

Всеволод молча налил Катерине стакан портвейна и протянул.

- На мой взгляд. – девушка говорила так тихо, что Всеволоду пришлось прислушаться. – На мой взгляд, по настоящему человека можно и узнать-то только в безделье. – она сама себе усмехнулась. – Один древний, не помню его фамилии, говорил про горы, а я говорю, чтобы по настоящему узнать человека, ровно, как и человеку самого себя узнать, нужно поместить его в пустоту его окружения, то есть лишить дел. В идеале – это должно быть абсолютно несуществующее пространство, даже границ не должно быть, чтобы у него не возникало желание преодолеть их. Но это уже так – утопия, бредовые фантазии. – она в один глоток осушила стакан. – А по простому – отбери у человека дело и, коли он пуст, то будет страдать от пустоты, а коли полон сосуд, то, то…сам себя выпьет, да и отравится к чёрту.

- А ещё? Ещё варианты есть?

- Есть – понять, что пустота не вокруг, а внутри. А потом, осознав, что ты пуст, наполнить себя из окружающего великолепия таким напитком, который тебя не отравит.

- Да-а… – нахмурился Всеволод.

- А…м-можно мне? – Семён Ильич оторвался от дороги и поднял свои тяжёлые мокрые глаза на Всеволода.

- А…не отравитесь? – с доброжелательной иронией спросил Всеволод.

- А с чего вы взяли, что я пуст?

С почтительной тишиной, как и пять минут назад Катерине, Всеволод наполнил стакан и протянул:

- Вот так бы сразу. А то сидите, как на допросе. Возьмите колбаски. – он учтиво кивнул на кусок варёной колбасы. – Берите, не стесняйтесь.

- Да уж нет, спасибо. – как-то вдруг насупился Семён Ильич.

- ? – не понимая, уставился на него Всеволод.

- Понимаете. – размазано протянул Семён Ильич. – Я в молодости на одном большом, правда, не очень легальном заводе трудился, по производству колбас, сосисок, ну, и всего прочего, там. Так вот я вам такое расскажу. Вахта моя заключалась в том, что бы следить за подачей мяса в мясорубку, огромную такую мясорубку, ну, метров двадцать в диаметре, не меньше. Там мосточки такие, мостики, кабина моя. И вот знаете, как это чаще всего и бывает, всё предусмотрели, а главного, как водится, нет.

- ?

- Не догадались? Удобств нет.

Катерина негромко рассмеялась.

- Да-да – удобств. А по инструкции, я не имел права отлучиться с дежурства больше чем на три минуты, чего при самом благоприятном раскладе не могло хватить на то, что бы сбегать на первый этаж и там, в туалете совершить свои, так сказать, дела. И я сначала, первую смену мучался, аж, помню, извёлся весь. А вокруг всё из железа, пол, шкафчики, станки, ничего лишнего. И я как-то поинтересовался у коллег, а таких мясорубок одновременно работало шесть штук, как они с нуждой-то борются. А они так рассмеялись, говорят, салага ты, так терпеть будешь, через год член стоять перестанет – поливай в мясорубку, там всё равно оборот такой, что ты там погоду не сделаешь. А ежели по большому? Спросил я. Туда же, дружно сказали они и снова хором рассмеялись. Так вот, дорогие мои попутчики, за свои семь лет службы я туда срал чаще, чем в унитаз. Вот так вот. Но это ещё пол беды. Понимаете, работали там исключительно нелегалы: беженцы всякие, заключённые беглые, ну, вы

понимаете, не регистрации, ни документов. Так вот раз пропал один мой коллега. Ни на работу ни является, ни в общежитии не ночует, а на его месте другой околачивается. Ну, я подумал-подумал, да и забыл. А потом, вы только представьте, уж многие десятилетия спустя, уже на зоне, встретил я одного своего бывшего коллегу, так тот по крепкой пьянке мне и шепнул, что, дескать, своими глазами видел, как тот, поскользнулся, да в котёл и угодил. Говорит, прибегаю, а его уж ножами в фарш перекручивает всего. Я начальству, а тот – кому скажешь, сам в том котле окажешься. А ещё обмолвился, да это уж совсем вскользь, ведь он там самый старейший рабочий был, что, дескать, любили местные братки трупы ненужные к нам на фабрику возить. Догадайтесь зачем. Так что вот такая колбаска. А ежели застоится что или уж порченное придёт, так простое решение было: пускаем в оборот, хорошенько специями стравливаем да и название даём какое подходящее, вроде «Колбаска пикантная» или «Мистер перец»…

- Какой ужас, Семён Ильич, лучше б вы мне этого не рассказывали.

- Да уж. – Всеволод с подозрением посмотрел на колбасу.

- По-вашему, так лучше вообще ничего не знать. – несколько оскорбился Семён Ильич. – Жить в спичечном коробке, которым торгуют и рано или поздно продадут или подожгут. Лучше!? Лучше!?

- А альтернатива?

- Альтернатива… Альтернатива есть всегда. И знаете, что интересно. – продолжал, всё более раздражаясь, свой рассказ Семён Ильич. – Я ведь совсем недавно на той фабрике был. Ничего не поменялось. Даже в сторожах работает мужичок, который меня срать с мостика учил. Поседел весь, спился. Посмотрел я цеха – всё, как было во времена моей молодости, даже станки те же, только выкрашены в другой цвет. А вы, как я понимаю. – Семён Ильич сам оборвал затянувшуюся тему и пригубил. – К бабушке от пустоты едете?

- Да вот, как раз наоборот – дел столько, что не разгрести. И тут уже, я видимо, без всякой философии, просто еду отдохнуть, с родным человеком повидаться, душой, скажем так, отогреться. У меня бабушка, знаете какая? Я вообще из Сибири. Там родился, там и вырос. Дед у меня рано погиб – его при облаве в одном ночном клубе завалили.

- А за что?

- Дурь толкал. – скривил губы в виноватой улыбке Всеволод. – Да он, как мне рассказывали, и не кидался, просто его по заказу завалили, вроде как под шумок, а на самом деле… Ну, вот и рос я с бабкой.

- А родители?

- А я не биологический.

- Да? – в один голос сказали попутчики.

- А так и не скажешь. – Катерина вытянула голову, чтобы получше рассмотреть Всеволода.

- Обычно все так и говорят. – усмехнулся он. – Не похож – говорят. А я говорю: на деда свого похож и это главное. А бабушка меня и баловала, не растраченную любовь свою к деду на меня изливала. Бывало, я ещё с постели не подымусь, а она уж в тайгу сходит, медведя завалит и в дом тащит. Только я глазоньки свои ребячьи продеру, а глядь: он родимый стоит ко мне попкой, великан, хозяин тайги и попкой ко мне мохнатой повёрнут, и даже надрезан, как положено. Вот какая у меня бабушка. И я так, знаете, прямо из-под одеяла, как нырну в него, счастливый, беззаботный! Нырну и ем его: брюшину выедаю, грудной отдел, а как до сердца добираюсь, кричу!: бабушка, нашё-ё-ёёл!!! И она тут же разрывает, представьте, голыми руками ему грудь, ревёт, как умалишённая, вгрызается зубами в сердце мною протянутое, затем хватает меня на руки, и уже мы вдвоём в медведе купаемся. А вечерами она мне всякую одежду из шкур выделывала. Да…Как вспомню, слёзы наворачиваются. – подбородок Всеволода задрожал. – А я, говно, семнадцать лет к ней не то что не приезжал, а даже письма сраного не написал, не позвонил даже… А ещё «кумов» она для меня закручивала. Сымет бывало косынку, или исподнее какое да и выкручивает руками умелыми: то зайка у ей с тремя ушами получится, то кенгуру, но в почёте были «кумы». Навертит она их с десяток, на столе расставит, да кулаком, как грух! Грух! Гругу-гу-гух!!! – Всеволод увлечённо загрохал кулаком по столешнице. – А они и пляшут и подскакивают, кругами плечо в плечо вышагивают. Грух! Гру-гу-гу-гух!!! Вот такая у меня бабушка!

- А что ж она?

- А я как телефон сменил, так и не разговаривали мы. Да я уж раз пять номер менял. И ведь какая скромная была она у меня, терпеливая. – Всеволод сокрушённо покачал головой. – Вот вы только представьте – дом у нас трёх этажный, даже четырёх, если подвальные комнаты учитывать, не дом, а шатёр, короче, зал огромный – на телеге разъезжать можно. И во всём этом богатстве я один жил. Да-да. Бабуля себе только чуланишку небольшую отвела, ну, вроде «тёщиной комнатушки», как в народе говорят, и там и жила, тише таракана жила, за мной глядела. Медведей мне из тайги водила… – на глазах Всеволода проступили слёзы. – А-х… а… сейчас, вот знаете, друзья, по миру то поездил, да почитал писем, что бабушкам их благодарные внуки шлют, да как посмотрел на тех бабушек, что памятью о себе нетленными стали… стыдно мне сделалось, ой как

стыдно. И, представляете, как всё равно судьба мне ниточку бросила, как всё равно проведение: письмо мне одно в руки попало, и, как током меня, всё равно пробило, во. И поехал я тогда, и поехал, пое…

- А у меня мужа слон растоптал. – сама себе сказала Катерина.

Повисла многотонная пауза, и в возникшую тишину ворвался стон позвякивающей о стакан ложечки.

- А я только из тюрьмы вышел. – нарушил тишину Семён Ильич.

- А-ха-ха-ха. – рассмеялся Всеволод.

Катерина удивлённо на него посмотрела.

- Чего? – сквозь смех уставился и Всеволод на неё.

- Да так. – она поправила свёрток с ребёнком. – Начинаю привыкать, что вы смеётесь над тем, что ещё не сказано.

- А, вы про это. – вытер слёзы Всеволод. – Я просто до того, как к бабушке поехал в тюрьме вертухаем служил. Вот тебе и каламбур – тебя из тюрьмы выпустили, а я из тюрьмы ушёл.

- Что-то не разгляжу я в этом никакого каламбура.

- Действительно, Всеволод, ерунду какую-то сказали и смеётесь. С крестьянином и то яснее было. – слабо улыбнулась Катерина.

- Ну, ладно-ладно, будет вам.

- А там где я сидел не было вертухаев.

- В Коломенном квадрате, небось? – со знанием дела произнёс Всеволод.

- Да, там всё автомат, вплоть до начальника тюрьмы.

- Ну, это утка, не верьте. Есть там начальник, и я даже фамилию его знаю.

- Ну, да бог с ним. Я, наконец, на свободе. – произнёс это Семён Ильич вроде бы и звонко, но с ноткой угнетённости. – Вот вы давеча о безделье говорили. Я внимательно вас слушал, правда, отвернувшись в окно. Но то не из нежелания с вами общаться, просто это, как бы это сказать, несколько больная для меня тема. Понимаете, я ещё в пути. – он так посмотрел на присутствующих, что стало понятно, что последняя произнесённая им фраза сакральна. – Я на пути к пустоте. – пояснил он. – И, вот как на духу вам сообщу, я очень рад, что на этом пути я повстречал вас. А вообще, страшно: вернусь домой, в пустую квартиру, в пустой город, в пустой мир. Да-да, мир. Ведь из моего пустого окна он, несомненно, будет казаться чудовищно пустым. Я, знаете, некоторый отрезок своей жизни жил как все, так сказать в делах, в броне, как вы давеча выразились. А ведь это действительно броня, мне сразу, как вы сказали, понравилась эта мысль. Мы настолько отвыкли анализировать всё кроме себя, кроме истины себя, в

которой вобрано всё. Ведь не даром, чем менее прожил человек, чем менее он знает, чем менее читал и узнавал, я сейчас говорю о детях, тем эгоистичнее они уверены в единичности и, даже неосознанно, уникальности своего существования. А потом, когда мир всё же заставляет поверить в то, что ты не один, думать об этом, а ещё не приведи господь, говорить – да это же просто неприлично. Мы – коллектив, делающий одно большое дело, и это дело, как ни странно, ни какого отношения к сущности человека не имеет. Ну, это же парадокс. Всеволод, Катерина, поймите, мои дорогие попутчики, если меня впервые за сто десять лет, что я топчу землю, эти мысли посетили лишь на подъезде к безделью, то, что будет, когда я с головой окажусь в его пасти. Да я же сопьюсь или с ума сойду.

- Вы отравитесь. – напряжённо промолвила Катерина.

- Отравлюсь. – тихо согласился с ней Семён Ильич. – По-этому срочно же, срочнейшим же образом, сразу по приезду, не заходя домой, я отправлюсь на поиски работы, и сразу же, как устроюсь, я стану по вечерам выпивать и смотреть телевизор, в по выходным заведу привычку: летом огород, зимой баня, осенью и весной театр. Как вы считаете, я смогу побороть себя?

- Такими изуверскими методами вы не только себя поборете, но ещё и, глядишь, детей догадаетесь завести.

- Это верно… – ещё больше сник Семён Ильич. – Так что ж делать?

- Ищите источник с целебным напитком. – повторила свою мысль Катерина. – Даст бог, найдёте.

- А ежели не найду?

- Тогда спивайтесь. – Катерина со скоростью пантеры подскочила к окну и выбросила в открытую форточку свёрток с младенцем.

Отдышавшись, она вернулась на место и, потупившись, произнесла:

- Если после всего того, о чём мы с вами сейчас, я уверенна, искренне разговаривали вы выдадите меня милиции, я навсегда разочаруюсь в людях. – и тут же, как будто ничего не произошло, добавила: - А за что вы, Семён Ильич, срок мотали?

- За-а-а… – Семён Ильич поднял водянистые глаза в небо. – За убийства. – и захихикал.

- А чего вы смеётесь?

- Да так. – он махнул ладонью. – Людей наубивал тьму, как посчитали следователи, а на самом деле почти все они сами умерли. Вот такая не состыковочка. Жил я с родителями, а один из них оказался и вовсе не родителем, а родителем был другой, а у него…

- Семён Ильич, а можно поподробнее. – заёрзала от любопытства Катерина.

- А как звали? – Семён Ильич кивнул на окно.

- Аркадием.

- Угу. Я как чувствовал, что без совпадений здесь не обойдётся. Я вообще заметил, что там, где собираются трое или, уж тем более, больше трёх, там, если капнуть столько общего соберётся, что не вольно в голову лезут глупые мысли о судьбе или предназначении.

- Да, бытовуха. – хмельно и словно бы расстроенный этой мыслью выдохнул Всеволод.

- Именно бытовуха. Вы очень точно подметили. Все мы по большому счёту возимся одинаково. Кто-то одинаково мелко, кто-то одинаково глубоко.

- И заметьте, если уж и собираются, пускай даже случайно эти трое, то очень малая доля вероятности, что возятся они на разной глубине.

- Да, эхо классового деления. Понимаете, мне кажется, что это всё же некоторым образом заложено в людях от природы.

- Что заложено, я потерял вашу мысль. – прищурился Всеволод.

- Ну, классовость. По-моему делиться и собираться в отобранные массы это естественно. И очень мне непонятно, что всегда находится группка, которая желает этот естественный ход вещей нарушить.

- Да, и как правило выгоду себе из этого и почерпнуть.

- Но я отвлёкся. Аркадий. – Семён Ильич снова кивнул в окно. – Так звали любовника моей матери и моего биологического отца. Я жил тогда с мамой и Максимом Ивановичем. Я всё равно буду краток, мне очень неприятно вспоминать эту историю. Но, в ответ на вашу откровенность я тоже буду откровенен. Первой умерла мама. Вы только не пугайтесь – я надел её. – Семён Ильич убедился, что не шокировал присутствующих. – Вы меня поняли? Я. Надел. Её.

- Ну. Одели умершую, не голой же её хоронить. – вдруг раздражился Всеволод.

- Вы не поняли. Одеть можно кого-нибудь. А я надел. Как плащ надевают, как телогрейку.

- То есть вы на себя надели мать? – спросила Катерина. – А я что-то слышала о таком явлении.

- А следователь, по-видимому, не слышал… – заключил Семён Ильич.

- Постойте. Я что-то не пойму. – замотал головой Всеволод. – Во-первых, если ваш отец Аркадий, то почему вы Ильич, а во-вторых, как это всё-таки надеть, человек всё-таки не плащ.

- Я поясню. Поясню на сколько это возможно. Во-первых, после выхода из тюрьмы, я по заведённому у них обычаю выписал себе документы на другое имя. Это, во-первых, а во-вторых, со смертью матери я пережил сильнейшее потрясение. Вы даже представить себе не можете, что это было. Мама была для меня всем. И я, совершенно не осознанно, как, ну, как стигматы возникают у фанатиков, как кровавый пот, я и в себя пришёл уже тогда, когда был в ней. Я очень не хотел её потерять. И вот представьте – я в её теле. Вижу её глазами, слышу её ушами и даже, простите, в туалет хожу её же внутренностями и её же фекалиями. Но, очень скоро я пожалел, что сделал это. Я узнал, что она изменяла Максиму Ивановичу, причём уже на протяжении многих лет.

- Так вы всё время находились в ней?

- Нет, что вы. Я научился выходить и входить, когда только пожелаю. Вы слушайте. Когда умер Максим Иванович…

- Это ваш отчим?

- Не совсем. Я же не знал, что он не настоящий мой отец. И вот только после его кончины, уже живя и в нём, я узнал об Аркадии, об их с мамой обмане. Я всё это жутко переживал, страдал, устраивал им очные ставки, заставил Аркадия извиняться. А потом меня понесло, я как умалишённый влюбился в его внучку, её я, этого я и не отрицаю, всё-таки убил, это мой труп, и я этого не отрицаю, её я всё-таки убил, и надел её и некоторое время даже жил с ней как с женой. А потом, я всё-таки, путём сложнейших манипуляций организовал всё так, что оба мои родителя, Аркадий и мама, и я с ними, мы оказались на крыше, я надел их обоих, поверьте! Это было настоящее откровение! Это…это…я даже не возьмусь пересказывать, но-о-о, когда мы оттолкнулись и оказались в свободном падении, я вдруг как никогда ясно почувствовал себя единым неразрывным целым со своими родителями. Поверьте мне: это божественно… А когда мы упали, я вывалился из них, сильно переломался, у меня была клиническая смерть или просто дух на время покинул меня, не знаю, но в какой-то суматохе меня тут же вместе с родителями сгрузили в морг, а там, уж как и бумаги всякие подготовили, я прочухался, меня в оборот взяли, и вот…теперь по прошествии стольких лет я с Семёном Ильичём домой…еду.

Лицо Всеволода вытянулось:

- Что значит с Семёном Ильичём?

- Хм. Проговорился. – он сконфуженно почесал переносицу и вдруг как-то моментально покраснел.

- Что с вами? – забеспокоилась Катерина.

- Как я понимаю. – Всеволод хрустнул суставами пальцев. – Мы здесь, за эти полтора часа, как едем, успели не плохо повязаться кровью.

- По-моему, пока только Катерина с нами…повязалась. Да и мне, видать, не отвертеться. А от вас, Всеволод. – Семён Ильич подошёл к двери и щёлкнул собачкой. – Кроме рассказа о том, как ваша бабушка на медведя ходила, мы ничего не услышали.

- Не услышали, так услышите. Всего я вам, конечно, не скажу, по, как это ни предсказуемо, по двум причинам: первая – всего я не помню, а вторая – моя кровь во сто крат покроет кровь убиенного Аркашеньки.

- А кто вам сказал, что на мне только Аркашина кровь!? – вспыхнула теперь уже Катерина. – Я, когда мы с мужем на промысел ездили, просто так, без причины заманила в лес одного мужика, убила его, а потом отрезала его голову и выбросила на шоссе.

- Что, прямо так и выбросила? – в третий раз Семён Ильич кивнул на окно.

- Ну это уже маньячество какое-то. – надулся Всеволод.

- Ну-у, не просто так. Я собиралась её на капище отнести, да и, коли уж так сошлось, в жертву принести, да по дороге крепко выпила и…потеряла. Я в сумке её несла хозяйственной, да как-то…

- Так бы и говорила, что потеряла, не на допросе, чай.

- Ну, потеряла и потеряла, чего уж…

- А ещё я церковь спалила с прихожанами, там столько народу погорело.

- А я слышал! – аж подскочил на месте Семён Ильич. – Это в Дубне. 57 душ загубила.

- Сильна малютка. – покачал головой Всеволод.

- Так… – Катерина посмотрела Семёну Ильичу прямо в лицо. – Кто такой Семён Ильич?

- Семён Ильич. – замялся он. – Семён Ильич мой друг. Мы вместе сидели. Он на год раньше за меня вышел. Остался там жить на поселении, меня дожидался… собирались на Восток вместе ехать за ртутью.

- Постой-постой. – Всеволод пальцем указал ему на рот. – Дай угадаю. У него овальная с седой залысиной голова, носик клювиком…

- Как у воробья. – охотно подхватила его игру Катерина. – Реденькие рыжие усики.

- И мокрые на выкате глаза. – Всеволод лукаво подмигнул.

- Эй. Выходите. Как вас там? – Катерина заглянула Семёну Ильичу в глазное дно.

- Теперь уж придётся. – твёрдо подтвердил Всеволод.

- А вы. Вы чем нас порадуете? А то я смотрю, мы тут теперь вдвоём с Катериной, как там, возимся. Только вот пока не пойму, глубоко ли или мелко. А вы, дорогой попутчик, пока как дитя невинное. А заметьте, сами же нас во всё это и втянули.

- Я? – встрепенулся Всеволод. – Да всего у меня хватает. Я-я-я, ну как минимум, изнасиловал и убил сотни полторы мужчин. В одной только колонии, где я работал, сотню, ну не меньше я изнасиловал, а потом подставил всё, как убийство при побеге или самоубийство.

- Сотню!? И вас не вычислили?

- Ну, там целая схема, понимаете. И товарищи мои были не прочь побаловать, да и администрация в некоторой степени была заинтересована. В общем, с молчаливого согласия. А недавно я поезд расстрелял, выбежал на пути и расстрелял машинистов. Вам достаточно? Выходите. – он жестом приказал Семёну Ильичу встать.

Но тот замялся:

- Понимаете, я там в нём голый и…и-и-и…мне неловко…перед Катериной.

- Ой, да бросьте вы. – та закрыла расползшийся в улыбку рот с коричневыми зубами. – Я ж бывшая мать. Чего я там, право, не видала?

- Ну, всё-таки, я так не могу.

- Так, прекратите! В конце концов, теперь уже даже не смешно. Мы, значит, с Катериной кровью повязались, а вы только на словах рассказали какую-то сказку, а мы верь? Не пойдёт так. Немедленно выходите. Кстати, а как ваше настоящее имя?

- Андрей. Андрей Аркадьевич. – просопел Семён Ильич, но по-прежнему оставался сидеть, стыдливо зажавшись в локтях.

- У меня мысль! – Катерина захлопала в ладоши. – Хотите я, чтобы вы меньше смущались, разденусь. Сначала я раздеваюсь, да и вы, пожалуй, тоже, Всеволод, раздевайтесь. Тогда он не будет смущаться.

Катерина в одно движение стащила с себя сарафан, лиф и трусики, обнажив бледное стройное тело с чёрными похожими на чернослив сосками и выпирающими из промоин рёберными захватами. Немного поколебавшись, Всеволод разделся до трусов.

- Ай, бог с вами. – Андрей Аркадьевич жестом руки Семёна Ильича дал понять Всеволоду, чтобы тот не раздевался дальше, приспустил брюки, и вышел. – Ну вот, собственно. – уже своим голосом сказал он. – Вот он я.

Всеволод сидел ошарашенный увиденным. Полный, не понятно как помещавшийся в довольно субтильном теле Семёна Ильича Андрей Аркадьевич весь в сине багровых слежавшихся складках по-детски

умилительно щурился на свету и, прокручивая голень в коленном суставе, переставлял то одну ногу, то другую.

- Охуеть. – только и смогла вымолвить Катерина.

- А я до последнего не верил, думал вы дурачитесь. – Всеволод по привычке обращался к Семёну Ильичу. Но тот с застывшими глазами и приоткрытым ртом стоял, подавшись вперёд, словно его насадили на кол.

- Вот так вот. – как заклинание повторил Андрей Аркадиевич и, усмехнулся. – Ну, что ж, кровью мы повязались, голые вот сидим тут в тесном купе. – он положил ладонь Катерине на бедро. – И ехать нам ещё часа два.

- А-а… – Всеволод протянул к нему руку и коснулся плеча.

- А вы, любитель секса с мёртвыми мужчинами, обратите свой взор на моего друга. Рекомендую. – и он проведя ладонью по шее засунул в рот Катерине свой кряжистый палец.

Избавившись от трусов, Всеволод уложил труп Семёна Ильича на откидной столик, стащил с него бельё и, закинув сухие ноги себе на плечи, мягко вошёл тому в анус. Ещё тёплый тот легко поддался и туго обхватил своим кольцом головку. Всеволод упёрся ногами и задвигал тазом. Андрей Аркадиевич же в свою очередь предавался усладам с Катериной.

- Подумать только. – запыхавшийся, счастливый, растрёпанный, секунду назад испустивший своё семя Семёну Ильичу в рот Всеволод откинулся на подушку. – А ведь этого всего могло и не быть!

- Угу. – согласился Андрей Аркадьевич и мощным фонтаном спермы залил Катерине грудь. Выделители гнусно зашипели.

- Не окажись я таким настойчивым. – всё ещё борясь с отдышкой, вещал Всеволод. – Катерина такой впечатлительной, а вы, Андрей Аркадьевич, таким совестливым.

- Три кита, три, мой дорогой, не спроста была рождена эта древняя, ровная и плотная, как долонь в гумне метафора. Не спроста.

Прямо с вокзала, едва коснувшись носком ботинка родной до боли знакомой всем: запахом, цветом, узором – земли, Всеволод окунулся в прошлое.

- Вот уж действительно – ровное и плотное, что б ни одно зёрнышко не просочилось. – он завращался в густом деревенском воздухе.

Словно бы его снова сначала закутали в пропахшие хлоркой тёплые анучи, затем, уже начавшего ходить, под неусыпным контролем деда пустили изучать двор, затем сомкнули огромные с блюдца дубовые пуговицы на груди волчьей шубы, вручили самодельные санки и, с группкой соседских мальчишек, отправили на первую в жизни снежную

горку, и сразу же, не дав опомниться от жарких объятий бабушки, вдень проводов на службу, упал Всеволод на обнажённую, полную вожделения, от сока кажущуюся голубой грудь жены…

- Б-х-оже. – выдохнул Всеволод. – Я не был здесь семнадцать лет.

Едва он вышел из леса, взору открылся чудесный вид: родимое знакомое до последнего бугорка поле – лицо бабушки, огибающая кладбище сеновня, затем гумно, далёкая мельница у осоковой речушки, а после и сама деревня: пёстрая скатерть домов, амбаров, бань, погребов, поленниц, рассадников, хмельников… Деревня была видна сейчас, как на ладони, она медвежьей шкурой раскинулась в долине, дикая, ершистая, дышащая, с трёх сторон подпираемая лесами. Между косых берюзово-сиреневых холмов торжественно возлежал протоптанный много веков назад большак. Крутой беспощадный – он с наступлением морозов превращался в настоящий раскат. Сколько лошадей оставило здесь свои головы и ноги! сколько мужиков пересело в инвалидные кресла, не говоря уже о превратившихся в хлам беговых дрожках заезжих лихачей.

Казалось, что дух весны, вот именно сейчас абсорбировался, сплочился и как скринку молоком наполнил своей новорождённой любовью сию чашу, сии Стрелки, где, для того, чтобы можно было сказать: «здесь со мной случилось всё» – осталось только умереть.

Кое-где голубыми пятнами виднелся приговорённый к смерти наст, буравлемый молодой травой, он расползался и, питая благодатную не видавшую шин почву, таял. Домики, как игрушечные, как на ладони, нарядные, ладные, словно живые существа радовались вместе с хозяевами столь ранней весне. В распахнутых изрядно поредевших за долгую зиму зевах поветей суетились сновальщицы, выставляя малые воробы и меняя их на большие. По дворам пестрело смоляное сито ям, раскрытых солнцу. Всеволоду сразу пригрезелись те, похожие на островки миражи памяти, в которых, как те сновальщицы мерцали движением приятно ноющие угольки тепла – долгие зимние сумерки, скреб домового из-за печки, заунывное пение сверчка, скука и томление – и восторг блаженства и ожидания, когда с обхода, как правило к паужне, возвращался дед и вместе с клепцами для ловли зайцев и стойким не покидавшим хату до утра морозным ароматом сосновой иглы, приносил надежду на счастье, маленькое, почти секундное, почти сексуальное… Огромный, обычно молчаливый и скрытный он скидывал увесистый армяк, валенки, разматывал портянки. Всеволод с соседской вислядью ждали. А он, не спеша умывшись, подходил к иконе, осенялся, зачем-то брал в руки лежавшую на столе газету, тут же клал её обратно и, посовещавшись с

женой, отправлял старшего Павлика в яму за сладостями. А там, в этом вкопанном в землю, таком казавшемся тогда сказочном срубе: брюква, морковь, репа, свекла… Какой же это был праздник – сходить зимой «на яму»! Никогда больше ни в какой сладости не доводилось испытывать Всеволоду такого безотчётного неконтролируемо-животного наслаждения.

А деревня всё раскрывалась перед ним.

Тут и там были слышны перестуки плотничьих топоров: то на одной крыше, то на другой блестели потом и играли мышцами мужики, сверкали натёртые голенища топоров, играли на солнце топорища… Как большой муравейник гудела деревня, и взгляда своего не в силах был отвести Всеволод: то там то тут бабы холсты на настах выбеливают, вытаскивают, вытряхивают из погребов весь запылившийся за долгую зиму хлам, перебирают картошку. На долгих, не видных с далека верёвках млеет под солнцем одежда: тулупы, армяки, рубахи, сарафаны… – боится моль солнца. Кто-то палкой сталкивает с кровли снег. Стайка ребятишек вбежала в поле, все как один стянули рейтузики и сели голыми попами на землю. Сердце Всеволода сжалось: он вспомнил себя, как он, так же, как и эти ребятишки, стараясь помочь старшим мужикам, угадывал, готова ли земля принять зёрна.

- Выйди в поле и сядь на землю голой задницей. – вспомнил он слова бабушки. – Сразу узнаешь, пора ли сеять или погодить следует.

Но ройда[24] уж сошла, и по всему видать, зря ребятишки анусы студят.

Вдруг, грохоча пудовым латунным колоколом, откуда ни возьмись, показалась корова, завидев Всеволода, она подняла тяжёлую голову и, отогнав хвостом овода, глухо, почти рыча, замычала.

- И тебе здравствуй, красавица. – умилился Всеволод.

- Что ж ты, мил человек, с коровкой-то здоровкаешься, а человека и не замечаешь?

- Ой, дядя Иван!? – Всеволод аж рюкзак выронил из рук.

Дедушка в, непонятно зачем нацепленном в жаркую хоть и ранневесеннюю пору дождевике недоверчиво сощурился.

- А ну-ка. – он, таща по траве кнут, приблизился к Всеволоду. – Тал-а-аашки-и-ин…

- Я Вс…

- Подожди, не торопись. – он оценивающе всматривался, как в новую витрину. – Вижу, что Талашкин – носатые вы все без меры. А вот который, вот те крест не вспомню.

[24] ройда – мерзлота

- Всеволод я, дядя Иван! – широко улыбнулся он. – Георгия Тимофеевича внук.

- А! Жорки!? Но я и вижу, ктой т из его косточки.

- Да. – радостно заплыл Всеволод. – А денёк-то нонче ведренный[25] выдался!

- Что ж ты на погоду сразу соскочил, аль скрываешь чё?

- Пошто вы так, дядя Иван? – задорно сощурился Всеволод. – Весь я пред вами, как на длани беспалой – не спрячисси.

- И то верно – ровно балакаешь, по нашенски. А ты что ж это насовсем?

- Не знаю ещё, как карта ляжет.

Тут у Ивана зазвонил телефон.

- Ага. – крякнул тот в трубку. – Алё?

- Иван? – затрещало в трубке. – Ты гдей т?

- Это ты Купалина?

- Ты гдей т, спрашиваю?

- У-у, дурак старый. – Иван зажал трубку рукой и, гримасничая, прошипел Всеволоду. – Хотел же дома оставить, да запамятовал. И уже в трубку: - Я, Купалина Ефимовна Мурёну выгуливаю.

- Она что собака, что б её выгуливать!? Поставил в поле и буде!

- А как уведут?

- Кто уведёть?

- Так уводили ж.

- Так то пять лет назад было. Ты б ещё чего вспомнил, леший старый! А ну быстро, Мурёну в поле, а сам впрягайся да за пыжами для бани съезди, да заодно скалы на дёготь отщепи. Уж третий день обещаниями кормишь. Затем лап еловых скоту под брюхо наруби, да дров сушняку!

Иван демонстративно зажимал микрофон ладонью и в пол голоса чертыхался.

- …да капканы не забудь по пути подобрать! – монотонно вещала трубка. – Затем к Сидору сходи, пособить просил. Они с сыном лодки смолить будут. Уже варить начали…

Тут Иван не выдержал и выключил телефон.

- Села батарейка. Села батарейка. – игриво заулюлюкал он, и, похмурнев, добавил. – А ехать всё равно придётся.

Всеволод глядел, умилялся, и слёзы сами выворачивались из глаз.

- Дха-а…Вот такое чувство, будто и не уезжал. Ну, ничего ровным счётом не поменялось: те же луга, хаты те же, только по наряднее малёк, да и вы тот же, вот как уезжал, помню, были вы седенький, да в кепке, так и

[25] ведренный – солнечный

сейчас, да и ритм у вас тот же, чувствую это, в городе, за те семнадцать лет, что я там прожил, всё аккурат в семнадцать раз и ускорилось, даже страшно подумать, что дальше будет, а у вас…

- Ну не скажи. Ты, Сева, всех под одну гребёнку-то не ставь. Мы, люди деревенские, конечно перед вами городскими, как забор кривой да не ухоженный выглядим, я то понимаю – рылом, это, так сказать, не вышли...

- Дядя Иван…

- Не перебивай. Знаю, что не вышли.

- Тише, тише, Дядя Иван. – Всеволод, замерев лицом, задрал голову вверх. – Слышите?

- Чево? – сощурился и он.

- Словно точка в конце долгого романа в небесах повис жаворонок. – с выражением процитировал вычитанную где-то строчку Всеволод.

- Чево?

- Красиво. Жаворонок – точка, большак – слово, деревня – предложение, человек – роман, жаворонок – точка…

- Эй, Сев, ты в порядке?

- В прядке, дядя Иван.

- А-а. – понятливо кивнул он и продолжил: - Да, вот только и вы, городские, для нашего брата тоже, так сказать, на одно лицо – ленивые да на баб похожие. Про жаворонков тут рассуждаешь да про человеков. А всё ж живые твари, под небом энтим, как под одеялом ходим, грешим, спим, думаем, не шубное, не кудельное, а… а медведь целиком будто зашитый в ём, такое одеяло энтое непонятное, да и из-под одеяла вылазить-то и не желаем. Вот ты говоришь, каким я был, когда ты уезжал, таким, дескать, и остался. А ты знаешь, что я за те двадцать лет двух жонок схоронил, что сын у меня уж восьмой год, как в мертвецах ходить, всё по деревням валандается – людей пугаитть, а ко мне сунуться боится. Как уехал в тайгу на стройку, так и с концами.

- А что ж давно тётя Лида померла? – вмиг протрезвел Всеволод.

- Да, как сговорились. – всплеснул руками Иван. – Обе мои жонки: Лидия Тимофеевна и Тамара Ивановна, как сговорившись на Герасима-грачевника и померли. Только Лида совсем ещё в соку была, а Тома-то болела долго. А, это, давно ли, как ты уехал, так через три года, считай. – и грустно добавил. – Нельзя, брат, весной помирать. Нехорошо это. Ладно, пойду я. – он не глядя пожал Всеволоду руку и побрёл за Мурёной.

Всеволод спустился к деревне. Вот и мельницу уж видать, по всему видно – не рабочую, облюбовали её голуби. Идёт Всеволод и чувствует, как с каждым шагом легче ему делается, как словно несёт его кто под локти,

как словно целебный нектар вливают в его уставшее тело да его же за это и благодарят. И представляется Всеволоду, как он, позабыв обо всём, что с ним в жизни было, открыв жизнь свою с нового листа, раскрывшись и приняв всю недополученную благодать, идёт с мужиками в поле, как роса мочит и воскресает босые ступни, будто и не ступни у него вовсе были до того, а культяпки гнойные, как беспомощна и оттого добра к нему рассветная крапива, как беззащитен и как гармоничен мир в нём, и он в мире, как хорошо! взвыли гужи, взнёсся запах дёгтя к его ноздрям, задрожали сошники на мелких камушках, пахари, то там тот тут перегукиваются, и грачи-богатыри в свежую борозну как в масло сливочное с головой погружаются…

- А ну, гойда!!!

Близкий возглас выбил Всеволода из таинства мечтаний.

- Гойда, я сказал!

Из-за поворота показалась телега с пол дюжиной вершей. Мужик на козлах страстно размахнулся и приласкал кобылку розгой.

- Ты что ж без кнута рассекаешь?! – уже полностью ощущая себя деревенским, с вызовом окликнул мужика Всеволод.

- А тебе что за дело? – не умеряя трусцу, покосился на него мужик.

- Чего ж не здоровкаешься, Игнасио?

- Прости, милый. – он осадил лошадь. – Делов по сопатку. А я тебя признал, ты Талашкиных внук. – и снова набирая ход, скороговоркой: - Вот-вот щука на нерест попрёт: нужно поспешать на озеро ловушки ладить. Да ещё тёща, будь она неладна, подрядила в чащу съездить, поме-ети-ить дере-ева-а-а по-о-од со-о-ок… – уже издали кричал тот.

И понял Всеволод, что деревня – это чистый и светлый ключ, родник из освещённой воды, что уже многие годы являлся ему во сне под личиной гнилых трупов, малолетних детей и железнодорожных катастроф: исцеляющий, всепоглощающий…

- Здравствуйте, Пелагея Карповна. – поклонился он до земли.

- Ой!? Севка! – тучная немолодая женщина с раскрытой головой и, прикрытыми пуховым платком атавизмами клешней на плечах остановилась, как вкопанная. – Ой.

- Ну, здравствуй!

- Здравствуй!

- А это…твои ребятишки?

К жирным ногам её жались двое одинаково белобрысых и шароспинных мальчугана с пластмассовыми ведёрками в руках.

- А как ж. – засмеялась она. – Мои и дочки моей – Машеньки?

- А-а-а…внучки, значицца.
- А то как ж.
- И куда это вы собрались такой кампанией красной?
- По глибы!!! – выкрикнул один и спрятался за юбку.
- В грибы? – удивился Всеволод. – Так в грибы уж поздно, в грибы до зори идти надобно. Помнишь, Гея, как мы в лисички бегали?
- О-о-ой, Гея. – зарделась Пелагея. – Меня уж лет двадцать так ни кто не называл.
- Семнадцать. – трогательно поправил её Всеволод.
- Точно, восемнадцатый уж…
- Ну, вот я и назвал.

Всеволод всматривался в её измятое, перенасыщенное косметикой лицо и думал, что, когда он уезжал, то было свежо как персик. Он вспомнил, как не пускала она его в армию, уж и автобус завёлся и битком набился, а она всё держит его клешнями и не пускает. А клешни всё сильные, холёные на парном молоке да свежине… Сердце в очередной раз сжалось.

- А на самом деле, Пелагея, что ж так поздно-то?
- Так сейчас и не поздно. Сейчас все территории поделены. У мужа мого Игната Борисовича свой гектар в лесу имеется, там как раз сейчас сморчки-подснежнички поспели.
- Игнат Борисовича? – сморщил лоб в догадке Всеволод. – Это, это-о-о… – теребил он ворот рубахи.
- И не тужься. – озорно ткнула его в плечо Пелагея. – Не знашь ты его, да и не знал.
- Как ж так? Уж, поди, всех на селе я знал, да и тебя… знавал. – криво улыбнулся Всеволод.
- Так ож. – налилась румянцем Пелагея. – Нашёл, что вспоминать?
- Да знавал я. – он изобразил шутливую обиду. – Токмо к гусю энтому поносному не очень-то ты склонна тогда была, насколько я помню. Даже дивилась, как, мол, таким корявым можно существовать?
- Постой, Сев, ты про кого?
- Как про кого, про Соколова Игната.

Полина залилась смехом:

- Ну, ты выдумал, с Соколовым. Как ты такое вообще представил? Мой жешь потом в деревню пришёл, как ты уехал, так года через два и пришёл, из Бахов, швец он. Помню зима, иду я, значит, в церковь, отца мого тогда крепко скрутило, едва отмолили. Иду я, значит, и вижу на встречу мне он, в казакине модном, статный, за собой на саночках машинку свою швейную тянет. Так ты не поверишь, как увидала его, так и обомлела – всё забыла, и

отца, и мать, и себя родную. В общем, так и остался он с промыслом своим в деревне нашей. Кстати, вишь, сарафанец на мне – его рук дело…

- А что это за чуж-чуженин в наши края пожаловал?!

Всеволод обернулся на крик. Высоко на дереве сидел Скоробей – товарищ детства.

- Чего, Ворон, делаешь? – делано играя произнёс он и сощурился, словно присматриваясь.

- Ум-м-м …Ямку копаю. – включился в игру Всеволод.

- А на что тебе ямка?

- Камушки класть.

- А на што камушки? – напирал Скоробей.

- А твоих деток бить! – весело выкрикнул Всеволод.

- А чем-то тебе мои детки досадили?!

- Жену да тёщу плугом выебли!

Пелагея заливисто рассмеялась.

- Сев!? Ты что ль!? – свесился с ветки Скоробей.

- Да ты седой совсем, Скоробей. – моментально забыв о Пелагее, Всеволод подошёл к забору.

Чёрный, похожий на огромную семечку пёс тут же сделал круг вокруг будки и, разродившись густым лаем, обрушился на калитку.

- Не бойсь. Там заперто. А я вишь, скворечник мощу – всё ребятишкам забава. – покровительским тоном сказал с дерева Скоробей, и рявкнул псу. – А ну в будку!!! В будку я сказал!

Пёс замер, недоверчиво посмотрел на хозяина и нехотя поплёлся в будку, так косясь на Всеволода, будто стараясь его запомнить.

- Злой он у тебя какой-то.

- А то люди кругом злые и он злой. На людей злой. Если б тебя верёвками под лёд запихнули, подождали, когда ты захлёбываться почнёшь, да и наружу вытолкали. Да так и бросили у проруби. Я б на тебя посмотрел.

- Будь я тогда в селе. – пробасил кто-то невидимый из соседнего двора. – Я б с него шкуру с живого снял, да в ней бы и ходил, что б другим не повадно было.

- О! – Скоробей так встрепенулся, что чуть не свалился и, вцепившись в сук, развернулся к говорившему. – Да я с тебя, сука, только за такие слова с самого шкуру спущу! а яйца твои сварю и матери твоей на Пасху преподнесу, тварь, дасью[26], говно.

- Что!? – взревел голос. – Ты, дерьмо, повтори! Повтори!!!

[26] дасью –отбросы общества (санскр.)

Из кустов в Скоробея полетел булыжник, ударился в ствол и чавкнул в траве.

- Ах т-ты с-сука! – Скоробей стал выламывать сук, и, отломав, бросил им в обидчика.

- Я сейчас милицию вызову!!! – пищал высокий женский голос.

Ещё один булыжник прошиб густую крону. От греха по дальше Всеволод перешёл улицу и толкнул калитку отчего дома.

- Сынок, Сева! Ай, ты мой золотой.

- Здравствуй, ба.

Всеволод шагнул в светлую просторную хату, пахнущую свежим тёсом и дубовой смолой.

- Дом моего детства. – он глубоко в лёгкие втянул богатый воздух и улыбнулся. – Кажись, вечность тут не был.

- Так вечность и не был. – Людмила Оковна предупредила его движение и, подхватив рюкзак, повесила тот на крюк. – А мне Ирма звонила. Говорит: уехал, куда не сказал, никого не предупредил, на работе, говорит, тревогу бьют. А я так сразу и говорю: успокойся, дескать, ежели мой Сева куда и навострил лыжи, то только если ко мне к бабке своей родной. Во как.

- Да уж. – Всеволод громко со смаком поцеловал бабушку в рот. – Ты, как всегда права. К кому ж как не к тебе?

- И то правда, сынок, разбувайся. Сымай свои чобаты. А што ж ты такой та потёртый? Чай, издалека идёшь?

- Издалека, ба. – Всеволоду вдруг вспомнилось письмо, адресовавшееся отцу Игната, и он сказал: - Я ба, вот чего подумал, устал я от города, от суеты, прям Terror antiquus, у нас, представь, даже в молельниках бензином торгуют, дескать, нужно же как-то деньги на благотворительность собирать, а я гово…

- Ой, Сева, сынок, а я вот давеча, со старушкой одной разговор имела, уж третью сотню разменивает, а ещё ничего, в уме. Так она рассказывала, как ещё её прапрадед в ихней церкви, это когда ещё Прериптра ждали, а может и Иисуса Иисана, не помню точно, так он там, представь, свечником служил, ну и-и-и, разумеется, приторговывал там книженциями всякими, обрядовыми безделушками, теми же гельниками…

- Да, я тоже слышал об этом. – закивал Всеволод и глазами нашёл кадушку с водой.

- Испей, милый. – Баба Люда протянула ему ковш. – Слава Создателю, больше такого блядства нет.

- Ум. Хк-кх. – поперхнулся Всеволод. – О чём ты, милая!? У нас в Академическом уже во всю, и не краснеют! Я ж говорю, колонки с бензином ославленным поставили.

- Ой, чую, жди пятого пришествия. – схватилась за лицо баба Люда. – Не даром Хаахарм говорил: «Изгнал я торгующих из храма сто первый раз, сто второй жди сына божия, да свиту его с расправой». Помнится, ещё с молодости, как засядем с девками одеяла стегать, так все разговоры только о пришествии. Так я, сыночка, боюсь…

- Не бойся, ба. Не скоро это ещё будет. Помрём скорей.

- Ой. – она горько махнула. – Твои б слова… а я боюсь…

- Слушай, ба, я как сюда шёл Скоробея повстречал, что-то он…

- Повстречал и буде, нечо тебе с ним водиться!

- Да постой ты. Я у тебя спросить хотел, что у него с соседом приключилось? Там же, вроде, лесника Карпа бывшая жена живёт.

- Жила, да давно уж померла. Рак её унёс, царствие ей небесное. А как она померла, так Карп в лес и ушёл жить, детей же они не нажили, так он хату городским продал, да и уехал…ушёл, в лес, стоянка там у него. А в доме том военный отставной проживает с женой и дочкой. Ой, с дочкой-то той и приключилось. Ты видел та, как Скоробеюшка-то поседел? Всё со страху, всё с проблем.

- Постой, ты меня запутала, то так говоришь, будто Скоробей злодей какой, а теперь, вроде и жалеешь.

- Да какой он злодей – книжник. За жизнь мухи не обидел. А тут такое горе… В общем, Сева, ежели военный этот разузнает, что ты со Скоробеем дружбу водишь – вмиг убьёт. У нас давеча Бахруша глупенький пропал, ну, дурачок. Частенько он у Скоробея в хате засиживался. Так вот пропал. Поговаривают, военный к этому руку приложил.

- Так, а случилось-то что?

- А случилось то, что в любой семье рано или поздно случается. У Скоробея кобель есть кавказец-Юрка. Так вот этот Юрка как-то с цепи ночью ушёл. Да, говорят, дочку его соседа повстречал – та с дискотеки путь держала. Так вроде он её снасиловал. Всякое говорят. Но, Оксана, ну соседская, на него показывает, на кабеля. Говорит чёрный был и лохматой, царапины от когтей следователю показывает. Во как!

- Да-а-а, история. – сморщил лоб Всеволод. – Я тебе так, бабушка, скажу, уж лучше вообще никого не заводить, ни собак, ни котов, ни людей – ни кого – целее будешь.

- Что ты, милый, одному-то жить, что ж ты бирюк? Да что бирюк, даже у комара пара имеется.

- Ладно, что мы всё о грустном, да о грустном? Мне бы, бабушка, поесть чего.

- Да об чём речь, славный? Иди к столу. Ты аккурат к обеду и подоспел. А! – она всплеснула ладошами. – А тебе и компаньон сейчас будет.

Всеволод удивлённо на неё посмотрел.

- Не пугайся, Сева, тебе даже не придётся поддерживать с ним разговор. Тихий, любезный парень, только…слепой.

В дверь постучали.

- Входи Андрюша. – крикнула она по направлению двери, а Всеволоду полу шёпотом добавила: - Это он. Внук одной моей знакомой. Я на обеды его приглашаю. Понимаешь, хочется о ком-то заботиться…

- Здравствуйте, Людмила Оковна, вы не одна. – не спросил мальчик, а констатировал.

При принятии этого голоса по спине Всеволода пробежал озноб.

- С вами кто-то. – утверждал мальчик, подойдя к столу.

Лицо его, как и тогда было мелово-белым, взгляд неживой, мух на этот раз не было. Он придвинул стул и сел рядом.

- Кто бы вы ни были, здравствуйте вам.

- А что ж ты молчишь, Всеволод. Поздоровайся с Андреем.

Растерявшись, Всеволод, как мог, изменил голос и глухо поздоровался. При этом мальчик сразу же заметно напрягся и, тихо улыбнувшись, обратился к бабушке:

- А у нас в Вырти, представляете, убили бабу Олю Нижнеколодежную, изнасиловали, всё золото из хаты вынесли, да и подожгли хату. – при этом Андрей так громко протянул по обитому цинком столу кольцом, золотой каплей свисавшем с мизинца, что баба Люда поморщилась.

- Не делай так больше, детка. – она передёрнулась, как от озноба. – Аж мурашки по коже, такой звук поганый, как всё равно на стеклорезке. У меня в юности любовник был, на стеклорезке работал, так у меня такие воспо…

- Так говоришь, изнасиловали. – уже своим голосом сказал Всеволод и почувствовал, как закипает.

- И подожгли. – мальчик повернул к нему своё мёртвое лицо и, казалось, выразил в нём всё: презрение, силу, насмешку, ненависть.

- Ну что вы мальчики, ей богу? – почуяла неладное баба Люда. – Пей, Андрюшенька, я вот тебе сусла налила. Да и ешьте, наконец, суп стынет. – и гаркнула детворе, что с просящими глазами висела в окне: – А ну, вислять!

Доели они молча. Лишь уже, когда Андрей ощупывал дверь на предмет ручки, Всеволод нарушил тишину.

- Андрей, простите, не знаю вашего отчества. – он приятно откашлялся.

- Давайте без отчества. Да, пожалуй, и без имён тоже было бы неплохо, а то-о-о…

- Ну, можно и без имён. – почесал потылицу Всеволод. – Но тогда-а-а, как же общаться? А я бы хотел с вами, э-э-э…тобой поговорить.

- Зови меня Ольга, да и я тебя. – мальчик пхнул кирзовым сапогом дверь и, не дожидаясь Всеволода, быстрым шагом пошёл со двора.

Всеволод подхватил пуховик и засеменил за ним. Уже в калитке его догнала обескураженная бабушка:

- Сева, внучек. Ты, что уезжаешь? – вцепилась она в руку.

- Нет, ба, ты что? – как мог ласково улыбнулся Всеволод. – Видишь, без вещей. Мне с Андреем поговорить нужно. – и рванул руку, но бабушка остановила его, буквально повиснув на рукаве пуховика.

- Стой жа ты, непутёвый! Не шибко бы ты с этим Андреем то якшайся: скользкий он, да и… похоже, уж помер…как бы, и… в розыске.

Всеволод вырвался из её цепких пальцев и бросился за Андреем.

- Оль, постой. – запыхался он и, как минуту назад мать, повис у Андрея на рукаве. – Постой, разговор есть.

Тот приостановился и тут же невозмутимо, прибавив ходу, пошёл дальше, говоря примерно по одному слову в шаг:

- Знаю тебе работа нужна могу пособить приходи завтра в десять утра к колокольне со двора зайдёшь в дворницкую там меня дожидайся, всё. – и, почти перейдя на бег, скрылся за покосившимся частоколом.

- О-ой! – Всеволода, как током тронуло.

Только сейчас он заметил, что находится на территории смертской: по обочи, промеж деревьев, уже на поваленных жердах, в кустах лежали и висели казнённые узники. Там и тут глядели обезумившими от мук глазами насаженные на колы головы, прямо у Всеволода над головой по обе стороны дороги, как флаг на ветру покачивались уже сильно подгнившие да объеденные воронами ошмётки вскинутого на дыбе. И под ногами и в глуби обожжённых кислотой кустов виднелись измождённые лица принявших «струну», вывернутые тела – дыба, скряченные головы, останки в съеденных ржой кандалах… Всеволода тут же стошнило.

На следующее утро, как и было условлено, в десять часов Всеволод уже нервно вышагивал в тесной дворницкой комнатушке.

- Даже не знаю, мил человек. – пожилой дворник разглаживал влажные фиолетовые гребни, из-под которых щетиной проглядывали усы. - Куда вас

определить могут. Тут ведь как… – он махнул рукой в окно, из которого было хорошо видна смертская, которая так впечатлила очень чуткого по природе Всеволода. – Либо двор мети, либо служкой в церкву, да, как я погляжу, вы даже челом не осенены, либо в мертвецкую, а та-а-м…не приведи господь. – дворник перекрестился.

В этот момент в дверях показался Андрей, сразу остро сказал:

- Привет, Оля.

Дворник как по команде встал.

Андрей, как и вчера, смотрел холодно и безучастно.

- Пойдём. – скомандовал он и жестом указал Всеволоду на дверь.

Всеволод пошёл рядом с ним, при этом разглядывая его необычный наряд. Андрей был туго зажат кожаным с массой карманов капотом. Мощный, насыщенно-коричневый, он саваном покрывал тело от шеи до ступней. Поверх был накинут горчичного оттенка, густо измазанный кровью прорезиненный фартук на металлических крючках. На руках, начиная с локтей – перчатки с металлическими накладками на тыле. А когда Андрей прибавил шаг, взору Всеволода открылся потрясающий своей лютостью вид, вдоль поясницы на широком ремне покачивались, мерно звеня с десяток металлических приспособлений, от ножей и зажимов, до невероятных изгибов пил и плетей с обмотанными вокруг рукояти кнутовищами с когтями и шипами.

По спине Всеволода пробежал озноб, но он ничего не сказал.

Вдруг Андрей остановился и, помолчав, с некоторой досадой произнёс:

- Где-то здесь поворот, никак не привыкну. Скажи, что там. – он указал на криво льнущие друг к дружке мусорные контейнеры.

- Кажись, м-мусрорки. - в волнении Всеволод стал заикаться.

- Черт! Не там! – громко выругался Андрей и уверенно зашагал левее.

Они зашли в одноэтажное сильно изношенное здание. Первое, что бросилось во все органы ощущений Всеволода – густота. Всё внутри сразу же показалось перенасыщено густым: густой трупный запах, густая толпа помятых с пунцовыми лицами и в грязных медицинских халатах людей, что, казалось, были здесь по всюду, густой смог табака и, как уже после поймёт Всеволод, пыль от распиленных асцелляторной пилой костей, густая патологически вздёрнутая речь, весёлая, как бы зелёная, она контрастировала с лежащими под ногами в раскрытых чёрных мешках трупами, и даже начальник, в кабинет к которому они с Андреем вошли без стука был густой: в густом мозговом скате до щёк, с густыми выворотами дёсен и даже четыре сросшиеся над хребтом руки, казались густыми.

- Это Оля. – в своей обычной манере произнёс Андрей.

- А… – открыл было рот Всеволод, чтобы поправить Андрея, но его оборвал тихий, но прямой, как автобан голос начальника.

- Здравствуйте, Ольга. Наслышан о вас, как о человеке, способном на многое. Я думаю, вам полезно будет поработать в нашем учреждении. Вообще, по моему пониманию бытия, каждому смертному перед тем, как начать принимать самостоятельные, а тем более глобальные в рамках собственной жизни решения, просто необходимо поработать в нашем учреждении. К сожалению, на данный момент, дорогая Олечка. – он явно в слепую, придерживаясь за край стола и постукивая по полу изящной тростью из кавказской черешни, подошёл к окну и со второго раза, вцепившись за ручку, откупорил фрамугу. Свежий весенний ветер ворвался в это густое и теперь уже казавшееся липким пространство. – В данный момент в нашем учреждении только одна вакансия – ночной санитар в мертвецкой. – он потупился и, казалось о чём-то задумался.

Терзаемый предположениями, Всеволод, не без опаски расстегнул штаны и заголил головку. Тут начальник явно посмотрел на него и тут же быстрым шагом подошёл к нему.

– Я бы рад. – он горячо дышал Всеволоду в лицо недавним бульоном. – Рад бы устроить вас, милочка, в мученицкую, как вот Андрюшу. – он обошёл вокруг Всеволода и взял его за талию. – И обязательно устрою. Или на худой конец в прозекторскую, громить трупы. – он отсекающими ударами поразил невидимого противника перед собой. – И обязательно устрою. Вот со среды и заступите. Неделя, как говорится, средой крепка. А мне Андрюша просто сказки рассказывал про ваши способности. – и тут Всеволод в первый раз за всё время, что был знаком с Андреем увидел на его слепом лице улыбку, и не улыбку даже, а саркастическую ухмылку. – А жалование я вам и сейчас назначу, как за мученицкую, хоть вы и будете просто ночами дежурить. Ведь понимать нужно, что время делает историю, а не наоборот. Будет и ваших руках ключ от мучного ларя, не всё ж свекрови вёдра таскать да хлебы месить. Велика мудрость ритма. У кого пироги лучше, как говорится, тому и хуй, так сказать, по толще. Ха-ха. Вам ведь нравится моё предложение? – и не дав Всеволоду ответить, начальник уставился своими пустыми глазами куда-то мимо Андрея и уже взволнованно пропищал: - Андрей? Вы здесь?

- Да. – Илья Данилыч.

- Идите на рабочее место. Мне кажется, вас заждались. – при этом рука начальника скоро поползла Всеволоду в трусы.

Стараясь не выдать себя, Всеволод отстранил руку начальника и, чтобы не разгневать его, а теперь уже стала до конца ясна игра Андрея в Оль, взял

его кисть и стал сосать пальцы. Одновременно с этим, он схватил Андрея, который, уже ощупывая перед собой пространство, как нашкодивший котёнок, слегка выгнув спинку, начал пробираться к двери, рывком усадил его себе между ног, зажал его голову коленями и, ловко вырвавшись из объятий начальника, подставил тому Андрея.

- Ну что ж ты, Ольга? – жарко дышал Илья Данилыч, глядя в бездну.

- Я здесь. – с женской интонацией пропел Всеволод прямо из-за головы Андрея. – Вы стойте, Илья Данилыч, я всё сделаю. А ты, супарень[27], немного поработай. – он в пол голоса обратился к Андрею, ловко расстегнул начальнику ширинку, достал не старый ещё член и, несколько приободрив его, засунул тому в рот. К удивлению, Андрей засосал, он совершенно не сопротивлялся, а, казалось, даже на оборот.

Как только Илья Данилыч кончил, Всеволод оттолкнул Андрея.

- Вам понравилось? – нежно прошептал он, обнимая того за талию.

- Не то слово. – раскрасневшаяся голова начальника лоснилась от пота. – Ты просто умница.

Всеволод с отвращением почувствовал, как член Ильи Данилыча через одежду упирается ему в живот.

В следующую ночь он уже дежурил в мертвецкой.

- А у меня была хуйня. Ты послушай, Сев. – тучный с чёрным спинным панцирем санитар по-товарищески обнимал Всеволода за плечи. – Лет двадцать это назад было, я ещё только начинал работать. Так вот у нас тогда практика была заведена: ездили на дома бальзамации делать. Ну, ты видел сегодня.

- Постой. – Всеволод выглянул в окно. – Показалось, привезли кого. – он снова наполнил стаканы.

- Да ты не дёргайся. – санитар затушил окурок. – Там ещё Робор одевает. Если что – он примет.

- И часто вы, Евсей, так задерживаетесь?

- Ха!? Задерживаемся. Мы, бывает, тут и ночуем. Ежели мертвяков, как говорится, полон рот, тут уж хошь не хошь, задержишься.

- А Робор там одевает?

- Ну да. – кивнул тяжёлой головой Евсей. – Щас оденет, да продавать будем.

- Хорош товар.

- А ты не куксись – кто землянику на базаре торгует, а мы вон мертвяков продаём. А ты пооботрёшься немного, да и сам нам в помощь сподобишься, заодно и деньжатами разживёшься. Или ты против?

[27] супарень – девочка играющая в мальчишеские игры.

- Да нет, что ты. – Всеволод погладил его кисть.

- А то ты смотри, мы муторных не жалуем, вмиг к праотцам.

- Да что ты Евсей, я очень рад, что у вас тут… ну, так, так хорошо. А ты недорассказал, что двадцать лет назад.

- А-а-а! – зычно пропел Евсей. – То история всем историям история. Поехал я как-то на бальзам. Ну, на бальзамацию. Приезжаю – особняк такой этажей в десять с колоннами, окна метров в пять каждое, хрустальное крыльцо. Захожу я, значит, охрана пропустила во двор, подымаюсь по крыльцу, звоню. Открывает мне дверь такой мужичок, сам из себя доходный, вроде чахоточного, но в дорогом халате и пластмассовых волосах. Немногословный такой. Проходим мы с ним, значит, в зал, а там, представь – бассейн с акулами, я такого даже в кино не видал, вот те крест. – он размашисто перекрестился. – Проходим мы значит коридором, потом, как сейчас помню, такая комната кривой формы и обитая бархатом и вся картинами увешана. Ну, это всё так. В общем, показывает он мне…

- Евсей! Поди сюда! Выдавать будем! – раздался надрывный крик из-за двери. – Евсей!

- Вот же шь! – Евсей в сердцах хлопнул себя по колену. – Рассказать не даёт.

- Евсей! – вновь раздалось из-за двери.

- Да не вопи ты! – рявкнул Евсей. – Ступай сюда! Подождут!

В коридоре лязгнули металлические дверцы, и в санитарскую вошёл арабского вида мужчина, на нём был алый в белую полоску халат и одноразовый фартук. Он сразу с порога раздражённо обрушился на Евсея:

- Второй час уж ждут! А ты только спирт жрать горазд. Правильно, Родор нарежет, Родор нашьёт, Родор с родственниками договорится, оденет и Родор же выдаст. А деньги почему-то он с Евсеем по-братски поделит. Я тебе что…

- Ну не кипятись, Родик, не кипятись, я ж люблю тебя, я ж не со зла. Завтра я нарежу, нашью и выдам, вот матерью клянусь, цельный день буду за тебя резать, и тебе ещё водки подносить. Вот увидишь.

- Знаю я твоё завтра. – помягчел Родор. – Сегодня говоришь, а завтра заново.

- Ну не куксись, присядь. А эти – два часа ждали и третий подождут.

- Они уже катафалк подогнали.

- Ну и прекрасно. Познакомься лучше с Всеволодом. Наш новый ночной санитар.

- А, приятно, Родор. – он протянул заточённую в прозрачном латексе перчатки кисть Всеволоду. Тот в ответ пожал его предплечье.

- А я тут Севе про то рассказываю, как я к стрелку этому на бальзам ездил.

- О-о-о. – встрепенулся Родор и налил себе спирта. – Послушай, брат, очень познавательная история.

- Так значит, вхожу я в комнату – на полу лежит голая старушка, седенькая такая, под ней целлофан так раскинут. Подводит он меня к ней и говорит: это мать моя. Ну, я с ходу начинаю ему втирать, что, дескать, если завтра хороните нужно бальзамировать, если прощаться по человечески хотите, что б не потекла, и прочее… только в раж вошёл, как он меня так рукой остановил. – Евсей показал жест. – Это моя мать, говорит. Я дам тебе сотню золотых, если ты кое о чём забудешь. Ну, я аж обомлел. Чую-ю неладное. А он и говорит: тебе волноваться не о чем – вот справка о смерти. Он подал справку, я её просмотрел – всё в порядке – онкология. Он говорит: я сейчас разряжу в неё обойму, и достаёт такой ствол, не разглядел я тогда с перепугу какой, наверно американец из кварцевых, а ты, говорит, должен будешь её так заштопать, что б ни одна живая душа на похоронах ничего не заметила. Яволь? Так и сказал: яволь. Ну, я прикинул и согласился, только предупредил, что б в голову и кисти не стрелял. Тогда он тут же разрядил обойму: грохот, дым, кровища во все стороны. Ужас. От бабушки решето осталось. Ну, в общем, штопал я её почитай до глубокой ночи.

- А деньги он отдал? Похоже, что ты на бандита нарвался.

- Деньги я вперёд взял. Как только он отстрелялся, так я и взял. Как от него вышел пальцев не чувствовал, шутка ли такую в шматы разорванную шкуру штопал. Представь, сначала спину, пото… А, чуть не забыл, а переворачиваю её, а под ней весь пол, а там дубовая плитка была проклеена – весь прямо дыбом выворочен, такая мощная у него оружия оказалась. Во как.

- Так что вот, Всеволод, имей в виду, у нас тут всякое бывает. – откликнулся Родор. Он уже выпил грамм триста, и лицо его посоловело. – А мне как-то один знакомый санитар рассказывал. Имени его я, разумеется, назвать не могу.

- А он здесь работал?

- Н-нет не здесь, далеко работал. – отмахнулся Родор. – Так вот тот вообще попал на такое дело. Приехал на бальзам, простенькая такая квартирка, даже облезлая, знаешь, такое неблагополучное жильё с тараканами, почерневшими обоями, засаленными коврами. Встречают его на пороге сразу все. Знаешь, как правило, тебя встречают все, людям любопытно, кто это такой сейчас будет бальзамировать их родственника,

всем интересно, стоят заплаканные, делают вид, что рассматривают тебя только на правах хозяев, а тут другое, они как словно изучают тебя, чтобы о чём-то попросить. Ну, я, он сразу смекнул, что, видимо, сейчас начнут канючить, что, дескать, денег нет, возьмите пищей, за стол потащат… Ну, в общем, они его рассматривают, всей гурьбой, в полной такой тишине, проводят в спальню, там уже предсказуемо на полу на ржавом матраце лежит сухонькая такая бабушка, в ночной рубахе, одна нога плотно забинтована, беззубый рот открыт. Ну, он, значит, стал, заметьте без особого энтузиазма говорить про необходимость бальзамации для бабушки, что в груди у той жидкость, то да сё… А родственники тем временем начинают потихоньку из комнаты выходить. Тихонько так выходят, один за другим, как всё равно отрепетировано…

Вдруг прозвучал звонок.

- Во. Созрели. – с кривой улыбкой констатировал Евсей.

Родор дёрнулся к двери, но Евсей его широко остановил:

- Сиди, Родик, моя очередь.

Он вышел, а Родор продолжил рассказ.

- И вот родственники потихоньку выходят, и остаются в комнате только женщина такая, вот знаешь, одним словом можно описать, суровая, такая, которой хочется подчиняться и в углу у двери девчушка лет четырнадцати, такая щуплая, такая невесомая, кажись, дунешь, она и улетит. И тут женщина, оказавшаяся её мама…

- Ха-ха. Смотрите! – зычно, словно с мороза гаркнул Евсей и, захлопнув за собой дверь, плюхнулся на диван. – Не то что ещё ждать готовы, а ещё и магарыч дали. – он поставил на стол корзину с зеленью, огузком и бутылью самогона, тут же его откупорил, затянулся и так же зычно пробасил: - Ух! Ядрёная! В Пасавольном, говорят, гнали. Там к ним подкрепление прибыло. – он кивнул на окно. – Родни понаехало – тьма. Так что мы можем не торопиться – им там сейчас не до скуки.

Родор привстал и с опаской выглянул в окно.

- И впрямь. – тихо сказал он. – Из-за одного старика столько народу обеспокоилось.

- А ты помрёшь, о тебе меньше побеспокоятся?

- Обо мне… – ещё тише сказал Родор. – А обо мне вообще никто не побеспокоится. Разве что наш паспортный стол, да-а…тут у нас…обмоют, в машину погрузят, да и закопают как мешок с картошкой. Во как – один я, Евсей. А ты. – он с укоризной посмотрел на коллегу. – За столько лет работы мог бы и поинтересоваться. Ну, да бог с ним. Ты Всеволод не бери до головы. А мамаша-то та знаешь, что мне, у-ум… ему предложила.

Говорит: молодой человек, помогите, я вам за это дам пол тыщи освинцованных шекелей, это два кило золота на нынешний курс.

- Да, неплохо. - понимающе кивнул Евсей.

- А сделать нужно вот что: ребёночка новорожденного в бабушку эту зашить. – Родор, явно растроганный собственным рассказом вылил остатки спирта себе в стакан и одним глотком выпил. – Зашить. – прохрипел он и, собрался хлопнуть по столу, но в последний момент остановился и, в секунду охмелев, добавил: - И он зашил. Она, мама этой девочки, ну я говорил, что стояла у входа, задушила свою новорождённую, день отроду, внучку. Там какая-то история дикая приключилась, она что-то рассказывала, про то, что дочка её, ну, которая, я говорил, у двери бледная такая стояла, в общем, в подоле принесла, а совсем ещё малая. И они потиху, семьёй выносили этого ребёнка, сами же роды приняли и… задушили, задушила. И представляете, прямо у него и у этой девчушки на глазах, рубашкой, там на спинке кровати висела рубашка мужская, такая в клеточку, так вот задушила младенца, и сразу как задушила, рубашку ту на место повесила. Рукавчик ему через шейку перекинула и так сдавила, что тот даже закричать не смог, только глаза выпучил и скрючился весь, а потом носом кровь пошла… И рубашку, главное, на то же самое место и повесила, как всё равно на себя надела, подумалось тогда, ему. А ребёночка он зашил в труп бабушки. Так и похоронили. – казалось он собирался заплакать.

- Ну что ты, Родор, брат, не кисни, всякое в жизни бывает. Помнишь, как Феофан за мест младенца ногу ампутированную выдал?

- Ой. – скривился Родор. – Такое забудешь. Если б прознали – пиздец бы нам всем был, а Феофану в первую очередь.

- То есть как ногу? – любопытствовал Всеволод, которому его новая работа всё больше начинала нравиться.

- Ну ногу! – неожиданно нервно ответил Евсей. – Привезли абортного малютку, завёрнутый такой в тряпку. Ну, мы его и положили в холодильник на стеллаж.

- Не, сначала на каталку. – отчаянно зажестикулировал Родор.

- На каталку? Не помню. Ну, плевать. Положили на стеллаж к ногам ампутированным, нам их из больницы областной на экспертизу привозят. А они у нас в мешках, коробках, просто в тряпках замотанные валяются. И так сошлось, что на следующий день всё это добро по графику нужно было вести в крематорий на сжигание. Ну и, как ты понимаешь, только это секрет ты понял? Понял? – Евсей заглянул своими блеклыми глазами во Всеволода. – Мы вообще не должны тебе об этом рассказывать, но-о-

о…Ладно. В общем, сожгли этого обортного случайно вместе с ногами. И тут аккурат к полудни, как сейчас помню, приходят. Двое, молодые, зарёванные, он – скромный такой в потёртой папахе и с усечёнными ногами, она вообще почти без сознания. Говорят: нам бы нашего Боречку забрать. Боречку! – Евсей вдруг вспыхнул и грохнул по столу с такой мощью, что корзина опрокинулась, и Родор чудом подхватил соскользнувшую со стола бутыль. – Борис! Они уже и имя ему дали. Этому выкидышу, этому куску мяса, а Феофан его в печи сжог! Ну, я пока их слушал, всё пытался понять, про какого такого это Бориса они речь ведут. Говорю, нетку у нас младенцев, не поступало, а сам с ужасом осознаю, что они же за тем обортом пришли, которого мы на стеллаже бросили. Мы и гробик, говорят, купили, сейчас подвезут. Нетку, говорю, нетку. – сильное лицо Евсея задрожало, и слёзы хлынули из глаз. – А, а у-у… у с-самого земля из-под ног ух-ходит. – он ударил себя в грудь. – Я к Феофану, так мол и так, старый идиот, иди, решай вопрос, ты вывез его в крематорий, ты и разбирайся. Он давай звонить Ишуду, тот тогда в крематории работал, говорит, что уж спалили, тот в панику, а тут, то ли на счастье, то ли на беду, приносят нам ножку из больницы. Ну, тут Феофан и смекнул, как выкрутиться. Тут же, не согласовав, сделал из ноги вырезку, занёс в лабораторию, вроде как её ещё раньше вырезали, а сам отчленил ступню, забинтовал голень, за вроде младенца, да так в гроб и положил. Если б ты, Всеволод, видел, как голосила над ним мать, как отец молодой гладил голень ентую по «головке», ещё спросил, а вы правильно Борьку то положили, головкой ли вверх. Вверх головкой, закивали мы, не сумневайтесь. Так и оплакивают по сей день не раба божьего Бориса, а голень чужую. Во как, а ты говоришь…

- А что я говорю? Я ничего. – сказал Всеволод, смущённым таким безграничным к себе доверием.

- Да я так. – Евсей выпил, высморкался. – Пошли, Родор, выдавать, а то они уже петь начали – непорядок.

А родственники и впрямь пели, они расположились в покосившейся беседке и, то и дело, тостуясь, затянули грустную грузинскую песню.

Ближе к вечеру, тепло распрощавшись с коллегами, Всеволод вернулся в санитарскую. И тут же почувствовал противоестественную тишину, наполнявшую не только эту комнату, но и, казалось, всё здание. Словно мёртвое тело оно лежало сейчас, спрятанное в лесу и смотрело в пасмурное предзакатное небо. Всеволод порылся в шуфлядках, в надежде отыскать хоть что-нибудь говорящее, хоть что-нибудь связанное с миром живых: кроссворд, сводка новостей, дешёвый роман... Непреодолимая тоска,

словно бездонное усыпанное валунами ночное поле за поваленным ветром забором открылась его душе, колючий репей пережитых обид, смрад откровений...

- Лучше б они остались. – буркнул под нос Всеволод и вышел в коридор.

- Что? – прямо из сладкой темноты материализовалась сначала спина в тужурке, а затем и низкое состоящее только из покатого с оголёнными листами лба и кажущейся какой-то скомканной бородой лицо. – Что? – повторил незнакомец и вышел на свет.

Опешивший от неожиданности Всеволод почувствовал, как от ног отлила кровь и наполнила мозг.

- А! – в сердцах махнул рукой незнакомец и, скорым шагом утонув в темноте, сам себе заворчал: - Наберут алкашей, возись потом за них.

Через минуту вспыхнул свет. Он рикошетами пробрался в распахнутый настежь небольшой секционный зал с пустыми залитыми мыльным раствором столами и натиснутыми друг на друга полуразвалившимися каталками, и добравшись замерцал.

- Тысячелетиями вскрывали людей. – вещал голос из-за освещённого поворота. – А всё, как было, так и осталось: безукоризненно соблюдающаяся гигиена, граничащая с разрухой. Да-да – с разрухой. – незнакомец силуэтом показался в проходе и, ловко вскочив на приступку, стал выворачивать лампу из-под потолка. – Сколько лет работаю я. Сколько лет мой отец работал. Мой дед. Династия. – Он шумно дунул в патрон и стал мостить новую лампу. – А разруха не меняется: неряшливые крепко пьющие лица, обязательно мятый халат, вы когда-нибудь видели на хирурге или, на худой конец, на терапевте мятый халат, а тем более грязный, а здесь – пожалуйста. Как будто кто-то невидимый издал закон, которому все служащие этого скорбного заведения неукоснительно следуют. Скажите, коллега, хирурги, когда совершают операцию смеются, они, может быть, курят, может быть, они перевозят своих пациентов на каталках так, что те вываливаются на пол на крутых виражах? Поверните выключатель.

- Э? – Всеволод машинально дёрнулся к говорившему, но тот его одёрнул.

- Да не здесь, у щитка.

Вспыхнул свет.

- Ну, слава Вселенной, работает. А то на ощупь работать – не сахар. Постойте, да вы вроде не пьяный. – он задержал колючий, как копьё взгляд на Всеволоде.

- Я почти не пил.

- Ну не пили и не пили – бог с вами. Чего оправдываться? Я ж не начальник.

- А кто же вы?

- Я Кузьма Эдвардович. – он сдвинул лоб к забору и обнажил продолговатые декоративные клыки. – В прошлом почётный санитар.

- А в настоящем?

- В настоящем ночной, как и вы.

- Так мы что вдвоём дежурить будем? Меня не предупреждали.

- С какой это стати вдвоём. Я из одной организации буду, а ты из другой.

- Из какой это из другой?

- Я трупы из больниц принимаю, а ты все остальные.

- То есть у меня все здоровые?

- Чудак. Всякие у тебя. Могут быть ещё и побольнее нашего.

- Кузьма Эд…

- Кузьма, просто Кузьма.

- Кузьма, а что мы здесь беседу ладим, жутко здесь, да и воняет, пройдёмте ко мне в санитарскую.

- Эко вы по-светски выражаетесь. А воняет, потому что холодильник барахлит: температуру не держит, а так не воняет.

- Ну, так как? – улыбнулся Всеволод.

- Оно то можно. – замялся Кузьма. – Только вот якшаться я с вами не буду, а то потом начнётся: Кузьма, ты посиди за меня, а я к утру подойду, дела у меня неотложные, или я отойду на минутку, Кузьма Эдвардович, вы присмотрите за залом, вы человек пожилой, а какие у пожилого могут быть дела?

- Ну что вы, Кузьма, я не такой – мне здесь нравится.

- Да? Ну, смотри.

Они недолго посидели в санитарской, выпили, и уже как старые приятели прошлись по вверенным им помещениям, Кузьма рассказал и показал, как действует холодильник, где санитары хранят свои инструменты, как включать прожектор во дворе, а к концу обхода, он приобнял Всеволода за плечо и заговорщеским голосом произнёс:

- Слушай, Сева, хороший ты парень. Молодой, сильный. Не в службу, а в дружбу, всё равно, вижу, спать не собираешься, ежели мне труп подвезут, ты брось его на стол, или на каталке оставь, а я по утру сгружу. А? Очень я за сегодня устал.

- Что за разговор. – Всеволод развёл руками. – Кузьма, в мою мену можете спать и даже не спускаться.

- Да?

- Истину говорю, всё за вас приму.

- Ой, золотой ты человек.

И началась работа: в эту ночь Всеволод принял одиннадцать судебных и три паталагоанатомических трупа.

Последующие четыре смены Кузьма никак себя не проявлял, создавалось впечатление, что он вообще не приходил на работу. Всеволоду даже однажды подумалось, что тот ему привиделся, и даже хотел порасспросить об этом ребят, да забыл. И по-прежнему принимал за него трупы и записывал их в журнал регистрации. А сутки между сменами проводил в лесу, неподалёку: слушал соловьёв, баловался с бродячими собаками, с ними же совершал набеги на больничную столовую, наблюдал из кустов за бродившими по тропинкам больными. А когда желание общаться превозмогло желание следить, то он перебрался в больничный городок. Как правило, ближе к вечеру, он сидел на лавочке у выздоравливающего корпуса или в квадратной похожей на ангар беседке на заднем дворе тубдиспансера. Долгие и никчемные разговоры с идущими на поправку и содержательные, всеобъемлющие, острые, как опасная бритва, с погибающими от, некогда именуемой чумой двадцатого века, трижды в истории бывшей побеждённой и снова торжествующей - туберкулёза, которая не только разрослась за последние тысячелетия, но и страшно мутировала, перебравшись из человеческого организма даже в строительные материалы и в бумагу. Всеволод с восхищением заметил, что хамство и невежество словно бы улетучивалось из приговорённых к смерти, словно бы они, эти качества, больше не нужны людям, которые не собирались продолжать свой путь дальше каучукового крыльца с надписью «ТУБДИСПАНСЕР». Эта игравшая неоном вывеска, как приговор отражалась в испарине лбов всех туда входящих, даже докторов.

И её он повстречал именно там. Злата. Чудесная, неповторимая. С огненно рыжей бородой, она сразу же, первым своим появлением вскружила ему голову. Уже усевшаяся ей на плечи смерть не позволяла Всеволоду не то что намекнуть на близость, но даже подумать. Нет, мысли, конечно, были и не одна, но то были мысли без почвы, мысли-молнии, мысли, которых нельзя избежать, имея даже самое чуткое сердце и самое прочное воспитание. Мысли, которых стыдишься, глядя на увядающую мать, на идущих под руку стариков, на усыпанного прыщами подростка, на покупающую бананы молодую, мощную, пахнущую потом и мясом

женщину, на задумавшегося над рабочим столом учителя… И всего этого не смог избежать и Всеволод. За все их редкие свидания он со Златой даже не разговаривал, он вообще старался вести диалог как бы со всеми сразу, оставаясь при этом как бы в тени. Таясь, чтобы не спугнуть, он врал, что работает по ночам грузчикам в порту, а здесь навещает родственника, который после сложной операции отлёживается в выздоравливающем корпусе, а когда приходилось рассказывать о себе новым знакомым из выздоравливающего корпуса, то он говорил, что навещает родственника из туберкулёзного диспансера.

Но когда в седьмую смену его работы глубоко ночью привезли Злату, философия закончилась. Философия прекратилась. Её словно закололи, словно свинью на заднем дворике, словно закололи, словно свинью. И теперь, глядя на мокрое, ещё жаркое замотанное как в кокон в простыню тело, эта свинья визжала так, что заглушала даже шутки пьяной медсестры и заспанного водителя.

- Я до ветру. – наконец-то расслышал слова медсестры Всеволод. – Вы пока выгружайте. Вот история. – она протянула толстую папку с историей болезни.

- Ну что? – водитель ловко вскочил в грузовой отсек скорой помощи. Хватай там.

Они легко сбросили тело Златы с носилок на стол лицом вниз – светло синий, похожий на срезанный ноготь костяной гребень под собственным весом стал плавно опускаться на пол, поворачивая голову девушки на бок. Всеволод размотал простынь, перевернул тело на спину, водитель помогал придерживать гребень, чтоб не свернуть ей голову. Высвободив концы простыни, Всеволод выдернул её из-под тела, и свинья завизжала с новой силой. Не слыша уже ничего, он на ощупь выпроводил водителя, захлопнул за ним железную дверь и вернулся в зал.

Блистательная, в ослепительном хирургическом свете лежала она! – Злата!

Не менее ослепительная она гордо раскинулась на столе, казалось, только разрежь ей бинты на руках, и она всплеснёт ими бабочкой, сними фиксирующую подбородок повязку, и запоёт она, расправив бороду, птицей сказочной, развяжи ноги и затанцует она лебедем. В предвкушении Всеволод высвободил её из оков, но… Но она осталась лежать неподвижно. Казавшаяся неприступной там, в той далёкой беседке вчерашнего дня, сейчас, обнаженная и беспомощная она была ещё более неприступной. Всеволод дотронулся до бедра, медленно переместил ладонь на грудь – тело ещё хранило жар горячки, с кислинкой оно источало запах пота и

прелой мочевины, неубранный лобок коричневой кучей лежал между ног. Рывком Всеволод высвободил член и, придвинув Злату к краю стола, вошёл в неё. Гребень стал ритмично в такт движениям царапать пол.

Как только он кончил, свинья умолкла, как будто её второй раз закололи, уже навсегда.

- А-аг… – Всеволода передёрнуло.

Словно жало ощутил он инородное тело у себя в груди и сразу понял, что слишком остро представил себе, как убивают свинью. Как длинным-длинным ножом! сначала нащупывают место на груди, как сначала пальцем, а затем и лезвием надавливают в ложбинку между рёбер! как потом резким проникающим ударом пронзают грудную клетку! и, как выстрел! пробивают! сердце! на вылет!

- Ом-м. – Всеволод присел.

Сердце предательски защемило, и острая боль пронзила шею, сковала грудь и сразу перебросилась в плечи. – Господи. – прошептал он, силясь вдохнуть.

Утром Всеволод напросился посмотреть на вскрытие. Злату резали недолго. Туберкулёз чего у неё был он так и не понял. Хмурые с утра врачи были немногословны, а едва стоявший на ногах санитар с кривым от рождения лицом так косился на притаившегося в углу Всеволода, что отпало всякое желание к расспросам. Но одно он вынес из сегодняшней ночи наверняка: прогулки и беседы у тубдиспансера теперь обрели цель.

С этой же захватившей его мыслью и вышел он сегодня из здания мертвецкой, но всё же решил в этот день не идти ни в выздоравливающий корпус, ни к смертникам, а отправиться домой, к бабушке, зализывать раны.

- Ба. Она такая! Ты представить себе не можешь, какая она! – Всеволод огромными кусками запихивал в рот блины и тут же заливал их мёдом. – Она…

- Ой, внучёк. Смотри. Сейчас такие все вертихвостки. Окрутит – не заметишь.

- Не такая она! Не такая… Она такая!.. – он в исступлении закатил глаза.

Тяжёлая осень непреклонно подтаскивала своё промозглое тело к зиме, уже и лужи стали гуще, и по утру хруст от их разрушения уже не так настораживал, и бывшие ещё вчера вечером рыжими, потускневшими деревья сегодня уже щеголяли анатомическими каркасами. Сбалансировав по накренившемуся вымытому из гнезда бордюру, Всеволод ловко соскочил на приступку, с которой начиналась мертвецкая. Визг пилы и

возбуждённый гул, доносившийся из недр, указывал на то, что работа сегодня будет кипеть допоздна. Осознание этого одновременно и обрадовало и огорчило Всеволода. Ему нравилось находиться в зале во время вскрытия, за четыре месяца его работы, к нему привыкли и принимали как должное его присутствие, нравилось выпивать с санитарами, слушать их байки, вдыхать густоту исходившего от них чада, а иногда приходилось и помогать: одеть покойника, смыть со шланга стол, подсобить поставить гроб на машину но, а это уже случилось дважды, вечером привозили подходящий труп и его, чтобы разгрузить завтрашний день, тут же вскрывали. И это очень не нравилось Всеволоду. Оба этих раза он всё-таки имел сношения с этими телами, но осознание того, что их уже выпотрошили, набили тряпками, и этот ужасный шов, запах внутренностей, не уничтожаемый ни какой мойкой – всё это невероятно отталкивало. А в одном случае санитар выделил органы малого таза, и когда Всеволод ввёл член, то столкнулся с чем-то необъяснимым. Это показалось ему похожим на то, как если бы его ухватили там, по ту сторону, за член рукой, и рука эта была холодной, сухой, даже костлявой, его это тогда так оттолкнуло, что даже вытошнило.

- Доброго здравия. – Всеволод низко поклонился и, минуя санитарскую, вошёл в зал. – О! Печёненькие. – он склонился над только что вскрытым обугленным телом и втянул носом воздух. – Не знал бы что человечина, ей богу, съел бы.

- Да. – к столу подошёл Евсей и стал скальпелем срезать лоскут с головы. – От шашлыка ничем не отличается. – Доброго здравия и тебе Всеволод. Что-то ты рановато.

- От чего ж – четверть шестого. Аккурат во время.

- Да? – Евсей удивлённо вскинул брови. – Значит, мы заработались. – и гаркнул. – Родор!

- А-а? – послышалось из коридора.

- Какого чёрта ты не сказал, что работа закончилась?

- А что, закончилась?

- А то ты не знаешь?!

- .

- Думаешь, если тебе домой не к кому идти, то и я с тобой за компанию должен здесь гнить?

-.

- Ей богу, Родор, если б за этими двумя «углями» не стояла родня, я б тебе врезал.

Пока они переругивались, Всеволод рассматривал трупы. Внешне они мало чем отличались друг от друга. Похожие на сгоревшие дома, они застыли культями вверх, одинаково откинув пеньки голов и зияя светло розовыми, словно бы сварившимися внутренностями.

За окном загудел дождь.

- Вот, и дождя дождались. – буркнул Евсей и включил асцелляторную пилу. Она, как в масло вонзилась в бело-розовый, похожий на зефир череп и, буксуя, взвыла.

Всеволод отошёл к двери, чтобы его не забрызгало кровью. Через пол минуты он увидел такой же сваренный, как и внутренности корпуса мозг.

- Г-мозг. – громко сказал Евсей скучавшему у шкафчика судебно медицинскому эксперту. – Будете смотреть, Герман Иосифович?

- А. – тот печально махнул рукой. – Доставай. Я сейчас подойду. И, сутулясь, вышел из зала.

- Всё. – Евсей обратился к Всеволоду. – Дольше сегодня работать не буду, даже если привезут – не буду.

Эти слова произвели на Всеволода благоприятное впечатление. Он тут же ощутил приятное томление в солнечном сплетении и ему тут же захотелось делиться глупостями. Но тут вышел и Евсей, и в зале остались лишь немногословный Родор да два «угля». Постояв в нерешительности с пол минуты, Всеволод пошёл в санитарскую и сразу же стал просматривать свой список. В списке собралось восемь имён: Рогдалина Кась, Елена Акулина, Софья Донская, Римма Пловец, Джессика Ивашкина, Наталья Ромм, Наталья Пенина и Ирма Погодай – все они со дня на день должны были преставиться в душных палатах тубдиспансера.

- Кто же сегодня? – нервно теребил листок Всеволод. – Римма вчера была очень бледна, у неё туберкулёз лёгких, а если она, что более чем наверняка, выкурила всю пачку, которую я ей принёс, то это просто не может не спровоцировать осложнений. Но всё же у неё ещё совсем малый срок, недели три если не меньше, а то и все полторы. А как бы я хотел тебя Римма. Разве что Наталью Пенину я бы с такой же силой хотел. А вот она наиболее вероятно может прибыть со дня на день. Да, она, пожалуй, номер один в моём списке. – он вычеркнул Наталью и вписал её перед всеми. – Вот так, пожалуй, хорошо. А Джессика уже четыре дня не выходила. Нужно будет журнал просмотреть, может, в моё отсутствие оприходовали? Хотя, если по чести, я меньше всего её хочу. Может даже и не трахнул, если б привезли. Уж больно лицо у неё плоское, не люблю такие лица, какой-то Азией попахивает. Ну, точно, она ж говорила, что её от…

- Ты что это, сам с собой разговариваешь? – Евсей как всегда шумно вошёл в санитарскую и стал мыть руки. – Заебал этот Родор! – басил он. – Думает, если он одинок, значит, все вокруг должны быть одиноки. Вот видит бог, как-нибудь бока ему намну.

Звонок в дверь оборвал его гневную тираду. Предчувствуя доброе, Всеволод буквально кинулся в коридор.

- Ты что, обалдел!? – едва успел отскочить Евсей. – Там что некому принять?

Но Всеволод уже его не слышал, он с маниакальной настойчивостью провернул ручку замка и распахнул двери.

- Дха-а! – вырвалось из его лёгких, когда из заветного чёрного мешка показалась милая мордашка молоденькой девочки.

Едва сдерживая эмоции, он скинул тело с каталки на свободный стол и, позабыв о документации, расстегнул долгую молнию мешка. Так и есть, хрупкое, в мультяшной пижамке юное тело лежало навзничь, на застывшем со светло синими веками лице полыхал покой.

- О! – в зал вошёл Герман Иосифович и, близоруко склонившись над телом, как Всеволод пол часа назад над сгоревшим, тихо промолвил. – Лет десять, пожалуй. Ну, прям святая Цецилия. А что это у нас? – он извлёк из-под головы тонкий обрезок шнурка, ослабил узел. – Странгуляционная полосочка имеется. Такая юная, а в петлю.

- У себя, на ручке кровати удавилась. – через плечо заглянул хмурый чернолицый труповоз. – Записку оставила и удавилась. Отец ейный мануфактурой заведует, зажиточный. Там вроде с мачехой они что-то не поделили.

- А-а. – понимающе качал головой Герман Иосифович, выслушивая совершенно бесполезную для него информацию.

Через час Всеволод был с Федосеей Ивановной Окниной один на один. Девочке было одиннадцать с половиной лет, предположительное время смерти – между семнадцатью и восемнадцатью часами.

- Я тогда только из дому вышел, когда ты, Федосея, петлю себе на шейку пристраивала. А шейка-то у тебя какая. – он большим пальцем пощупал стронгулляционную вмятину, качнул кадык. – И личико у тебя смазливенькое, выросла бы красивая девчушка, глаза большие. – он приподнял лёгкое веко, сморщил его и с вожделением стал разглядывать застывший зрачок. – Нет, лучше с закрытыми глазами, у тебя тогда такое спокойное лицо. Боже, я уже хочу тебя. Ты уже холодненькая, конечно, на улице осень, да и у «зондеров» в машине не топят. А губки? Губки тёплые и даже мягкие, боже, какие мягкие. – он пальцем разжал челюсть, выбрал

собравшуюся у неё за щеками слюну и, неконтролируемо дрожа, засунул головку полового члена. – И во р-рту т-тьхоплая. – он быстро задвигал торсом, головкой чувствуя упругую щёку, твёрдое верхнее нёбо, неподвижный язык. – Ну-у… вот, х-хорошо, очень х-х-хорошо. – стащив с неё пижаму, он привычным уже движение придвинул Федосею к краю стола и с трудом протиснул член в узкий зёв едва подёрнутого волосами влагалища. Член тут же побагровел от крови.

Всеволод закричал, как от боли и кончил. Шатаясь, со спущенными до колен штанами, он дотянулся до шланга и стал водой промывать окровавленную промежность. Вдруг за спиной что-то щёлкнуло. Всеволод обернулся и, как и в первый день своего дежурства увидел спину Кузьмы и поваленную им швабру под ногами. Кузьма испуганно на него покосился.

- Я н-не хотел. – проблеял Всеволод.

- Я понимаю. – Кузьма развернулся к нему. – Швабра вот… упала. – он кивнул на швабру.

- Я слышал.

Хромая, Кузьма прошёл в дальний угол зала.

- А…что с ногой? – не понимая зачем спросил Всеволод.

- Я в больнице был. – с интонацией, как будто ничего не произошло, как и в первую встречу слегка заторможено вещал Кузьма. – На мениске операцию делали. – он постучал по колену. Только я начальству не говорил. А то пришлось бы за свой счёт брать, а у меня больше источников дохода нет. Вот и пришлось соврать. – он помолчал и так же спокойно добавил. – Но я всё же должен сообщить о…о-о-о случившемся.

Когда Кузьма, наконец, замолк, и нервно подрагивающая кисть подсказывала, что душа с минуты на минуту покинет его тело, Всеволод водрузил тело на стол, снял одежду и методично одна за другой стал отчленять конечности. По задумке, он намеревался отчленённые конечности неглубоко закопать где-нибудь неподалёку в лесу и потихонечку носить их и прятать в мешки с конечностями, предназначенными для сжигания. Но вдруг, когда он вонзил рёберный нож в свежий операционный шов над мениском, в бескровном пространстве мелькнуло что-то белое. Распоров шов, Всеволод поддел непонятный предмет концом ножа и, к своему удивлению, обнаружил две скрученные в рулончики бумажки. Он моментально вспомнил, как ещё тогда, в гостинице, рассматривая письма из поезда, ему показались подозрительным, что у двух писем, как будто бы не хватало окончания, и даже неровный срез, как будто бумагу не отрезали, а, приложив линейку, оторвали. Он развернул сразу обе бумажки и стал бегло читать:

«Уйти в морг к мёртвым, а встретить и найти живых. Там ты встретишь мраморную бабушку. Но не увидишь её. Она будет в тебе. Иди дальше».

«Федосия умерла для тебя. Кузьма терпел. Не дожидайся ТУ-134, иди на поезд «Лесь – Старград». Там на телеге с Лихим в моно-город Чугунный огнебор. Тебя ждёт бабушка».

- Эй! Хозяин, отворяй! – в окно санитарской постучали кулаком. Так обычно делал Константин из бригады леворечных труповозов вместо того, чтобы звонить.

Всеволод метнулся, затем, замирая от страха, посмотрел на зал, там был беспорядок, у Федосии из промежности натекло, почти полностью расчленённый Кузьма раскинулся на столе, кровь на полу, на стенах, перевёрнутый в пылу борьбы шкаф с инструментами.

- Это ты Константин? – прошептал в открытую форточку Всеволод.

- Я. – не понимая, настороженно ответил тот. – А ты чего шепчешь?

- Шепчу? – ещё не зная, что предпринять, запнулся Всеволод. – Я…н-не один.

- А-а… – понятливо улыбнулся тот. – Ну, ты это, отворяй ворота. Я тебе тут работёнки подкину. Может, слышал, в Соломенном самолёт рухнул. Так к вам добрую половину покойников подвезут. Я вот под завязку забит, и Серый сейчас подгонит, так что поспать тебе вряд ли удастся.

Не став дослушивать, Всеволод выскочил в коридор и помчался к ритуальному залу. Одна единственная мысль пульсом стучала в его голове: «Опоздал». Справившись с задвижкой, он выскочил в лес, краем глаза заметив стоящую в тумане машину и заворачивающую с дороги вторую – квадратную носом и с прицепом.

Продравшись сквозь ельник, он, обогнул брошенную ферму, вдоль деревни, через кладбище и снова очутился уже в смешанном лесу. Завидев с возвышения железнодорожную насыпь, ринулся в овраг и тут нос к носу столкнулся с дедом.

- Что ж ты, милок, ломишься? – устало, словно из погреба спросил тот.

Зацепившись за скользкий от ночного мороза столб, Всеволод взглянул на деда и отпрянул. Припорошенный изморозью, в зелёной до земли бороде, босой, он был усыпан всяческими птицами: снегири, сойки, воробьи, стрижи, трясогузки – они копошились на нём, галдя и, то и дело, перепархивая с места на место.

- Ну что ж ты ломишься? – добро повторил старик. – Что лось в кукурузе. Ты ж успеваешь – поезд, поди, только из Толмачёво вышел. На, лучше землянички пожуй.

Он протянул Всеволоду каплевидную ягоду к губам.

- Ну же, смелее. Я сам тебя кормить буду. – и вдавил ягоду в стиснутые губы. – На ещё. – вторая ягода просочилась Всеволоду в рот. – Ещё вот поешь. – заводился дед.

- Всё-всё, хватит. – стал уварачиваться Всеволод, а потом принюхался. – А вы, дедушка, никак, покамши? – пристально посмотрел незнакомцу в глаза.

- Был грех. – дед, насупившись, повертел перед глазами коричневую от засохшего кала руку. И радостно выкрикнул: – Да ты ешь, Ваня! – и, зачерпнув из лукошка горсть земляники, стал грубо размазывать её Всеволоду по лицу. – Ну, а теперь беги! Беги, я сказал!

Всеволод, путаясь в ногах, бросился в кусты.

- Да не туда, евлупень. Туда! – старик вцепился ему в куртку и сильно толкнул в противоположную сторону на тропу.

Когда Всеволод выбежал к насыпи, товарняк уже таял вдали, и там же вдали перемигивались цветики вокзала.

- На Старград. – он протянул в окошко деньги и взволнованно покосился на часы. – Да быстрее же – поезд на подходе.

- Возьмите. – неприветливо прогнусавил кассир и протянул билет.

Уже была глубокая ночь. Сутки на ногах. Всеволод растянулся в глубоком кожаном кресле и, чувствуя, как гудящие ноги млеют, уставился в лепной потолок зала ожидания.

Спустя сутки, изнывая от жары, со скомяченным под мышкой ватником, с валенками в руке, босой, потный Всеволод бродил по вокзалу в поисках тени. Найдя подходящий уголок, он купил в разливочной стакан красного вина и плюхнулся на лавку, перевести дух. Предстояло теперь разыскать таинственного Лихого, с которым предстояло продолжить путь в Чугунный Огнебор. Но, судя по тому, что он успел разглядеть из вагона при подъезде – Старград был мощным сколоченным по последнему слову техники мегаполисом, трудно было представить на тесных, буквально стиснутых небоскрёбами и подвешенными на фланерах тучными торговыми центрами улочках хоть что-нибудь напоминавшее своим внешним видом телегу.

Он отхлебнул вина и, скучая, стал рассматривать постепенно переходивших на противоположную сторону платформы людей. В большинстве своём модные, с дополнительными конечностями, малополые, они, стараясь выдерживать личную дистанцию, располагались на узком перроне в шахматном порядке. Сначала Всеволод остановил свой взор на немолодой уже женщине в вызывающе открытом алом ошейнике,

она держала в руке не раскрытый банан и вроде собиралась его есть. Но тут к ней подошла похожая на неё женщина, и они стали оживлённо толкаться. Тогда Всеволод вырвал из редкой толпы миниатюрные без колготок ноги и стал рассматривать их владелицу: стройная с искусственно состаренными следами удалённого панциря на плечах девушка о чём-то спорила со своим спутником. Сильно контрастировавший с ней, он больше походил на деревенского жителя, Всеволод даже подумал, что ему не плохо было бы ездить на той самой телеге. Он энергично потрясывал редкой рыжей бородой и, то и дело поправляя очки, пытался в чём-то убедить свою спутницу. Всеволод, силясь, прислушался к разговору, но ветер дул ему в спину, унося с собой слова. Вдруг человек с бородой неожиданно резко взметнул руку, сдавил правую ноздрю и направленным ударом высморкался девушке на грудь, та, побагровев, отшатнулась, задрала юбку, вывалила член и стала мочиться на обидчика. Всеволод аж привстал от неожиданности. Но в этот момент к перрону подошёл поезд, и через минуту перрон уже был пуст. И лишь кривая лужица мочи напоминала теперь о недавнем конфликте.

Пока Всеволод пытался уложить в голове увиденное, прямо перед ним остановилась не то арба, не то телега для возки снопов, однокольная, с высокими копылами и передом, с широко разваленными боками. На ней в углублении из свалявшегося сена сидел полуголый в цветных порточках парень и, путаясь в верёвочных вожжах, пытался намотать их на горбыль. Мухортый, по-бабьи широкозадый конь заметно припадал на одно копыто.

- Ну что? Ты Всеволод? – сказал он левым ртом и тут же сплюнул правым. – Я Лихой. – представился он.

- Что-то ты не очень похож на китайца. – не найдясь, ответил Всеволод.

- Китаец? – в оба рта рассмеялся парень. – Ну, вы, барин, выдали? Такмо и живот оборвать можно. Где ж я ентых желтогубов видать мог, а то и мать моя Проскева дальше поскотины за жизнь свою не ходила, и вообще мы Толстопятовы уже пятым коленом токмо в семье воспроизводимся. Обычно, барин, первым делом интересуются, почему меня Лихим кличут, бывает, версии выдвигают, но китаец?.. – он снова рассмеялся.

Люди, гулявшие по перрону, стали коситься на Всеволода.

- Да?.. – замялся он. – А…а, нет, мы на этом…поедем?

- Ну да. – гордо произнёс Лихой и вздыбил коня, который, чтобы не побеспокоить окружавших его людей протиснул передние ноги сквозь меховые вытяжки и с треском подбросил дублирующую шкуру.

Всеволод взвесил презрительным взглядом ветхозаветную повозку и остановился на коне:

- А что ж грива то такая мятая да в колдобинах?

- Так то дворовушко гриву лошадке приплёл, всё уторо расчёсывал. Чем провинился перед ним? - пожал плечами Лихой и, заметив брезгливый взгляд Всеволода, добавил: – А вы, никак, барин, с валдайскими колокольцами да расписными дугами путешествовать собирались? – и немного обидевшись: – Может ещё цыган пригласить!? а желаете и извозчик для вас и споёт и спляшет ?!.что б с тиснением! лужёными бляшками! кожаными кистями…

- Ладно-ладно Лихой, не заводись, я так. – похлопал его по плечу Всеволод. – А всё же, почему Лихой?

– А поедем, там то вы, барин, и узнаете, отчего меня в народе Лихим кличут.

Всеволод подошёл к коню и погладил по обнажённым рёбрам – дублирующая шкура ещё не успела опуститься на место, подвязанный в кокову[28] хвост мелко затрясся.

- А что это ты. – он облизал испачканную кровью ладонь. – Меня барином кличешь и всё на вы?

- Так, а кто ж вы, как не барин?

- Не-е-т. – игра начинала доставлять Всеволоду удовольствие. – Ты скажи барин я, аль нет?

- Вроде… барин. – подозрительно прищурился парень.

- Так что ж ты мне, морда чумазая, по приветствии тыкнул? А!? – он приблизился к парню и с силой съездил тому по лицу.

- Что вы барин? – он стал растирать прыснувшую из вогнутого хряща кровь. – Я ж не мог знать, вы это аль не вы. Я ж не мог. – хныкал он.

- И почему от тебя, скотина. – он с новой силой ткнул парня в лицо пятернёй. – Да от тряхомудия твого смердить яко от старого сифилитика? А!?

- Так то от оводов мажемся. – размазывал кровавые сопли по лицу тот. – Видал, как шкуру попортили? – он кивнул на лошадь. – Ото и мажимси.

- Ладно, поехали. – Всеволод размял кисть. – А то люди на нас уже косятся.

Лихой тронул лошадь, и телега заскрипела.

- Мне велено вас в Чугунный Огнебор доставить. – поникшим голосом говорил он. – А это вёрст двадцать. Вы, барин, может, проголодались с

[28] «в кокову» – в узел – особый шик

дороги, там, у заставы кабачок один красный есть. Ежели прикажете, я остановлю.

- Посмотрим. – тихо произнёс Всеволод, убаюкиваемый мерным покачиванием телеги.

Лёжа в сене, он, то и дело проваливаясь в сон, осовело глядел, как раскачиваются насыщенно цветные силуэты небоскрёбов, плавно проплывают каркасы портовых механизмов, как исчезают в облаках несущие тросы кладовых и торговых складов, мачты высоковольтных башен, прорезиненные верхушки деревьев, сторожевые вышки лагеря, рукава столбовых колодцев…

- Приехали. Пр-р-р-р. – прокричал парень и, гремя упряжью, остановил лошадь. – Барин, вставайте.

- А? – Всеволод вздрогнул и открыл глаза – в бездонно васильковом небе застыл невидимый жаворонок. – Где мы?

- Ну, как вы так крепко спали, что у кабака я и будити вас не отважился. – и несколько обиженно добавил. – Так лихость мою и не повидали. Ну, да ладно. – щёлкнул себя по коленке и уже с интонацией гида добавил: - Так то – Чугунный Огнебор и есть, наше вам почтение – моно-городок на базе Кузнечного завода Горячих Штамповок.

- Да?

Вдруг пение соловья разорвал гул приближающегося двигателя, Всеволод приподнялся на локтях и увидел, как к остановке, на которой стояла их телега, приблизился автобус. Скрипнув рессорами, тот зашипел и отбросил двери.

- Ну, что ты лежишь? – Всеволода буквально выдернули из телеги. – Тебе что, особое приглошение нужно!?

- Да это ж Всеволод Георгиевич, ты что? – один мужик зло покосился на другого.

- Ой. – по-женски прикрыл тот рот рукой.

- С приездом Всеволод Георгиевич.

Подхватив его за руки, два близнеца – оба в безликих серых костюмах, проплешинах и в несуразных усах – поднесли его к автобусу и, прижав грудью к толпившимся у входа людям, стали, проталкивая, жать ему руки.

- О-очень приятно по-ознакомиться. – кряхтел от натуги один. – С, с в-вами Всев-волод, ух, Георгиевич, я Андреев, ух! – они все втроём как-то резко, под напором толпы сзади ввалились в переполненный автобус. – Ну, и слава Создателю. – смахнул со лба пот он. – Я Андреев Башар Александрович, а это мой брат Егор.

Ко всем внешним не достоинствам говорившего тут же прибавились раскрытые ярко алые губы и гнусавый глубоко в нос голосок.

- Перисвет много нам о вас рассказывал. – громко шептал Егор.

- Вы лучший. Лу-чший. – снова вцепился ему в кисть Башар.

- Но… – попытался было выяснить Всеволод, но толпа протолкнула его глубже, оставив братьев позади.

- Привет!

- Здравствуй Ляксей Дмитрич.

- Захар, как дела?

- Привет.

- Здорово, Илья!

- О, кум, и ты здесь!

Мужчины восторженно тянули друг другу руки и, ловя взгляд Всеволода, загадочно тому подмигивали. Автобус, издав истошный рёв, тронулся – толпа качнулась и спрессовалась.

- Ой, божечки. – раздался едва уловимый старушечий возглас.

Мужчины, что ехали в салоне как один рассмеялись.

Оставив за собой пустую остановку, автобус медленно набирал скорость, в салоне было много мужчин, женщин, детей, пожилых людей обоих полов. Было видно, что все близко знакомы друг с другом. В отличие от яркого неуправляемого мегаполиса здесь все ясно прочитывались, и во многом имели свойственное местечкам сходство: в усах, цвете волос, фасоне одежды, говоре... Люди радостно перекрикивались между собой, здоровались, те, что стояли близко – жарко жали друг другу ладони, перемигивались, будто затевают что-то. Казалось, что люди едут не на работу в душные и жаркие цеха Кузнечного завода, а на дружественный пикник с кострами, выпивкой, жареным мясом…

- Простите, Егор Алексан… – Всеволод как мог вывернул голову, обращаясь к едва торчавшему из толпы близнецу.

Но его перебили:

- Здравствуйте, товарищ. – сухенький старичок с густым наростом на лбу протиснулся к Всеволоду и двумя руками потряс его ладонь. – Мы очень рады, мы очень, очень рады… – словно шампанское искрился он.

В окне показался идентичный, тоже сильно переполненный пассажирами автобус. Всеволод заметил, как тот подмигнул фарами, и в салоне зазвучал восторженный мужской рёв, «искрящийся» старичок буквально вскарабкался Всеволоду по рубахе и в восторженном припадке стал его щипать, кто-то сзади по-братски хлопнул по плечу. Сразу за предыдущим автобусом показался следующий, и всё повторилось.

- Ну же, друг! – брызгал слюною ему в лицо всё тот же старик. – Почему вы так бледны?

- Ж-жарко. – скорее показал жестом, нежели ответил Всеволод.

А ему и на самом деле было не по себе: и без того жаркий от работы мощного бензинового двигателя автобус был наглухо закрыт окнами, на которых уже начала проступать испарина, мнущиеся, непонятно чем возбуждённые люди то и дело, норовя пожать ему руку, топтались по ногам, висли на плечах.

Тут автобус накренился и круто вывернул на широкую пустынную дорогу, послышался треск в репродукторе и взволнованный голос водителя произнёс:

- Дорогие жители города Чугунный Огнебор и наши дорогие гости, я рад приветствовать вас и от лица автобусного парка номер восемнадцать хочу сказать…

Пассажиры затаили дыхание.

- Слёзы. Древесина. Мысли. – с долгими паузами произнёс водитель.

И в эту секунду пространство вокруг Всеволода сократилось, на мгновение замерло тишиной, и взорвалось: окружавшие его люди с бешеной скоростью стали крошить друг друга. Словно в замедленном повторении Всеволод видел, как стоявший рядом с ним старичок, страшно исказив лицо, выхватил из рукава пиджака нож и впился им в пожилую так и не успевшую испугаться женщину, разрушив ей лицо, он с разворота перерубил тонкую шею дёрнувшейся, словно от удара током девочке. Вдруг, несомый беснующейся толпой, во Всеволода спиной ударился близнец Егор, он страшно, словно сильная рыба в голых руках бился телом, орудуя сразу двумя кухонными тесаками.

- М-м… – стиснув зубы, мычал он и, размахивая лезвиями над головой, практически в невесомости удерживал сухое тело попутчицы.

Густая пахнущая тмином кровь как из ведра сразу с шести сторон окатила Всеволода, он открыл рот и, пьянея, стал глотать её, жадно трясясь и перерождаясь. Не дожидаясь, пока его затопчут, он открыл перочинный нож и впился им в ползшую под ногами беременную девушку вспорол ей от лобка к правой груди живот, жёлтый жир вперемешку с кровью потёк по полу кто-то поскользнулся и молча грохнулся на пол Всеволод оторвал кусок платья и удушил им уже мёртвую лежавшую между сидений женщину тут же встал на живот зарезанной беременной оттолкнулся и чувствуя как тот проваливается у него под ногой оттолкнулся вцепился в волосы уже агонизировавшей у двери женщины подтянулся и расталкивая работающих локтями коленями зубами словно механизмы двигателя

мужчин стариков детей перевалился к сидениям тут же обезглавил визжавшую старуху и сорока восьмью точными ударами отправил на тот свет внучку что страшно раненая в ногу сидела на коленях тая от счастья он уже буквально рыбой скользил-купался в крови-небе краям глаза не переставая резать-испражняться он видел-мастурбировал как мужчины в набухших-пьяных от крови костюмах рвут-едят на части уже мёртвые тела…

В салоне стало ощутимо свободней, крики умирающих сменились воплями и стонами убивающих. Всеволод прополз к водительскому окну и, неожиданно для себя, завидев на встречной полосе автобус, завопил:

- Автобус! Братья!!! Автобус!

Все припали к окнам и, дрожа, и уже только внутренне конвульсируя, наблюдали, как за залитыми кровью окнами проезжавшего автобуса происходит не менее ожесточённая бойня. Как и в предыдущий раз, водители перемигнулись фарами.

Салон взорвался от рёва ликования.

- Ну что, никого не осталось?

Всеволод увидел, как к нему по груде изуродованных женских тел пробирается дед с шишкой над бровью. На плече и ухе у него висели полоски кожи, в руке был зажат скальп.

- Внимательно осмотритесь. Никого не осталось? – командовал он, сглатывая и силясь отдышаться. – Как вы Всеволод Георгиевич? Вам понравилось? Мы четыреста лет ожидали этого события.

- Смотрите ещё автобус! – прозвенел сломленный юношеский баритон, и все снова устремились к окнам.

Там бойня уже закончилась, и через забрызганные окна было видно, как похожие друг на друга мужчины пожимают друг другу руки и машут встречному автобусу. Довольный, раскрасневшийся водитель сменил табличку маршрута на «в депо» и тоже помахал рукой.

- Вфу-у-у…

- Охуенно.

Осознание проделанной работы свалилось на всех одновременно. Одновременно со вздохами облегчения послышался и истеричный смех.

- Поздравляю вас друзья. – снова ожил репродуктор. – За эти одиннадцать с половиной секунды вы стали мужчинами.

Раздались усталые благодарные аплодисменты. Всеволод снял рубаху и выжал её от крови, ему вдруг тоже сделалось смешно.

- Ну, как тебе моя Зоя? – рядом с ним на обезображенную спину, как на пень сел сутулый долговязый парень без бровей, в уже застывшей кровавой корке томился редкий тупей[29]. – Так сражался, ажно мыло в пахах.

- Простите?

- Ну, Зойка, супруга моя, ну, беременная, может, помните? – он похлопал по изрезанной спине ладонью и улыбался, веснушчатое лицо его было в крови. – Вы ещё на животе её прыгали.

- А-а. – что-то припоминаю, наморщил лоб Всеволод. – Там такая мясорубка была, что всё как в тумане. Вот, ушибся ещё. – он потёр ушибленный локоть.

- Ушиблись? Ой! Корней Корнеич! Корней Корнеич! – прокричал он в конец автобуса и уже Всеволоду пояснил: – Он механик у нас старший, но это так, а вообще он людей исцеляет. Корн!..

- Слышу-слышу. Ай! – вскочивший на гору мяса нескладный человек смешно поскользнулся и упал. – Боже правый. Чего тебе Зосим?

- Здесь Всеволод Георгиевич плечо выбил!

- Локоть.

- Да, локоть, нужно бы посмотреть!

- Ага-а-а…– Корней Корнеич разогнул Всеволоду руку и прослушал. – Ушиб, батенька, и, я вам хочу сказать серьёзный. Вам, я вам хочу сказать, дрожайший, повезло, что я с вами в одном автобусе еду, а то б, потом до самой смерти припарки бы ставили. Так расслабьтесь. – он потряс сустав и, медленно облизал его снизу вверх круговыми движениями.

- Охо-хо-хо…

- Что щекотно? – приятно улыбнулся тот.

- Не-а, просто язык у вас тёплый. О-хо-хо…

Веснущатый парень тем временем извлёк из жены матку, выдавил зародыша и, вертя в руках, брезгливо его рассматривал.

- Ну, вот и всё, минут через пять уже и забудете, что у вас там что-то ушиблено было. – улыбнулся «целитель».

- Спасибо, Корней Корнеич. А… – Всеволод вдруг заметил в толще кожи, крови, жировой прослойки и одежды золотой семерик. – Смотри-ка, верующая, а вот и ещё.

- Тут тоже распятие. – лениво нагнулся и сорвал с изуродованной шеи украшение ярко синий с явно деревенским обрезом панциря парень. – Во.

- Да уж. – веснущатый бросил труп зародыша в кучу мяса. – Моя тоже носила.

[29] тупей – взбитый хохол на голове

- Всё это, господа. – держа ухмылку, говорил Всеволод. – Напоминает мне эпизод давно минувших веков на древней Руси. Тогда граф Михайло Федотович Каменский прихоти для приказал борисоглебское духовенство псами борзыми порвать. - он согнул пальцами податливый семирик. – Вот и нынешняя наша бойня меня к подобным параллелям подталкивает, мужики. И сердцем чую, что правы вы. А вот в толк не возьму – за что?

- А пусть не шляются… – начал было, привстав, как за трибуной близнец Башар.

- Вот и я думаю! – продолжал мысль Всеволод. – Века сменяются, а истина, а… правда, вот, единственно ёмкое слово – правда, до скончания века останется недвижима! – и с оттягом хлопнув себя по колену, зычно пробасил: - Пусть не шляются!!! Как это по-русски!

Салон наполнился аплодисментами.

- Гляди, Зосим, чаго твоя Зойка употребляла. – раздался знакомый гнусавый баритон. Егор склонился над растоптанной роженицей и сухой полой пиджака протёр разбухшую от крови книгу. – Во! Не то Леснов, не то Лесков.

- Лесков, скорее. – сказал Корней Корнеич. – Был такой в древности дохтор.

- Да не дохтор, а писатель. – поправил его Всеволод.

- А не один ли хер? – почесал потылицу старик.

- А ну-ка дай.

Егор бросил ему книгу. Она так пропиталась кровью, что даже не раскрылась в полёте.

- Да, Лесков. – несколько раздражённый невежеством братьев Всеволод поднёс книгу к глазам. – Тут же видно – Лесков Н.С., издание, кажись ещё до засухи.

- А ну-ка прочти, милый, чего эта стерва па за Зосимиными плечами прочитывала.

Зосим, чуя приближающееся унижение, покраснел.

- Сейча-а-ас… – Всеволод попытался разлепить страницы. – Всё в крови – ни строчки не видать.

- А ты посмотри ближе к серёдке. – указал Егор. – Я когда энтую пакость обнаружил, она пальцем в закладке была. До последнего, видать, расставаться не желала.

- Ага – вот, почти абзац. - Всеволод аккуратно вырвал страницу. – Только пальцами замызгана.

- А можа ещё кой чем. – искривился в беззубой улыбке Корней Корнеич и лихо рассмеялся.

- Да им тварям только подавай. – старался скрыть волнение Зосим.

- Итак. Читаю. – объявил Всеволод, и в салоне воцарилась тишина. – А меня н-не суди. Тут сильно замазано. – Всеволод сощурился. – Меня не суди, что я пососу. Очень больно мне. А тебе ещё есть в свете утешение: его господь уж от тиранства избавил.

- Что-то не понятно ни хера. Какое тиранство?

- Я и сам не пойму. – всматривался в лист Всеволод. – Слушайте дальше: я так и вскрикнула: умер! Да за волосы себя схватила, а вижу, не мои волосы – белые. Что это. А она мне говорит: не пужайся, не пужайся, твоя голова ещё там побелела, как тебя из косы выпутали, а он жив и ото всего тиранства спасён: граф ему такую милость сделал, какой никому и не было – я тебе, как ночь придёт, всё расскажу, а теперь ещё пососу, отсосаться надо, жжёт сердце.

- Вот шельма! – Зосим в сердцах хлестанул себя ладонью по колену.

А Всеволод продолжал читать:

- И всё сосала, сосала и…заснула. Ночью, как все заснули, тётушка Дросида опять тихонечко встала, без огня подошла к окошечку, и, вижу, опять стоя пососа… Ну, судя по всему, пососала. – уже от себя добавил Всеволод и захлопнул книгу. – Дальше здесь всё в крови.

- Да уж. –удручённо вздохнул Корней Корнеич. – Змею ты на своём молодом теле пригрел Зосим.

- Как пить дать. – аж привстал близнец Егор . – Цельную анаконду, не иначе.

- С-сука. – прошипел Зосим и схаркнул на труп жены. – А ещё матерью собиралась стать. Знал бы, к хую б на пушечный выстрел не подпустил.

- Знал бы, не знал, а всё одно, она, чертовка хитростию бы твоего пряника выманила. Знашь кака ента для них услада.

- Дха-а-а-а… – выдохнул, уж почитай, весь автобус.

- Что, кости поблядушкам своим перемываете? – задорно пробалагурил репродуктор, и довольное лицо водителя на секунду появилось в окне.

- А моя в сто двенадцатом поехала. – туманно, словно бы сам себе произнёс за всю дорогу не проронивший ни слова плосколицый с глазами на выкате мужик. – Я ей Кирилла из литейного приставил…

- Епанчина или Кия?

- Епанчина… – несколько меланхолично ответил он. – Я ножа ему дал, в кухне давеча взял, а ему дал… Ирина спрашивает, это жена моя, никто не знает, куда нож подевался… а я говорю, подточить забрал. Она очень любила на кухне ку…

- Ну, начал – первые сопли. – заёрзал на трупе Корней Корнеич. – Смотри, Вилор, будешь заразу разносить, самого на пику посажу. Лучше вспомни, как ты её на юг, к океану, отдыхать отправлял. Ну, ты ещё возмущался. Так она, братья, ему в благодарность гонорею привезла в обнимку с ещё одним заморским гадом, которому названия ни один местный доктор и не сыскал. Во как. Я ещё вылечивал. – он прищёлкнул языком. – Коротка память, Вилор? А ты – на кухне. А как…

- Ладно-ладно… Не трави душу. Прав ты, и мы, братья, правы.

- Вы чувствуете? – из задней площадки пропел молодой человек с повязкой на лбу. – Воздух! Ну, воздух! – он пытливо восторженно глядел на присутствующих. – Дышится-то как свежо. Вы только вдумайтесь! И минуты не прошло, как в нашем городе не осталось этой мутированной бациллы, а дышится уже легче.

- И впрямь. - глубоко втянул носом воздух Зосим. – Только фекалии их ещё мешаются. А в целом…да…

- Дима, милый, глянь-ка там дружок. – сказал «искристый» старичок. – Ты рядом с коляской стоишь? Ну, вон ручка торчит. Переверни её. Ага. Там младенец должен быть.

- Этот? – парень с повязкой поднял за волосы годовалое тельце в пёстром комбинезоне.

- Ага, оно. – кивнул он. – Это Варечка, внучка, я хитростью её у дочки выманил. Сказал, что буду выгуливать её в парке, а они и рады. Я просто чего хочу. Я впопыхах душил её, да, кажется, не очень достаточно, живучая оказалась, падаль, кажись – в чём душа только держится: всё ручками мне пальцы норовила разжать. Посмотри, а?..

- Да, готова. Я тебе говорю. – он взвесил на ладони безжизненную головку. – Во, синяя вся.

- Ну, ты не доктор, готовая. – лязгнул зубным протезом дед. – Ты давай-ка, что б спокойнее мне спалось, тресни-ка её головой во-о-он об то кресло. Оно как раз на тебя смотрит.

- Ну, как знаешь. – и Дима, широко замахнувшись, расколол череп девочки о металлическую ручку сидения.

- Так то оно лучше будет, спокойнее... – умиротворённо проговорил дедушка. – Да брось ты её! Руки молодые не марай.

А автобус тем временем свернул на гравейку и помчался вдоль ровной полоски одинаковых коммерческих коттеджей. На каждом из них уже бились на ветру белые флаги с именами и цифрами количества погибших женщин, проживавших под их пластиковыми крышами. Практически на каждом крыльце сидели возбуждённые люди в ожидании труповозов,

завидев автобус, они по вскакивали с мест и, страстно размахивая руками, снятыми с убитых одеждами, даже срезанными волосами, приветствовали. Трупы либо уже были стащены к обочине, либо валялись во дворах, а в одном из дворов Всеволод даже успел разглядеть голую подвешенную за ноги женщину, которую избивал битой маленький белоголовый мальчик.

В воздухе витала атмосфера праздника, отовсюду долетали звуки музыки, радостных восклицаний, поздравлений, с площади доносился гул духового оркестра, в храме Преподобного Семирада били семитонные колокола, в небе парили разноцветные гелиевые шары.

Вдруг автобус так качнуло, что Всеволода отбросило – водитель с радостным воем выехал на обочину и стал давить сгруженные там тела.

- Давай нахуй! – неистовствовали, по-обезьяньи подпрыгивая, близнецы.

Дима с задней площадки выбил окно и, высунувшись по пояс, ловил ртом брызги крови. Кто-то с улицы подбежал и бросил ему отрезанную голову.

– Привет друзья! – орал он, ликующим людям. – Спасибо, брат! – он прижал подаренную голову к колесу, и кожа с лица моментально стесалась.

Всеволод решил повторить за Димой и тоже высунулся в окно и тут же получил оторванной рукой по лбу, чем вызвал приступ истерики у братьев.

- Дайте! Дайте мне ещё какую-нибудь тварь! – всё больше распаляясь, орал Всеволод.

И сразу же из нескольких дворов домочадцы стали, чем под руку попадётся отрезать куски жировых тканей и швырять их в автобус. Всеволод, что мог, ловил и под восторженные вопли бросавших рвал куски зубами. И тут, как в сказке, сразу из-за пышного орешника, словно распахнутый ларец, прямо в лицо ему и зачарованно замершим братьям выплыл красный двор, за раскрытыми настежь воротами, словно в больном спектакле, словно никого и ничего не видя, жутко топорщась всеми членами, семья из отца и двух мальчиков бурно выплясывали на превращённом в кашу трупе женщины, положенном крест накрест на ещё один женский труп, который в свою очередь был тоже накрест положен на ещё один женский, и под которым тоже накрест ле...

- Благодарю... – только и успел немо, давясь в благодарственных слезах, одними губами, одним движением души произнести Всеволод, и двор, словно прекрасное видение в пустынной глубине исчез.

По правую от автобуса сторону появился храм, и в салоне снова взорвался общий зверь! – люди, вопя и не моргая, смотрели на купола – главный из семи крестов, украшала прикреплённая сваркой, за ноги

распятая голая «служка» с изувеченным, словно бы взорванным изнутри влагалищем, в зубах её был зажат собственный клитор и мочевой пузырь с растерзанной маткой. Прихожане метали в неё ножи, вилы, топоры, кто-то даже забросил на крест собаку. Хмельной от неги батюшка, взобравшись на козырёк баптистерии, мастурбировал и, прыгая, как кенгуру по крыше пытался проповедовать.

Улицы Чугунного Огнебора кишели скорыми, труповозами, телегами, таксистами, простыми автолюбителями, решившими в честь праздника «подмочь в благих начинаниях». По центральной мостовой, как после обильного дождя текла кровь. Трупы сбрасывались прямо из окон высоток на мостовую, распугивая и, одновременно вызывая ликование у зевак.

Наконец автобус приблизился к пробке, что вереницей транспорта уходила за поворот в чащу. Покачивающиеся от танцующих людей автобусы перемежались с просевшими под тоннами мяса труповозами, переполненные трупами таксисты подкачивали шины, трупы были складированы даже на крышах, подвыпившие водители прямо на дороге играли в импровизированный «квадрат» головой.

- А мой племяш сегодня в поликлинике дежурил. – гордо рассказывал вдохновлённый всеобщим подъёмом Корней Корнеич. - Ему специально поддельный обходной лист сделали, как вроде он на права сдаёт, а на самом деле права у него давно уж есть. Всё боялся, что знакомую встретит, с которой в ДОСОАФ-е вместе учился. А друг его прикинулся за вроде молодого папаши, взял свёрток и в это послеродовое, или как у них у блядей оно называется отделение, ну куда они потом с этим мясом таскаются, пока то не вырастет. А он парень здоровый, думаю, особей десть не меньше положит.

- А я представляете, деда своего снарядил. – оживился Зосим. – Упёрся, понимаешь, хочу и всё! Говорю, тебя там самого зарежут или на худой конец когтями порвут. А он ни в какую. Представляете, какой дед боевой! Ну-у, я за него похлопотал, чтоб в Доме ветеранов подежурил, им аккурат на сегодня съезд запланировали.

- Постойте. А с банями как? – полюбопытствовал Всеволод. – Туда ж мужика не подсадишь.

- А там просто. О! Растяпа! – Корней Корнеич, рассмеявшись, указал на игравших в «квадрат» водителей. – Голову в кусты запульнули! Ха-ха. Растяпы.

- Так с баней, Корней Корнеич? – Всеволод проследил взглядом за отправившимся за новой головой водителем. Встав на открытую дверь

микроавтобуса и, подтащив к себе труп, он рассёк мышцы под челюстью и стал ножом нащупывать на шее межпозвонковый диск.

- Баня? – сразу не сообразил «целитель». – А-а, баня. Там всё просто. Мне один мужик рассказывал, он плотником служит в Солекаменске, так его отправили замки и рамы укрепить. Так он сказал, что их просто запрут в бане да газ запустят специальный.

- А мой сын в бассейне сейчас. – сказал близнец Егор и почесался за ухом.

- Да-а… – мечтательно протянул Зосим. – Хотел бы я на это посмотреть. Полный бассейн крови, распахнутые раздевалки, бельё, фекалии на голубом кафеле…Всегда об таком мечтал.

- Так вот, значит, о чём ты мечтаешь, когда шихту загребаешь. – любя толкнул его локтем Башар.

Когда очередь начала сокращаться и из-за деревьев уже показалось здание морга, Всеволод увидел, как люди в белых халатах, вытаскивая трупы из машин, складируют их на квадратные праздничные полотнища и, по команде крупного азиатской внешности мужчины в таком же халате и в поварском колпаке, волокут получившиеся горы в распахнутые настежь двери, другие в голубых хирургических рубашках без остановки подхватывали и забрасывали соскользнувшие с полотнища трупы прямо в окно.

Едва автобус, в котором ехал Всеволод, остановился, и распахнулись двери – ребята в халатах, взмокшие, едва стоящие на ногах влетели в салон и стали за конечности вытаскивать тела наружу. Те, словно сопротивляясь, цеплялись за конструкции одеждами, рваными ранами и застывшими кистями. Дождавшись, когда салон освободится, Всеволод вышел на улицу и аккуратно, чтобы не мешать работающим людям, прошёл вовнутрь здания.

- А-а-а! Всеволод Георгиевич, видите какой у нас ажиотаж! – человек в колпаке радушно обнял Всеволода. – Высоцкий, ты за старшего, я отлучусь! – крикнул он помощнику. – А вам я сейчас на глаз, так сказать, покажу, как идёт подготовка к празднику.

- Заслон Юрьевич. – окликнул его рабочий. – Там мясо освящённое прибыло из Панежи.

- А. Уже. – Заслон Юрьевич радостно потёр ладоши. – Начинайте отгружать, а я сейчас подойду.

Он взял Всеволода за локоть и увлёк за собой. Первое, что увидел Всеволод, когда они спустились на два пролёта по лестнице и оказались на узком сваренным из стального прута балкончике, был огромный, похожий

на ангар ярко освещённый зал, из-под заваленных телами проходов и кровосливов едва просматривались цементные углы разделочных столов, за каждым из которых работало сразу по два человека. Они ловкими отточенными движениями потрошили тела; кишечник и лёгкие тут же запихивали в прозрачные латексные мешки, затем разделывали трупы по суставам. В широком проёме в стене мелькалинагруженные трупами каталки. Упираясь в высокие борта, работники умело разъезжались в тесном пространстве коридора.

Тут у одной каталки отвалилось колесо, и трупы посыпались на пол, началась возня.

- Вот здесь у нас разделочная.

- Странно. – Всеволод носом втянул густой воздух.

- Что вас удивило? – Заслон Юрьевич томно приподнял смуглые веки.

- Да, вот, здесь, казалось бы, как нигде должно пахнуть трупами. – пожал плечами Всеволод. – А я вот ничего, кроме здорового мужского пота и не чувствую.

- Пота?! – энергично всплеснул руками Заслон Юрьевич. – Здесь не потом пахнет, а жизнью. Работают лучшие раздельщики из особого секретного подразделения, у каждого за плечами годы тренировок. Вы только всмотритесь им в лица – настоящие кентавры!

- Да уж. – Всеволод внимательно всмотрелся в раздельщиков. – Такое ощущение, что под кожей их лиц совсем нет мускул.

- Мда-а. – потёр переносицу Заслон Юрьевич. – Гель, гель и только гель. А вот здесь у нас сортировочный пункт. – он указал на щелевидные углубления в стене, к желобам которых то и дело пробирались раздельщики и сгружали из мешков части тел.

Начальник проводил Всеволода в соседний зал. Тот утопал в пару и гуле вытяжек, от непомерной энергоёмкости гигантских в четыре человеческих роста вентиляторов зал мигал светом, словно в дискотеке.

- Приёмщики. – сдержано произнёс Заслон Юрьевич, указывая на юрких полуголых ребят, что без остановки раскидывали по тачкам куски с движущегося ленточного конвейера. – Ну, и собственно непосредственно сама кухня. – он сарафанно развёл руками. – Непосредственно вотчина вашего покорного слуги. – скромно поклонился. – Здесь опытные, повторюсь, повара разделяют пересыпанный материал на категории: салаты, рулеты, общие стандартные блюда, десерт и бой. Ну, вы понимаете, вроде, в утиль. Думаю, овчаркам будем постепенно скармливать, знаете, сколько в управлении собак служит…

Над суетой приёмщиков царственно возвышался монолит из тесно сбитых механизмов, на теле которого наростами выделялись огромные чаны. Плотная струя кипятка омывала ровную полосу основного конвейера. В его порах лежали рассортированные куски тел. У основания станины светилась внутренним огнём смежная яма – тлели большие овинные чурки, над ямой, на козлах висели многоведёрные с гуммиарабиковыми кольцами котлы. Всеволод сквозь влажный парящий в воздухе навар всмотрелся в жар – под котлом румянились да белели плоские булыги. Аккурат над котлом, едва приоткрывая вытяжки, опираясь на громадные брёвна, стоял чан. Под него подсунута промазученная колода. Рядом, не давая вытяжкам разойтись во всю мочь, торчали завешенные тулупами отороки.

- Там, на дне тшана есть отверстие. – заметив интерес Всеволода, произнёс Заслон Юрьевич. – Прям по серёдке. Видите, она заткнута кедровым стырем. Видите, его сейчас прогревают кипятком. Если вы подождёте, м-м-м… минут с десять, то увидите, как повара засыпят туда крупномолотые голени – это как правило после пятидесяти лет, затем о кедровый стырь их позатирают, окислят солодом с брюквенным соком и зальют водой. Потом начнётся непосредственно, варка.

- Всё так сложно. – почесал затылок Всеволод. – А-а почему, именно крупномолотые голени и именно о кедровый стырь?

- Ну, что вы, мне ли вам объяснять, какую важную роль сыграет предстоящий пир в жизни наших горожан. Всё-всё по ритуалам посвящённых, никакой отсебятины. Единственно приправы, приправы разрабатывал я лично.

- И всё-таки, что получится из голеней?

- Из крупномолотых – стваржевый кисель, из мелкотёртых – костяная сметана, как гарнир будет подаваться. А вот и повара.

К станине подошли два рослых повара, к ним тут же подтащили тачанку с раскалёнными камнями. Их сложили в кручёный из берёзовых прутьев кошель и опустили в чан. Тем временем пожилой работник с хрящами на глазах стал мастерить решётчатый терем, тот был высотой с чан. Выбрав с конвеера подъязычные кости и вплетя их в расщепленные планки, он тутже заполнил мокрой соломой пустоты и, прихватив обрезками кожи, заламал нижние концы наружу.

- Это Сильвестр Дмитриевич фильтр мастерит. – склонился к уху Заслон Юрьевич. – Уже восьмой за сегодня, крепкий старичок. Сейчас они его на штырь насадят. Вот.

- Майна! – прокричал повар и сделал пометку у себя в журнале.

Работники, перекрестившись, открыли утепление и стали расширять штырь и постепенно, малыми порциями подавать в кипящую воду молотые голени. Едва касаясь воды, они сметанились и камнем шли ко дну, где их тутже встречал работник контролировавший колоду. Он сразу выбил шкворень и в тонкую щель выпрасталась розовая слизь. Повар попробовал из ковшика, одобрительно кивнул. Рабочий стал разливать порции по деревянным насадкам и ставить те на ленту медленно тянущуюся к холодильной камере.

- Это другач. Только для детей и стариков. – внимательно следил за процессом Заслон Юрьевич. – Он, видите, розовый. Сейчас его прогонят и пойдёт еремо – изжелта бурый. Его сразу в холодильник нельзя – сукровица забродит, его сначала сливают в ходунью, выжидают часа два и только тогда уже в холодок. Ну, ладно, пойдёмте я вам жидкостной цех покажу – напитки там варятся.

Едва они переступили порог «жидкостной», как услышали крик:

- А когда навеселивают ходунью, то пляшут округ неё, что б ходило лучше!

- Ты, Никанор, думай!..

- Кх-кх. – зычно откашлялся в кулак Заслон Юрьевич.

Переругивавшиеся старики в прозрачных гелевых костюмах, заметно стушевавшись, отдали ему честь.

- Что случилось?

- Рассудите, Заслон Юрьевич. – сделал шаг с поклоном один старик. – Никанор Ермолаевич «желудошку» варит жидкую, а от ей в горле дереть буде.

- Энта у тебя горло бракованное. – зло покосился на него другой. – Скарпиён рыжий. Не знашь, како оно бывать должно, а всё лезешь. Жидко! Зато у меня проварено.

- Никанор, не дури. Добрая «желудушка» она платок держет и на вид красива и пить вкусно и шипуча. А ты, замест спора со мной лучше бы не ленился да желудочный сок на центрифуге прокручивал поболе, глядишь и не оправдывался бы сейчас.

- А ну-ка, дайте на пробу. – нахмурился Заслон Юрьевич.

- Испейте. – Никанор протянул ему плошку с желтоватой жидкостью.

Заслон Юрьевич, понюхав и обмакнув палец, отпил, поводил по нёбу, проглотил. Взял плошку у другого старика, отпил.

- Ты. – он холодно указал на первого старика. – На треть больше желчные пузыри вываривай – горчит и попроси Совского, что б с асцитом тел шесть притащил. Если вам ещё восемь чанов варить. Да. По двести

грамм жидкости из брюшины на чан добавь, не лишнее будт. А ты – жировые ткани потолще выбирай да вываривай их подольше. И что б никакого фосфора! Всё.

В печном цеху оказалось на удивление прохладно. Массивные кубообразные печи стоявшие по периметру, были плотно закрыты и лишь за стёклами виднелось, как пекутся, покрываясь бликующей красной коркой, мясные пироги. Не штукатуренные белого кирпича стены глядели неприветливо.

- Кухня для элиты. – Заслон Юрьевич так пожал плечами, словно извинился.

- Мда-а. – криво улыбнулся Всеволод.

- Скажете парадокс? – выпучился Заслон Юрьевич. – И не угадаете. Знаю о чём вы думаете – не выполнют наших, в смысле, с верху распоряжений, не уважают, дескать. А я вам так скажу, глубокоуважаемый Всеволод Георгиевич, я нарочно привёл вас в этот цех в последнюю очередь. Да-да. Я хотел, что бы вы увидели, на сколько крепко не уважаем мы ваше ведомство.

Всеволод почувствовал, как тело его пронзил жар. Чувство, посетившее его напомнило ту далёкую трагедию, когда жена, Ирма, в лёгкой беседе, рассказывая о флирте своей подруги, страшно оговорилась. Проглотив буквально какое то окончание или междометие, она заставила Всеволода на полторы минуты принять тот факт, что жена с такой лёгкостью рассказывает о своей измене, шутя, гримасничая, словно бы даже не извиняясь…

- Умбр-р-р. – Всеволод потряс головой и настороженно заглянул Заслону Юрьевичу в лицо.

Тот стоял ровно и смотрел прямо, словно бы выжидая, что б напасть.

- Шутка! – вдруг зычно произнёс он и заливисто рассмеялся. – Шутка, Всеволод Георгиевич. Решил вас развлечь.

Всеволод сглотнул ком.

- Прошу вас сюда. – он указал Всеволоду на полупрозрачные двери.

Двери бесшумно отворились.

В низком, невероятно стерильном помещении работало несколько человек. Скоро перебирая руками, они скатывали мясные столбики и, начинив, каждый из своего лотка, протвенями заправляли в печи. Отворились ворота, и по рельсам вкатилась одиночная каталка.

- На муку принемай. – хмурной молодой человек сгрузл с каталки два сильно изувеченных тела.

- Вань, давай скоро. Тащи к машине. – один из поваров отошёл от стола и отворил люк дробильной машины.

Общими усилиями они вложили в машину тела. Повар закрыл люк и нажал пуск. Было слышно, как тела, несколько раз стукнулись внутри машины и тут же разлетлись в мелкие шматки. Машина легко загудела. В лоток посыпалась бурая мука, из слива в ведро закапала раскалённая жидкость. Щипцами повылавливав случайно попавшие кусочки костей, повара залили муку кипятком и, размешав и слив гущу, стали лепить из неё пироги. Старший повар разминал большие сгибни и лепил из них калачи, младший совал их в печь и в перерыве скручивал колбаски.

- Рыбников, милый. – окликнул повара Заслон Юрьевич. – Будь сладок, испеки нам с высокопоставленным гостем сочень. Только с гематомы да желательно с ляжки. – и уже Всеволоду: – Сочени у него сногсшибательные. Лично я его четыре года на свиньях тренировал.

Повар молниеносным движением скалки взбил сочень, потряс, насадил на черенок ухвата и сунул в печь. Сочень тут же вздулся, и получился как бы зажаренный с обеих боков пузырь.

- Приятного аппетита, господа. – сдержано кивнул головой повар.

- Ух, горячий. – Заслон Юрьевич, пербрасывая сочень из руки в руку, шумно остужал его губами.

А главные повара тем временем разложили на столе новую партию обрезков, то были бёдра, груди, брюшина, загривки, затылки. Работая в четыре руки, они раскатывали слои мяса в некое подобие раскрытой утробы, затем ровным слоем выкладывали разведённые с кровью толчёные молочные железы с салом, загибали и ущипывали края, поливали костной сметаной, посыпали мелкоподроблеными лопатками и совали в горячую печь. Молочные железы толкли здесь же: младший помощник, мальчонка лет десяти прямо так, вместе с жировой тканью грубо размалывал их на ручных жерновах, ручным огнём выжигал и перетирал пестами. Тут же из кусочков потолще пекли рогули. Вместо молочных желез добавляли гущу – разваренные, напоминающие саламат ягодичные мышцы. Загибали начинку, и она прела в мясе, выделяя сок.

- Ну, как вам сочень?

- Очень вкусно. – Всеволод жадно впился зубами в свежее мясо.

- Мой личный рецепт. – гордо произнёс Заслон Юрьевич. – Вот слушайте: мелко нарубленную травмированную ткань необходимо запечатать в сочень, ткань желательно с внешней стороны ляжки, две-три неспелые брюквы и долька лимона, и в печь, но лишь на мгновение, чтобы сиченики не успели упариться и ткань не запеклась, а осталась влажной.

Ну, песня! Песня, не меньше! Так же по моему рецепту здесь изготавливают бычень – издревле известное, как пан-блин. Берём нерожавшую матку, варим её в асцитной жидкости с лимонным соком и фаршеруем ушными или носовыми хрящами. Ну? Слюнки ещё не потекли?

- Исключительно, потому что мой рот занят соченем. – учтиво парировал Всеволод.

- Ой, как же вы меня радуете своими речами! Лучшей похвалы для повара и не сыщешь. А тогда, как вам такое блюдо. Я разработал его ещё в институте, а позже усовершенствовал. Название решил оставить ещё институтское, несколько юношески-максималистическое, но всё же – «Мама под печёночным вареньем». Слушайте: сырую гортань вымачиваем в отсасывающей кислоте и заправляем перетёртым языком с нарезанными полосочками спинного мозга. Это, так сказать, «вкусовой диверсант». А раз это «диверсант», значит к нему должно быть подготовлено некоторое пространство, на кое будут распространяться его чары. Так вот, я беру заранее фаршированное прожаренными с расжиженными костями пальцами ног и рук влагалище, ввожу в него «диверсанта» и с обеих сторон ушиваю жилами. И вот блюдо на столе, вы видите его и желаете, но! Но… из названия мы видим, что чего-то не хватает. Чего?

- Соуса… наверно. – пожал плечами Всеволод.

- «Мама под печёночным вареньем». – не услышав ответа, увлечённо рассказывал Заслон Юрьевич. – Готовим печёночное варенье. Необходимые ингридиенты: здоровая печень – раз, можжечок – два. Печень необходимо отмочить и опихать. Но только здоровую печень, запомните это, как дважды два. Из раковой или церрозной можно делать только пудру или на худой конец присыпку. Опиханную печень варим в смеси с ободранным можжечком четверть часа, затем разливаем по горшкам и томим в печи. В подогретом виде подаём к столу, где уже глубокоуважаемые гости будут им по своему вкусу поливать нашу «маму». Во как!!! И особый деликатес. Скажу по секрету – мэру на стол готовим. У него ж там полный набор: и дочери, и мать и-и-и… А-а… – он махнул рукой. – Значит так, отрезанные головы вымачиваются в разжижителе костей, подмораживаются, чтобы с ними можно было работать. Аккуратно вырезается в форме розы вся верхняя часть головы до бровей и затылка, срез обильно поливается сбродившей мочевиной и абсорбированным из желудочного сока маслом. В места прободения можно вдавливать дольки лимона или оливки, по вкусу клиента. Есть нужно ложками, как мороженное из стаканчиков. Подаётся на продолговатых блюдах и обязательно в сопровождении «десяточки». Это наши ребята так шутливо

прозвали. Десять сантиметров прямой кишки, чья голова, та и кишка, фаршируются либо калом, допускается конечно и посторонний, но желательно уже бывшим в нём, либо перетёртым желудком и остальным кишечником. Затем, уже нафаршированный участок кишки плотно обматывается куском грубой кожи и парится в чугунах, затем сушится на печном поду и опихивается. А уже ободрав запёкшуюся кожуру, «десяточка» выкладывается как на тарелку на затылочную часть лоскута, перед головой. Волосы коротко острижены, лоскут немного подрезан в нескольких местах, чтобы он лёг ровно, не топорщась. Кстати, два слова о лоскуте – его ведь тоже нужно суметь приготовить. Первым делом лоскут затваривается в солевом растворе, пропекается со стороны мозговой оболочки на постном масле. И когда уже прожаренный лоскут становится обширный и тоненький, как бумага, чтоб просвечивал, на него выкладываются спиралью солёные рыжики, давленая черника, брусника, затем он скатывается жгутом и складывается в четыре раза. Омазывать можно топлёным жиром или выработкой из желез влагалища. По желанию можно присыпать заспой. Вот такие вот пироги, уважаемый Всеволод Георгиевич. И всё это стало реальностью благодаря вашему ведомству. Да-да, я уверен, что вы не касались чисто бытовых вопросов, там, закупка оборудования, подготовка персонала. Поэтому, я вам докладываю, что всё это великолепие было закуплено ещё за пять лет до праздника, четыре раза испытывалось, три успешно.

- Да? А что это, извините, за каракатица, треску от неё. – Всеволод прикрыл уши.

- А-а. Это? – Заслон Юрьевич последовал примеру Всеволода и, повысив и без того зычный голос, продолжал: – Только что включилась! Это костедробитель! Он, кстати, в этой конструкции единственный не эксклюзивный элемент! Мы посчитали, что будет дорого, и взяли стандартный, какой используется в крематориях!

Прямо на глазах подтянулся лоток, доверху наполненный розовыми костями и, опрокинулся в жерло костедробилки.

- Да-а… Впечатляет.

- Впечатляет? – несколько смутился Заслон Юрьевич. – Послушайте, а давайте выйдем на задний дворик, я так устал от этого шума. Вроде всего-то часа три работаю, а, кажется, целая вечность. – они вышли за ворота. – Ну вот, здесь потише. – Заслон Юрьевич поднял своё жёлтое похожее на лошадиный череп лицо в небо. – Вот вы говорите, впечатляет. – он снял колпак. – И вправду, шумит, дробит, пыль клубами, остатки человеческого

организма перемалывает. А я вот…устал я от всего этого. Я ведь в закрытом ведомстве служу. Ну, вы и сами, конечно, знаете где.

Всеволод сделал вид, что понял и строго кивнул.

- Так вот аппетит у них отменный. Не всякий голодный будет так на еду набрасываться, как избалованный. А они. – он указал пальцем в небо. – Ох, какие избалованные. Всем избалованные: и вниманием и любовью и почестями и-и-и… и пищей. Хотя для них всё пища, этакая амброзия. Всё жрут, всё перемалывают. Ну да бог с ними. А я, в свою очередь должен для них мясо варить, жарить, выпекать. А мясо-то сами знаете чьё, они другим не питаются. И так меня за двадцать лет работы утомили эти застывшие мертвецкие гримасы, треск ломающихся суставов, шелест срезаемой кожи, эти рулеты, салаты, отбивные… Глаза б не смотрели. И-и-и я вот и обратил внимание, на то, как ваши глаза вспыхнули, когда вы костедробилку увидали. Я сразу тогда про себя подметил, что вы наш человек. Любите переваривать, разрушать, переделывать – человек-желудок. Вот скажите, только честно, ведь представляли, как кости там мнутся, как раструщиваются, становятся пылью? А?

- Несомненно.

- Вот и я о том же. Прямо беда какая-то, где бы ни был, что бы ни делал – всё одно представляю, как всё вокруг рушится, крошится, превращается в салат: салат – сын идущий с группкой одноклассников из школы, салат – жена, роскошно развалившаяся в своей прелести на перине, но теперь, слава богу, с ней покончено, - салат – автомобильная пробка, салат – встреча с друзьями. – он обхватил голову руками и затрясся. – Салат – могилки родственников…

Всеволод крепко по-мужски его обнял.

– И знаете, Всеволод … пожалуй, единственное, ну, за исключением одного, до сих пор не стало для меня салатом, как всё равно заколдованное. Из глубокого детства в наследство досталось, храню теперь, как реликвию. – глаза Заслона Юрьевича подёрнулись мутной плёнкой. – Помню, мальчишкой ещё собаку спасал от самоубийства. – дрожащим голосом рассказывал он. – Увидел, как она у дороги бегает и всё под машину броситься норовит, и так кинется и так. А машины объезжают, сигналят, а собака ещё щенок, крупный такой, но щенок. И я подошёл к ней, стал упрашивать, а она в глаза мне смотрит, а сама всё под колёса норовит броситься. Весь день я за ней ходил. А она пряталась, то на одну дорогу выйдет, ляжет и ждёт машину, то на другую, то в воду лезла, да я всё доставал…

Он замолчал.

- И что дальше.

- Дальше… дальше я взял у отца ружьё и пристрелил.

- Да-а-а… история. – произнёс в пол голоса после минутного молчания Всеволод и потупился.

- История… И знаете… Я, может быть сейчас скажу дикость, но-о-о… мне иногда кажется, что единственный способ им избавиться от сладострастности к поеданию, это сварить и съесть собственную ступню. Да-да всего лишь ступню. Всего лишь нужно найти в себе мужество не побояться остаться инвалидом, не побояться умереть от болевого шока, не по-о… не побояться прожить целую микро жизнь в своей полноценной жизни. Ведь известны же истории ситуаций от обратного. Помните историю, как кузнец из Катовки сковал железные ноги искалеченному на войне родному брату. Помните? А про ослепшую кружевницу помните? Как вы думаете, это может помочь открыть глаза? Вот представьте, вы открываете кастрюлю с супом, запускаете черпак и выкладываете себе на тарелку, заметьте, превозмогая боль и отвращение, собственную ступню. Или просыпаетесь утром и встаёте с кровати на железные ноги. Вы идёте по ковру, а они… скрипят, идёте, а они…скрипят, ступаете на кафельный пол ванной комнаты, а они…лязг, лязг! лязг!! лязг!!! Да это же целая философия! А!?

Всеволод нерешительно пожал плечами.

- А помните, как у евреев было? – Заслон устремил воспалённый взгляд в небо. – Ещё Христос своих учеников призывал: «Если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь…»

- Вечную. – закончил за него Всеволод. – От Марка, кажется…

- О! И вы знаете! Этому вас, наверное, там обучают. Ну, я понимаю – политика, экстремисты, всё такое.

- Ну… – таинственно пожал плечами Всеволод.

- Метафора, конечно, но до одури живая.

- Метафора? – приподнял правую бровь Всеволод, но Заслон Юрьевич, не заметив этого, продолжал увлечённо рассуждать:

- Но то в масштабе вселенной. Вселенная глубоко, я понимаю, но ведь семья тоже глубоко. Начни с себя, потом с семьи, потом с… города. – он заговорщицки понизил голос и осмотрелся. – А потом уж… А если всей семьей, представьте. Сразу. А уж потом… – буравил глазами Заслон Юрьевич. – Вы, ваш старший сын, ваш младший сын, ваш отец – и все без одной ступни, потому что они перед вами вот на тарелке! Плоть Сына Человеческого, жертва галлюцинации именуемой сознанием, жертва

памяти предков. Ступни на тарелке – метафорический naturemorte достойный кисти Шардена. – он покрутил указательным пальцем в воздухе. – И вы должны их съесть и ещё и поднять бокал за свою инвалидность. И вы знаете, я разговаривал об этом со своим сыном, девятиклассником, и он понял меня и даже, представьте, поддержал. Головешка-то там, как у мышонка, а он понял и принял. Может это поможет ему избежать моих ошибок. Если не убийство матери, то хотя бы собственная варёная ступня помогут ему в жизни. - он достал носовой платок и вытер глаза. – Зарёванный, как педик. Прямо перед людьми стыдно. – он взглянул на Всеволода и отпрянул. – Ну вот! – в сердцах топнул ногой. – Теперь и мы – салат. Ну, да и чёрт с ним, скоро всё это закончится. Послушайте, вы очень мне понравились. А приходите ко мне на, на, даже не знаю, как это назвать, ну, в общем, мы с сыном и отцом будем есть свои ступни, а вы, как дорогой гость по присутствуете, а ежели пожелаете…то-о-о… ну вы понимаете, подумайте об этом. Это большая философия. – он сбегал в кухню и вернулся с бумажкой, быстро сунул её Всеволоду в нагрудный карман и, не попрощавшись, ушёл. В записке неровным почерком было выведено: «ул. Сольникова-Дергача, дом 3, квартира 300, к 12-30 дня».

- Мда-а-а. Совсем порванный парень. – посмотрел ему вслед Всеволод, прочитав записку. – А походу пирушка сегодня предстоит знатная.

В цеху снова заработала костедробилка.

Всеволод вышел из здания и хотел было вернуться к автобусу, как его чуть не сбил бесшумно выскользнувший из-под навеса джип Инфинити, минув площадь, он на огромной скорости вывернул на дорогу.

- Вот спешат! – добродушно и несколько радостно ворчал пожилой грузчик, аккуратно выкладывая плоские шматы мяса на каталку. – Все спешат. А куда? И время вместе с нами спешит. А куда? – он взялся за ручку и, раскачиваясь, покатил тачку в ворота.

Тут, на подъёме, тачка накренилась, и два верхних куска съехали на асфальт.

- Эй. – крикнул Всеволод, но рабочий уже и сам заметил и, вернувшись, ловко забросил мясо назад.

На асфальте остался лежать пропитанный кровью листок бумаги. Не заметив его, грузчик удалился.

«У преступления нет срока давности. Плати своей кровью, свинья. Я видел тебя всего четырежды. Трижды жал твою поганую руку. Тот дом, что ты осквернил вчера, завтра будет разорён. Возьми камень, пока ещё бьётся кровь в венах того, что виноват. Камень смрадный, как жизнь твоя, камень спрессованный, как твой труп, камень вечно не могущий выйти, видя

выход, как все твои дела, камень причиняющий боль, как твой член, бесплодный, роковой, случайный, безвыходный… В анусе ищи дитя своего греха и увидишь, как безобразно оно. В Холм-заветный езжай, как людей без ног навестишь и там ветер приведёт. Узнаешь по татарину».

Всеволод убрал письмо в карман.

Ближе к вечеру к зданию Дома Культуры стали подтягиваться горожане: сладостно возбуждённые, в недорогих, но аккуратных костюмах, тесными дружескими группками.

- Это ребята с трубо-литейного. – не сбрасывая ослепительной улыбки с полного лица докладывал Всеволоду мэр города. – Здравствуйте ребята! – он помахал им ладонью.

- А это ударники, в утеплительном трудятся, вымпелоносцы.

- Здравствуйте Кузьма Кузьмич. – кивнул головой рубленный лицом с дыркой в ряду жёлтых зубов молодой рабочий.

- Здравствуй Толя. – показал белую ладонь мэр.

- Непосредственно бригадир ихний Анатолий Иванович Пырев. – словно бы по секрету, понизив голос, возбуждённо докладывал мэр Всеволоду. – Первый среди первых.

- Здравствуйте Кузьма Кузьмич. – хором поздоровались коротко стриженные в одинаковых тёмно синих жилетах с отражателями ребята.

- И моё вам. – снова ослепительно улыбнулся мэр. - Только со смены. – он снова понизил голос, обращаясь ко Всеволоду. – Наладчики наши: Пётр, Вильям, Оскар и Евгений Керенский. Представляете, Керенский у него фамилия. Я как узнал оху…

- Кузьма Кузьмич, добрый вечер!

- Добрый вечер, голубки вы мои!..

- А вы кого…потеряли, э-э-э, Кузьма Кузьмич? – решил прервать этот парад любезностей Всеволод.

- О! У меня четвертной праздник. Четвертник, так сказать, как у исаамитов. Вот считайте: мама – раз, жена – два, две дочки, студентки, - ещё раз-два. И того четыре. Вы не поверите – не в четыре, в сорок четыре раза в квартире дышать стало легче. Хотя этих двух блядей, Жанку с Маринкой, я и не видел-то почти: они у меня в Хабаровске в рыбном институте учились, там и жили в общежитии. А раз в месяц свои грязные пизды в выходной или праздник там какой привезут, так я на рыбалку с друзьями или в охоту снаряжусь. Почитай, как школу кончили, так я их и не видал.

- А… а убивали, как, если не видали?

- Не-е, убивал сам, только тогда и видал. В последний раз. – ломано рассмеялся мэр. – Вы только послушайте, обхохочитесь. Короче, звоню я этим проблядям, поднимает трубку одна, Марина, ну, по голосу чую, что только что член сосала, такая говорит: Аллё. Ну, я, в общем, говорю: Здравствуй доченька, давно не виделись, не слышались, как дела? Там Сю-сю-сю всякие. А она говорит: Всё хорошо папочка, учёба хорошо, даже отлично, в общежитии никто не обижает, библиотека у них, значит, шикарная. А я и говорю: Значит так, доченьки мои дорогие, у меня хорошая новость – я выиграл в лотерею огромную сумму и теперь, значит хочу купить вам с сестрой по огромному дому, по машине, тоже огромной, и положить им на счета по целой куче денег, что б на всю их развратную жизнь хватило. А она: ой, папочка, поздравляю! Ну, что ты. Нам со Снежкой и так хорошо, в общежитии тепло, мы вдвоём на целый блок живём, а на машину учиться нужно, а времени нет, диссертацию писать нужно, да ещё мы в этом году на второе высшее хотим параллельно поступить – дел столько, что и приехать некогда. А ты, ну, дескать, я, это она мне, скотина, говорит, лучше на эти деньги с мамой в кругосветное путешествие съезди, а часть в детские дома переведи, я тебе и адреса могу сообщить и в фонды всякие благотворительные. Ну и всякую подобную блядскую муть мне в уши срёт. – аж поморщился от омерзения мэр. – Я слушал-слушал, слушал-слушал, аж закипел весь. Но сдержался. Вежливо так попрощался. До свидания, говорю, доченька. Рад был слышать, привет, дескать, Снежанне. Ну, значит, задумался, чем бы и ещё заманить. И придумал. Послал телеграмму, что мама тяжело заболела и, ну, в общем, неровен час, и помереть может. Как миленькие прилетели! И дня не прошло. Примчались, значит, пизды горят, аж сквозь юбки их просвечиваются, соски выворачиваются – ну тошно, тошно, дорогой мой Всеволод Георгиевич на мерзость эту смотреть. Я как можно быстрее, задерживая дыхание, что б с мерзостью этой и не дышать рядом, затолкал их в ванную, запер, да газу туда напустил. Ну, заранее я там приготовил, всё закупорил, шланг подвёл…

- А жену?

- Жену. А я их с матерью тем же шлангом и задушил. Как говорится – одним махом. Подумываю шлангу этому в городе памятник поставить. Скульптора только толкового подыскать нужно будет. Так что можете меня поздравить.

- Поздравляю, Кузьма Кузьмич.

- Спасибо, коллега. Ну что ж. Можно и в зал проследовать, к массам, так сзать. – он широко зашагал ко входу.

В овальном, украшенном лепниной зале уже рассаживались за столы. Все присутствующие радостно галдели, отовсюду доносились поздравления, звон хрусталя, поскрипывание половиц. В белоснежных фарфоровых блюдах лежали полуметровые бордовые куски мяса.

Мэр с Всеволодом проследовали к венцу стола.

- Ну! – Кузьма Кузьмич высоко над головой задрал бокал с вином. – Я, на правах мэра города и на правах вашего друга, а не мне вам рассказывать, как я дружен с простым народом. Вот – ребята с «литейки». Я с ними по-простому, по корешам, ха-ха, так сказать. – он широким жестом указал на тут же оживлённо заёрзавшую группку людей. – А вот с прокатного. Здорово, голуби, давно ли с вами в курилке выпивали пивка? А?

- Да вчерась, кажись, и было, благодетель!

- О! То-то же! Коммунальщики, золотые вы мои! В доминошку меня шельмы, ой, частенько обыгрывают! – он игриво погрозил им пальцем.

- Кузьма Кузьмич.

- Кузь…

Напускно обиженно запричитали коммунальщики.

- А это моя гордость. – набирал обороты мэр. – Поднятый, можно сказать, с руин Тяжёлой штамповки, ребята с автобусного парка – отдельное вам спасибо за то, что откликнулись, что подставили, так сказать, своё автобусное плечо администрации. Спасибо вам ребята! –

Толпа довольно и в чём-то даже виновато загудела.

– Спасибо вам за этот стол, за вашу компанию, за радость, которую доставляет мне созерцание ваших счастливых так горячо любимых мною глаз. – он проглотил последний слог и на секунду показалось, что он вот-вот расплачется.

- Вам спасибо, Кузьма Кузьмич.

- Вы лучший мэр во вселенной.

- За Кузьму Кузьмича!

Все встали и как один выпили.

- Ну, право, право же. – довольно мялся мэр. – Право же паства моя. Я не заслужил. Что я один? Это всё мы, мы вместе…

Зал стал галдеть: каждый пытался подобрать искренне тёплые и единственно правильные эпитеты для мэра.

- Ну, тихо, тихо мои милые.

- Тише.

- Да тише же.

Зашикали за столом. Воцарилась тишина.

- Я хочу обратить ваше внимание на этот замечательно сервированный стол, вы только посмотрите на этот скотомогильник! Глаз радуется. На чудесно приготовленное мясо, и заметьте без специй, без приправ, живое, с позволения сказать, мясо наших мам, любовниц, наших дочерей, даже тёщи здесь есть.

Зал осторожно засмеялся.

- Вот, например, передо мной лежит блюдо. Читаю. – он поднёс к глазам сопроводительный лист. – Иволгина Снежанна Кузьминична. О! Точно. – он всмотрелся в спокойное лицо дочери. То украшенное мозговыми розами и «десяточкой» венчало поднос со своим же спрессованным мясом. – Возраст – 17 лет, вес 48 килограмм, рост 167 сантиметров. Во какая телятина вымахала! А, помню, на ладони мог усадить. Кариес… тут что-то неразборчиво, а вот – девственная плева нарушена, врождённые патологии отсутствуют, подпись приёмщика. Мда… образование – неоконченное высшее. – уже от себя добавил он. – Сигма опустошена. Мда-а…А вот, рядом, - Марина Кузьминична, тоже, как вы понимаете, Иволгина. – он, наморщившись, бегло прочёл сопроводительный лист. – Тоже…семнадцать лет. – сам себе сказал он. – Вот, сигма переполнена калом – домой потаскуха отраву свою везла, из самого Хабаровска тащила. В родное-то гнездо! А это – старуха – мать моя. – он шлёпнул по плоскому куску мяса. – Хм. – презрительно взвесил глазом. – Семён! Семё-ён!!!

Из-за кулисы выглянул смущённый молодой человек и, подойдя к столу, неловко кивнул.

- Официант от бога. Скромный очень. – как бы извинился за него мэр. – Но, жутко талантливый. – и, сморщившись, будто собрался отчитывать кого, посмотрел через плечо. – На, скорми это дерьмо собакам. – он демонстративно брезгливо взял со стола мясо и, держа двумя пальцами, протянул повару. – Только в лужу погрязнее брось. А это, вон нахуй!!! – швырнул в угол головы матери и жены и уже столу зычно объявил: - По мощам и елей! Товарищи. Так вот, я хочу выпить, друзья, за того, в чьих нежных руках все эти женщины обрели покой.

Семён забрал блюдо с мясом матери мэра и удалился.

Ночью в небе вспыхивали салюты, взмывали самодельные ракеты. А как рассвело, вереницы такси сонно поплелись по пустынным улицам, развозя одуревших от спиртного горожан по их разорённым квартирам.

На следующий день, Всеволод, как и договаривались, поднялся на последний этаж восемнадцати этажного здания ровно в 12-30. Отыскав нужную дверь, он потянулся к звонку, но тут увидел небольшую щель,

надавил на дверь, и тут же в коридор вырвались приглушённые стоны. На кухне он застал Заслона Юрьевича и его родных: мальчик, бледный до изумрудности с измученными тёмно лиловыми закрытыми веками полулежал на полу у мусорного ведра, и, опершись спиной о стену часто, как после пробежки дышал, то и дело повторяя «папа», в это время пожилой мужчина в розовой выцветшей рубахе и с плешью бинтовал ему обрезанную голень, лёжа на боку и придерживая ногу мальчика плечом, у него тоже не было ступни, на её месте краснел свежий набухший кровью моток бинта. Крепкий с мокрым пятном пота на белой рубахе Заслон Юрьевич отставив, словно бы он собирался плыть обрезанную в бинтах ногу, громко и в одинаковом ритме стеная, помешивал черпаком в небольшой кухонной кастрюле. На забрызганном кровью полу были разбросаны шприцы и вскрытые стеклянные ампулы. В тесном ярко освещённом помещении пахло варёным жиром.

- Добрый день, Заслон Юрьевич. – поздоровался Всеволод, всё ещё не в состоянии запретить себе рассматривать чужое горе.

- А!? – так вздрогнул растянувшийся на полу Заслон Юрьевич, что выплеснул себе на грудь кипяток. – Вы? Рано? – его лицо было обезображено переживаемыми мучениями, казалось, будто он сейчас закричит.

- Да как же рано? Как условились. – Всеволод протянул ему записку.

Тот взял бумажку и положил себе в нагрудный карман.

- Долго возились. Ой-й-й-й. Помогите…мне….вот сюда. – он скоро постучал по линолеуму.

Подхватив под плечи, Всеволод помог ему облокотиться о шкафчик.

Вообще было видно, что жильцы этой квартиры были не просто аккуратистами, а даже страдали некоторой формой извращённости: предельная белизна раковины, кафельных стен, сантехники – всё блестело, как если бы было куплено неделю назад. Но теперь на всей этой сверкающей белизне, как невеста на белом платье лежала грязь крови, она была повсюду: на стенах, на газовой плите, на кухонном гарнитуре. Одних тазов с розовой смесью из воды и крови Всеволод насчитал пять.

- Заслон. – просипел полу лежавший у мусорного ведра похожий на Эхнатона старик. Жилистый в шее, он имел фигуру гермафродита, широкие женские бедра буквально распирали брюки, из-под растрёпанной рубахи выглядывали острые груди, скошенную, несколько удлиненную голову скрывало мокрое полотенце. – Вадик сознание потерял.

Теперь он прижимал постепенно съезжавшее тело мальчика и озирался, ища, во что упереться здоровой ногой.

- Сейчас-сейчас… – Заслон стал шарить по полу, затем вынул из аптечки ампулу, откусил, наполнил шприц и попросил Всеволода вколоть мальчику в вену. - Счас очухается. – успокаивал он дрожащего от волнения деда. – Ну вот, Всеволод Георгиевич, и снова я приветствую вас на кухне. Только вот теперь я не рад. Я рассчитывал увидеть вас уже к столу, что б всё чинно и красиво. А вышло вот так. Ну, ничего, зато вы сегодня будете острее воспринимать пищу, поскольку воочию смогли заглянуть ха-ха, если так можно выразиться, по ту сторону бульона, где цыкают цыплята, где плачет срезанный укроп, где молится молодая картошка, а если б вы знали! дорогой мой Всеволод Георгиевич, как они боятся кипятка…

- Я надеюсь, Заслон Юрьевич, мне не придётся есть вашу ступню? – как можно тактичней поинтересовался Всеволод.

- Ну что вы, только если вы изъявите желание. Для вас я ещё с утра изготовил замечательный суп с водорослями, рецепт лично я разрабатывал для…ну, вы знаете.

Всеволод, как и тогда, деловито кивнул.

- Ну что. – Заслон Юрьевич распрямился и тут же застонал. – Так больно, представляете... – словно извиняясь, он пожал плечами и промокнул рукавом рубашки взмокший лоб. – Вот собственно моя кухня. Простите, что здесь такой беспорядок, обычно у меня церковная чистота. Даже не думал, что так тяжело будет это сделать. Представляете, сколько ни коли, всё равно чувствуешь нож, как он проникает в тебя, как там всё раздирает. Ужас! О! Вадмка проснулся. Ну, к-как ты, сынок? – тот вместо ответа прикрыл глаза. – Хилый совсем. – пояснил он. – И вроде в секции всякие его отправлял, и водой студёной мы обливались – всё нипочём, а тут сдался. Во. – он показал изодранную руку. – Всю руку мне искусал. Ну-ка? – он запустил черпак в мутную жижу и выловил ступню, бледно жёлтая она напоминала варёного кальмара. Понюхал. Вернул ступню обратно в кастрюлю, зачерпнул бульон и, подув, отпил. – Скоро готово будет. – констатировал он. – Только сольки маловато. Подайте мне, пожалуйста, соль. У меня за спиной должна стоять в пол литровой банке. Вот! – посолив и вернув банку Всеволоду, Заслон Юрьевич похлопал по корпусу газовую горелку. – У военных взял – полевая горелка, даже дождём не заливает. Добро, что догадался, а как бы сейчас? Встать совершенно не могу, и даже не то что б больно, а просто сил нет, не чувствую своё тело, как всё равно отсидел.

- Я закончил, сынок. – старик откинулся на спину и, как и внук, прикрыл глаза.

- Так, вы там не спите! Я должен видеть, что вы в сознании! – скомандовал Заслон. – Это мой отец – Юрий Игоревич. Ну, это так, я вас всех друг другу представлю, так сказать в торжественной обстановке, за столом. В общем, отец, ползи пока к столу и Вадимку захвати – тут уже почти всё готово. – он кивнул на кастрюлю. – Эй, ты в порядке?

Старик, не раскрывая глаз, перевалился на брюхо и, едва шевелясь, пополз к двери.

Стол было решено организовать в зале. Заслон Юрьевич приготовил всё заранее: постелил чистейшую скатерть, расставил столовые приборы, даже музыку включил, негромко, так, чтобы можно было общаться. Всеволод помог принести с кухни кастрюлю, хлеб, усадил хозяев за стол, помог переодеть смятые пропитавшиеся кровью и потом сорочки.

- Я вот вина принёс. – Всеволод поставил на стол спрятанную в бумажном пакете бутылку вина.

- Спасибо, спасибо дорогой Всеволод Георгиевич. Вино сейчас очень кстати, и кровь восстанавливает и силы. – Заслон Юрьевич попытался дотянуться до бутылки, но коснулся культёй пола и застонал так, что по лицу потекли слёзы. – Всё непросто, всё непросто, мои дорогие…

- Позвольте я? – Всеволод разлил вино по бокалам.

- Ну что ж! – торжественно произнёс Заслон. – Я не мастер говорить, поэтому и не буду, просто хочу представить присутствующим здесь моим любезным отцу и сыну нашего большого друга и такого большого человека, о коем даже в слух запрещено распространяться. Познакомьтесь – Всеволод Георгиевич, и вы в свою очередь познакомьтесь – Юрий Игоревич, мой достопочтенный отец.

- Очень приятно. – привстал Всеволод и пожал обескровленную кисть.

- И внук его, мой любезный сын Вадим.

- Приятно. – Всеволод кивнул головой.

Мальчик остался неподвижным.

- Ну, и хватит этикета. Приступим непосредственно к пище. Та-а-ак, держи отец. Тебе, как главе семьи, первому. – Заслон поддел вилкой разварившуюся ступню и плюхнул отцу на тарелку. – А пахнет-то как! – хлопнул в ладоши Заслон. – Знаю, что самого себя хвалить нехорошо, но…сам себя не похвалишь – никто не похвалит. – рассмеялся.

Юрий Игоревич с нескрываемым отвращением смотрел на свою ступню и, казалось, крепился, чтобы не стошнить.

- А сейчас сыночку моему разлюбимому, отцовской гордости и надежде.

- Это не моя! – визгливо пискнул Вадим и чуть не сполз со стула. – Не моя!

- Ну-ка. – Заслон рассмотрел ступню. – Да твоя, сынок, что ты. Это просто кожица слезла, вот ты и не признал. У дедушки со «шпорой» была. Ну, посмотри. Ноготок ты, помнишь, сбил, ну, летом…

- Ой, и намаялся я со «шпорой» той. – покачал головой старик. – А мать моя, бабушка ихняя. – он бегло заморгал. – Говорила, помниться: «Принимай всё за благо. Помни, даже лён, прежде чем выбелить в саже бучат».

Вадим сидел, вжавшись в спинку и, как на огромного паука смотрел на свою ступню.

- А вам Всеволод Георгиевич, позвольте, супу своего фирменного положу. – он запустил черпак в кастрюлю с заранее приготовленным супом и наполнил тарелку Всеволода до краёв. Вместе с черпаком в его тарелку попала и прозрачная полоска ороговелой кожи. Всеволод отметил это, но решил не омрачать праздник своей брезгливостью и с благодарностью кивнул. – Ну, пробуйте, кому нужна соль – она в солонке, кому перец – да вот же он. Ешьте! Ешьте!

- Очень вкусно. – хлебал суп Всеволод. – И в правду, вы мастер своего дела, великолепное блюдо. А представляете, какой каламбур со мной приключился на подходе к вам. – решил расслабить напряжённую атмосферу Всеволод. – Представьте, только перешёл я мост, пересёк луг, преодолел стадион…

- Аха-ах-а. – рассмеялся Заслон Юрьевич. – А вы мастер слова, мой дорогой.

- Ну, полно, вы выслушайте. Как вижу – идут на встречу мне двое мальчик лет четырёх и его отец. Мальчик и говорит папе: папа, а пойдём ту мышку посмотрим, на которую мы вчерась наступили. А отец ему и отвечает: зайка, ту мышку уж мошки слопали. Нет, ну вы представляете!?

Все кроме Вадима рассмеялись. А Юрия Игоревича особенно развеселил каламбур, он порозовел и схватился за вилку с ножом. Отрезав мизинец, он аккуратно, чтобы не пораниться о ноготь, обсосал его, выплюнул косточки.

- А ничего, на холодец похоже, только горячий.

- А то, отец, специальный рецепт. – оживился и Заслон Юрьевич. – Оно, мясо, как бы и не разваривается, но превращается в нечто рыхлое. Заметил, оно как бы сладковатое.

- Ага. – кивнул старик.

- Так это вытяжка из матки кенгуру.

- Э-эв-в-ве. – Вадима стошнило прямо себе на брюки.

- Ну вот, приехали. – похмурнел Заслон Юрьевич и демонстративно громко грохнул вилкой о стол.

- Я помогу. – дёрнулся было Всеволод, но Заслон Юрьевич жестом руки его остановил. – Не торопитесь. Пусть он в этом теперь посидит. Это будет ему наказанием. Ты понял, Вадим, это тебе наказание?

Тот сидел бледно-зелёный и, казалось, снова вот-вот потеряет сознание.

- Ну ладно, вы как хотите, а я лично проголодался. – Заслон Юрьевич стал с аппетитом обсасывать мясо с пятки. – У-у-ум… Кожица удалась. И вправду вкусно. – он подхватил салфеткой побежавший по подбородку бульон. – У-у-ум-м… – причмокивая, округлил глаза.

- Ой, кажись, объелся. – старик откинулся на спинку. – Только ногу дёргает.

- Потерпи, сразу после обеда я тебе укол сделаю. А пока вина выпей. Та-а-ак, а Вадим у нас значит в контре. – Заслон Юрьевич свёл густые брови. – Значит слово отца, дело отца, для нас уже не авторитет.

- М-меня тошнит. – едва слышно произнёс Вадим. – Я ничего не могу с собой поделать.

- Чем тебя тошнит!? Что ты лепишь! Ты ж с утра ничего не жрамши!

- Я у Сергея поел. – глаза его наполнились слезами. – Мы смотрели трансформера, а она гренки с какао приготовила. Мы и поели.

Заслон Юрьевич налился кровью.

- Ладно. – сдерживая себя чтобы не взорваться сказал он. – Прости, сынок, это я виноват. Не доглядел. Тогда. Тогда-а-а-а. Значит, мы сейчас поступаем так. Ты вызываешь у себя рвоту, э-э-э…как хочешь, хочешь кулак в горло, хочешь, ступню себе в рот положи, как хочешь. Но что б через минуту твой желудок был пуст! – и ударил кулаком по столу.

Вадим наклонился к тарелке, понюхал ступню и едва успел отпрянуть, как его вырвало.

- Всё! Всё, давай! – давил сына голосом Заслон Юрьевич. – Пальцы суй! Ну!

Вадим взял ступню и коснулся её губами, его ещё раз стошнило, теперь уже желчью.

- Ну, кажись, всё. - дедушка погладил Вадима по голове. – Отмучился малыш. Запей водичкой.

Давясь, Вадим отпил из стакана.

- Вот скажи мне Вадим. – уже мягче обратился к сыну Заслон Юрьевич. – Что для тебя ступня, хоть ты ещё и не отведал её, но всё же?

- Да дай ты мальчику дух перевести. – Юрий Игоревич изобразил в лице просьбу.

- Тогда ты, отец, ответь, что для тебя твоя отрезанная, отобранная у твоего тела ступня?

- Э-эм, м-м-м…для м-меня…э-э-э, для меня, это, ну…

- Ну-у-у-у? – Заслон Юрьевич торжественно застыл с бокалом в руке.

- Ну, это, как ты говорил, это, самобичевание, жертвоприношение, жертвоподношение, что-то глубинно связанное с… с половым влечением, ну, я это так, вот чувствуется, сынок, хоть, у-ух! Ещё, это, ответ на вопрос, что-то цементное ещё ощущается, как привкус, понимаешь, старуха какая-то мерещится. – Юрий Игоревич неопределённо пожал плечами.

- Ну, ладно, батя, ты что-то заговариваться стал, ну ни чего. – он ласково потеребил отцову кисть, что лежала на столе с зажатой меж пальцев коркой хлеба. И уже Всеволоду сказал, как бы извиняясь: - Старость… А ты, сынок, давай говори, что для тебя это. – он указал на лежавшую на тарелке ступню.

- Для меня? Ну, неполноценность, переход, мост в другую жизнь, степень отличия…ну, всё.

- Я-а-а-асно… Негусто. Но, спишем на молодость. – он снова сощурился по направлению к Всеволоду.

- Ну, а сам-то ты, сынок, как считаешь? – вдруг несколько с вызовом обратился к Заслону отец. – Одно дело, ты на ступне своей стоял, да сказки рассказывал, а теперь-то, однолапый, аль не поменялось ничего?

- Поменялось. – пафосно и с вызовом произнёс тот. – Появилось такое, такое, как вам сказать… инвалидность, невозможность причинить боль другому, жалость к себе, память об убитой собаке, будущее не состоявшееся преступление… этот список можно продолжать до бесконечности, но вот чего уж точно не было до, так это боли, простой физической боли, и у меня, отец, сейчас, как и у тебя дёргает. – он поморщился.

- И у меня. – прогнусавил Вадим, так и не прикоснувшись к ступне.

- Чушь какая-то получается. – заводился Заслон Юрьевич. - Причину боли-то я устранил, а боль осталась. Не понимаю…

- Да потому что боль не в ступне, сынок! – как с цепи сорвался Юрий Игоревич. – И даже не в культе, а в го-ло-ве-е-е-е! Голову ты себе должен был отрезать, а не ступню. – он стал в отчаянии бить себя кулаком по лысине.

Почувствовав общую панику, Вадим стал гадко по-бабьи плакать.

- Голову!? – бушевал Заслон Юрьевич. – Ты чего ревёшь, мясо!? Как голову!? Ты думаешь, что несёшь!? Тогда я не смог бы её съесть. – бросился он к отцу и грудью развернул свою тарелку – объеденная ступня вывалилась на скатерть, бульон стал жирной лужей расползаться по столу.

- А для чего тебе её есть!?

- Ну, ну…я просто обязан её физически разрушить.

- Кого – боль или ступню?!

- Ты меня запутал.

- Это ты себя запутал и нам головы задурил. Что теперь делать трём инвалидам!!?

Казалось, Заслон Юрьевич с отцом собираются разорвать друг друга. Но тут Заслон обмяк, плечи его затряслись, и он промычал:

- Простите…

- Ты изуродовал близким людям жизнь, а теперь простите. – оборвал его Юрий Игоревич. – Так не пойдёт.

- Прхо-с-ти-тхе.. – уже не прятал слёз Заслон Юрьевич.

- Дедушка, давай простим его. – не выдержал Вадим и припал старику к груди.

- Пусти-и-и!!!! – вырвался из цепких объятий дед. – Послушался идиота, и тебя, кровиночку, изуродовал, старый я болван.

- Боже. – сокрушался Заслон Юрьевич. – Я, кажется, всё понял. Какой ужас. – лицо его застыло гримасой. – Я всё понял.

- Да пошёл ты. – скрипел зубами дед. – Со своей философией, Ницше сраный. Дай хоть пожру спокойно, свою же ногу жру. – он истерично рассмеялся. – Кому скажу – не поверят. – он стал с жадностью расчленять ступню.

- Да вы послушайте меня. – взмолился Заслон. – Я всё понял. Это всего лишь та нога, которой я тогда собаке на горло наступил, перед тем как убить. Это всего лишь она меня мучила, как память, как физический объект, как совесть…

- Та собака?.. – аж привстал Всеволод, вспомнив услышанную вчера от Заслона Юрьевича историю.

- Ну, а мы то здесь при чём? – демонстративно набив полный рот мясом в явном нежелании продолжать беседу, спросил Юрий Игоревич. – Мы то с Вадимкой-то здесь причём?

- Именно, что не причём.

- Ребёнка инвалидом сделал. – ворчал себе под нос дед. – Знал бы - я б тогда ружьё это поганое на свалку выбросил, разломал бы и выбросил! – он

с хрустом разломил плюсневые кости. Если б знал, что всё так вот обернётся.

- И вы пострадали… – блуждал безумными глазами по комнате Заслон Юрьевич. – И вы, и вы, и вы… А, может, это символ?.. – блеск надежды вспыхнул в его глазах. – А? Как вы считаете? А? Поздние поклонники Солнца верили, что их бога распяли с двумя преступниками. Отец, вспомни, ты убивал когда-нибудь?

- Конечно. – немного поостыл Юрий Игоревич. – Я ж на войне бился, на мне трупов, как ни на одном маниаке будется.

- Сынок, а ты? – Заслон окунул сына в свои блаженные глаза.

Тот замялся.

- Ну, говори честно, сынок, Вадимка, милый, сейчас можно, момент истины настаёт. От того, что ты скажешь, многое зависит. Ну?..

- Ну было. – тихо засопел он. – Я мальчика одного задушил и на пляже закопал, когда мы в Паволье отдыхали, маму тогда ещё с работы не отпустили.

- Ну, вот – сходится! – едва не взлетел Заслон Юрьевич. – А я никого не убивал. Никогда. А может я святой, может я миссия?! Как вы считаете, возможно такое?..

- Миссии проповедуют. – уже начиная скучать, тихо сказал дед и отрыгнул. – Эта твоя корица. – он поморщился.

- А видения у вас бывают? – Всеволод решил, что будет не вежливо не проявить сейчас никакого внимания к персоне хозяина дома.

- Бывают. Я раз даже Плимера с Фабием видел, только не запомнил, что они говорили. Да я и сейчас вижу! Не верите!? – пот градом скатывался по воспалённому лицу Заслона Юрьевича.

- Простите, бога ради. – Всеволод виновато поклонился. – Я на минутку.

Он вышел в прихожую и тихонько, что б никто не услышал, набрал номер:

- Алё, это скорая? Пишите адрес. Здесь трое умалишённых отрезали себе ноги. Да, скорее.

Вдруг, не успел он ещё положить трубку, из зала послышался крик Юрия Игоревича:

- Это письмо!

И даже не крик, а плачь Заслона Юрьевича:

- Мне!!!

Всеволод, ощущая, как ватнеют ноги, вбежал в зал.

- Всеволод Георгиевич, быстрее. – молитвенно протягивая к нему руки с свёрнутым в трубочку посланием, трясся Заслон Юрьевич. – Мы записку нашли. Прочтите же скорее, мы с отцом близоруки, а Вадим мал ещё.

- Между таранной и пяточной костьми была захоронена. – с интонацией секретаря докладывал Юрий Игоревич.

Всеволод развернул записку:

«Как те ступни, принесённые в жертву глупыми и злыми хозяевами во имя большого дела, так и те несчастные, что пострадали из-за нерасторопности владыки нашего. Так знай же, медная, – сожалеет он о содеянном. Этаж седьмой, квартира подстать, только дубль, там сыщи ведро с попугаем».

- Ну? Ну что же вы молчите!? – как в лихорадке трясся Заслон Юрьевич. – Что там написано? Я что, я миссия? Ну?! Миссия? Боже, как символично – в ступне моего отца. Это, кажется, уже встречалось в житии святых, не помню только, каж…

Всеволод попятился к дверям.

- Не смей. – губа Заслона затряслась. – Слышишь, не смей!

- Й-й-а с-сейчвас. – Всеволод почувствовал, как обескровилось его лицо. – Й-й-а м-м-мигом-м…

- Ст-о-о-ой! – дед, словно с гранатой в атаку бросился на Всеволода и повис у того на брюках.

- Отдай письмо, слышишь… – превозмогая боль, подползал на руках к нему Заслон.

- Й-й-а м-мигом. – всё не мог совладать с собой Всеволод.

- Сто-о-о-ой! – снова закричал дед и, видимо стукнув обрубком ноги о ножку стола, разжал руки и, схватившись за голову, заорал.

Всеволод выскочил в прихожую и увидел, как перед ним лопнуло трюмо – брызги вина разлетелись по стене.

- Стой, ублюдок! – слышалось далеко по пролёту, когда он спускался по лестнице.

- Так, этаж седьмой. – Всеволод вбежал в коридор. – Кажись, здесь. А, вот, квартира две семёрки.

Он позвонил. Никто не открывал. Позвонил ещё раз.

- Что за чёрт? – Всеволоду показалось, что Заслон Юрьевич с семейством ползёт по пролёту за ним.

Тут замок захрустел и в приоткрытой двери возник заплаканный мужчина в очках, одно стекло было треснуто и, казалось, будто он косит.

- Что!? Что случилось!? – всё ещё не в состоянии взять себя в руки, Всеволод всматривался в его натёртые глаза.

- У-у нас п-п-попугай у-умер. – мужчина едва держался от горя на ногах. – За ним всегда С-с-светлана п-приглядывала. – заикался он. – А т-теперь её нет, и К-к-карл, К-карл. – у него из-за спины послышался громкий детский плач. – К-карл, он утонул…

- Разрешите. – Всеволод бесцеремонно оттолкнул мужчину и прошёл в зал, там, в красном углу на коленях стоял мальчик и молился, быстрым шагом направился в кухню – ведра и там не оказалось.

- Что вы делаете? – спросил мужчина, когда Всеволод налетел на него в прихожей.

- Да где же? – не замечал никого он.

Но вдруг увидел едва уловимый белёсый рефлекс на гибких стойках шкафа в углу, он проследил его траекторию – свет бил из щели двери туалета. Не колеблясь, Всеволод рванул на себя дверь: на полу коленопреклонно сидел абсолютно белый мальчик, перед ним в ведре плавало тело волнистого попугая. Схватив птицу, Всеволод выбежал на лестницу. Уже на выходе из подъезда, он разминулся с врачами скорой помощи. Забежав за угол, он спустился в элеваторную и, подхватив с пола кусок битой бутылки, разрезал им птицу, но та была пуста.

- Эу ы-вты! Вт-хы хтво тхувт дэхваэншь?!

Словно из-под земли возник бомжеватого вида мужик с объеденным лицом. Прокричав ещё что-то не членораздельное, он бросился Всеволоду на грудь и стал душить. Придя в себя, Всеволод тоже сдавил ему горло. Когда после минутной борьбы, бомж, захрипев, разжал хватку, изо рта его, прямо Всеволоду на лицо выпал бумажный свёрток. Как и всё, к чему в последние сутки ему доводилось прикасаться, свёрток был насквозь пропитан слюной, из разорванного края торчала миниатюрная медная ручка. В свёртке лежала бабушка, синяя от недостатка кислорода и сильно помятая, она едва шевелилась. Тут Всеволод услышал у себя за спиной топот и перегукивание.

- Он сюда зашёл.

- Осторожно, он, скорее всего, не в себе.

- Отключи рацию, участковый, - спугнёшь.

- Б-быстро. – бабушка судорожно глотала ртом воздух. – В-возьми то пис-сьмо, что т-ты из поезда за-абрал и положи себе на г-голову – под ним ты буд-дешь невидим для врагов с-своих.

Всеволод вынул из кармана ватника ворох писем, было некогда разбирать, которое из них именно то, и приложил всю кипу к затылку. В дверях появились милиционеры.

- Гляди, лейтенант, кажись труп.

- Пульс посмотри.

- Готов, скорее всего, задушен – вишь, как посинел. И тёплый.

- Значит, недалеко ушёл. За мной!

Они всей толпой пробежали мимо Всеволода.

Чёрная дыра. Опомнился Всеволод уже только в Холме-Заветном, сидя под липой и в задумчивости созерцая колодезное дно, ворох бумаг был по-прежнему прижат к затылку. Зорким оком блистало в казавшейся набухшей от сырости мгле дно. Запах ила, плесени, мокриц, едва уловимое амбре толчёного сахара… Всеволод неосторожно качнулся, тонко звякнув цепью, ведро скользнуло вниз, и глухо вздохнув, исчезло под водой. Не существующее отражение Всеволода заискрилось в кругах расходящихся волн. Испив, он присел на трухлявую доску, некогда служившую приступкой, и хотел было уже положить письма в карман, как вдруг его ноздрей коснулся густой приторно сладкий аромат. Всеволод принюхался – то был давно забытый им и оттого показавшийся ещё более родным и говорящим земляничный аромат. Ещё живая, млеющая в густой траве ягода, такая красная, почти алая… Всеволод вытер воображаемую кровь с губ.

- Ты ж змазался весь, скот! – выкрикнул он такие далёкие слова матери и, словно мокрыми панталонами съездил себе по лицу ладонью. И тут же, уже устало добавил: - Вытрись. Негоже так…

- Стой. Стой, мил человек. Богом прошу.

- А? – Всеволод вздрогнул и с удивлением обнаружил, что в чувственном бреду забрёл в лес.

- Остановись же, прошу. – повторил незнакомый старушечий голос из кустов.

Всеволод остановился.

- Это ж надо. – тужась, скрипела старушка. – Токмо присела, а ты, путник, тут как тут.

- Да где же вы? – Всеволод пригляделся к устам.

Миниатюрная седая головка в пол оборота глядела на него и часто моргала.

- Вижу, теперь вижу. – он приветливо махнул рукой.

- Да что ж ты видишь!? Ой. – старушка зашуршала кустами. – Уйди ж ты куда, дай посрать. Ну, прошу ж!

- А что ж ты, бабуля, дома не покакаешь? – Всеволод присел рядом в сухой мох и упёрся затылком в кору векового дуба. – Ух, гудиттть…

- Что гудить!? Что гудить!? Ента у меня гудить, ад слёз уж в соли вся. – зло рявкала старушка. – Домой. Ты поживись с моё – поглядим, как ты

дома слабиться будить. Поди тута угадай, где настигнить. Ой, шёл бы ты. Я уж неделю, почитай, не срамши. Тока чую подошло, мочи нет, а ты тут как тут…

- А, может, я тебе провидением послан, а бабуль, об этом ты не думала?

- С-сука. – старушка вышла из кустов и подтянула подол. – Всё. Тяперь знай когда ждаттть! – она демонстративно развела руками и на мясцах её проступили слёзы.

- Да не плачь ты бабуля. Я ж и впрямь помочь могу. – он стал прикидывать, как бабушке по толковее объяснить к какому доктору обратиться и сколько денег ей пожертвовать.

- А ты, никак, татарином будешь, милок? – бабушка смахнула слезинки и недоверчиво взвесила Всеволода глазами.

- М-м… а-а-а. – замычал Всеволод и так дёрнулся, что затылком стесал клок коры.

- Ась, милый?

- Бабуль! Да что ж ты молчала!? Я ж знаешь! Знаешь!? – он сдавил её сухонькое лицо ладонями и стал осыпать поцелуями.

- Ну, что ты, что ты? – шептала в смущении бабушка. – Я ж только и молвила, что ты на татарина похожий, аль на монгола, аль…

- Да буде, буде. – Всеволод усадил её на мох и сам подсел к ней. – Ну? – медной монетой сиял он. – Рассказывай, как звать, живёшь как, болит где.

- Ой. – всё смущалась она. – Да тута живу – за рекой. Алла Викторовна я, по мужу Аленёва, в девках Зеккель.

- А болит, болит что? – схватил её ветхие руки Всеволод и прижал к губам.

- Так тама и болит. Ты ж слыхал, как я тужилася. Как заперло меня, яко кто замок навесил, что тама и не пускаить, аж в голове отдаётся. А перед домашними неудобно – страх.

- Не дрейфь, Алла Викторовна – всё будет. С болячкой твоей знаком. Ты только слушай каку радостну весть я тебе принёс. У меня ж слюна с анастезией.

- …зией… – попыталась повторить незнакомое слово старушка.

- Ну, обезболивает она. Вот палец у вас заболит – я пососу – он и вылечится, голова заколет – я полижу – перестанет болеть, что венери…

- Ой. Ну, что ты? – бескровное лицо Аллы Викторовны сделалось пунцовым. – Что ты, милый.

- Я серьёзно. – убеждал её Всеволод.

- Нет… н-не могу. – уже скорее кокетничала она.

- Ну, это в ваших же интересах…

- Ну, право… я не знаю…

- Я вам говорю. Хворь вашу, как рукой снимет. – Всеволод взял её за талию и привлёк к себе.

- Н-не знаю. – выгнула она по-лебединому шею и выставила острые локотки.

- Доверьтесь мне, прошу вас, доверьтесь.

- Ну, ну, у меня не будет столько денег, что бы вас отблагодарить…

- О чём ты, Алла? – как можно более томно произнёс Всеволод и впился ей в губы.

- Постой, постой. – задыхалась она в страсти. – Постой. – она пальцем вытолкнул изо рта протез и, сделав явно увиденый в каком-нибудь ретро фильме жест, впилась в него ответно.

Обнажив ей плечи, Всеволод плавно целуя ключицы, распустил редкие седые волосы – те сухой паклей упали на спину.

- Я…я. – пытаясь говорить сквозь поцелуи, Алла Викторовна то и дело упиралась ему в губы ладонями. – Я совсем не знаю вашего имени.

- Давай, д-давай вот так. – не слушал её Всеволод.

Он резво развернул податливое тело и, задрав подол, жадно припал губами к торчавшему бурыми шишками из редких бесцветных волос анальному отверстию.

- А-а-ах. – взвыла, словно её лишили чести, Алла Викторовна и затихла.

Слизав нечистоты, Всеволод пристроил член к анусу и уже было собрался войти, как бабушка с невообразимой прытью выскользнула из-под него и, растрёпанная раскрасневшаяся, прижавшись к дубу, задыхаясь, выкрикнула:

- Сынок, милый, только дождись. – и бросилась в кусты.

- Да стой же ты. – Всеволод уверенно схватил её за руку.

- Мне…нужно. – взмолилась она.

- Стой-стой. – он снова стал осыпать сухое тело и лицо поцелуями. – Стой же…

- Ой! Ой! – она в ужасе округлила глаза и схватилась за зад. – Мне нужно.

- И мне нужно. – ровно сказал Всеволод и развернул её раком.

Едва его член вошёл в анус, как ему на колени хлынули испражнения. Алла Викторовна в ужасе вырывалась, но, одновременно и страстно билась.

- Закрепи Перкон мою борьбу. – Всеволод крепче прижал бабушку к дубу. – Ну! Давай, давай ещё сри! Сри на меня! – он с радостью победителя черпал говно ладонями и растирал его себе по лицу, как некогда встречный

дед растирал о него землянику, как некогда стегала по лицу обмоченными панталонами мать… – Давай же ещё!

Кончив, он припал выпачканными губами к сфинктеру и, то и дело вводя пальцы, стал вылизывать.

- Ум-м-м…какие сладенькие шишечки. – стонал он. – И ты сладенькая.

- И ты. И ты. – в сладостном бреду простонала бабушка и с новой силой стала испражняться.

В этот момент Всеволод ввёл поглубже палец, она взвыла от боли и удовольствия, потеряла сознание, каловая бабушка выпала ему на ладонь…

После секса Всеволод помыл руки в ручье, замотал спящую каловую бабушку в носовой платок и засунул в нагрудный карман. Тут она толкнулась – Всеволод положил свёрток на песок и развернул: сразу бабушка была очень бледна лицом и, казалось, едва удерживала жизнь в себе, но как только солнечное тепло коснулось чела её, она четыре раза глубоко вдохнула и тихо произнесла:

- Я умираю. – кружок рта неприятно скрипнул. – Сохрани моё тело со всеми остальными, да не давай на поругательство. И сегодня же езжай попутным поездом домой к себе, он уж на перроне тебя дожидается. Дома ждут тебя сокровища за труды т… - лицо её застыло маской.

- Бабушка… – только и успел произнести Всеволод.

Алла Викторовна пошатываясь вышла из леса и, поправляя на ходу юбки ошарашено озиралась.

- Ну что ж домой. – четверть часа спустя млел, не веря своему счастью, Всеволод. Он с замиранием сердца вглядывался в малинового червя, который, пока ещё бесформенный для его зрения отдыхал перед дальней дорогой на путях у здания вокзала. – Домой, значит…домой. – многотонный на тонких спицах рельс, залитый солнцем, блестящий и блистающий, он значил теперь для Всеволода не просто средство передвижения, не просто то, что увезёт его от сюда, а гораздо большее – как минимум, это то существо, на котором он поедет туда, а это ведь так важно ехать не от куда-нибудь, а куда-нибудь, например, туда, где тебе будет хорошо, ни тепло, ни сытно, ни даже вольготно, а просто… хорошо.

И Всеволода подгоняли эти мысли, как если бы он стоял на роликах, впереди простиралась гладкая автострада, а в спину ему дул ветерок, такой тёплый, пахнущий чем-то таким, от чего у него в детстве щекотало в сплетении, чем-то таким далёким, завораживающим. И вот у червяка уже чётко обозначилась кабина, чёрная, похожая на квадратный чернослив сцепка, огромный прожектор на лбу, рядом, на перроне – два человека в синей форме, один облокотился на выступ, а другой поставил ногу на

первую ступень лестницы. Ступень была высокая, но, видимо из-за гибкости, человеку было удобно так стоять, это было заметно.

- Может, мороженого? – щурясь на солнце, спросил один и за чем-то расправил усы.

- Уже отправляемся. Да я и не хочу. – ответил второй и с ловкостью обезьяны вскарабкался в кабину.

Его напарник, посмотрев на часы, быстрым шагом направился к томящемуся в фиолетовой тени роскошного вяза магазину. Убедившись, что за ним ни кто не наблюдает, Всеволод накрыл голову письмами и, подтянувшись одной рукой на перекладине, вскочил на лестницу и, проследовал в кабину. Машинист, теперь он уже был в затёртой бейсболке, сидел спиной к нему. Всеволод, всё ещё не до конца чувствуя себя невидимым, встал в угол к вешалке с одеждой. В это же время второй машинист захлопнул в тамбуре дверь и сел в кресло.

- Только зря бегал. – часто дыша сказал он. – Мороженое закончилось.

Через мгновение локомотив тяжело вздрогнул и, лязгнув сцепками, тронулся. Отшатнувшись, Всеволод ударился о торчавшую из стены не занятую одеждой вешалку – кровь сорвалась с уха и капнула на пол.

- Ч-чёрт. – шёпотом выругался Всеволод и пощупал затылок – ладонь тут же измазалась в кровь.

Машинисты ритмично пошатывались из стороны в сторону, сидения под ними тихо поскрипывали. Локомотив набирал ход. Всеволод чувствовал, как за ними, там, на несколько километров, тянется многотонный состав с цистернами, может быть с нефтью, может быть со спиртом, грохот от которого разносится на многие километры вокруг, но здесь, в кабине, его практически не было слышно. Лишь на крупных вокзалах со стрелами лязганье стрелок напоминало о том, что эта техника начинается здесь, под ногами и продолжается далеко назад вереницей овальных цистерн. Впереди раскинулось бескрайнее полотно, оно мерно дремало в ещё холодной почти изумрудной зелени ранневесеннего леса и уходило ледяными стрелами за горизонт. Видимо здесь, всего в нескольких десятках километров от Холма-Заветного только что прошёл короткий летний дождь, и теперь абсорбировавшиеся на разогретом стекле капли, не спеша расползаясь, отдавали в атмосферу божественные по своей красоте блики. Всеволод, ритмично раскачиваясь, чувствовал, как монотонный гул товарняка убаюкивает его. Он даже представил себе ракету, звук которой так поразительно схож с окутывавшей его монотонией – как она своими жаркими соплами разрезает космический холод, как пронзает вечность, как, в конце концов, сбрасывает с себя свои металлические оковы.

Всеволод вздрогнул, едва не провалившись в сон. Поправил письма на голове и, что бы развеять сон, стал присматриваться к машинистам.

Первый, что так грациозно вскарабкался тогда по лестнице, Всеволод даже вспомнил, что подумал тогда о цирковом акробате, щурился, уже скорее по привычке. Его простое, смуглое лицо, с торчащими бровями и рабочими, сильно нависающими над губами платиновыми усами, выражало безразличие и рутину. Ехал он стоя, перед ним на панели лежали солнцезащитные очки, рядом - блокнот с ручкой. Второй сидел рядом и, не отрываясь, глядел на дорогу. Всеволод вытянул голову и стал рассматривать его в приклеенном к панели косметическом зеркальце. В целом некрасивое, но с благородной яичного оттенка кожей, лицо его, с глубоко посаженными глазами и слегка оттопыренными ушами хранило в себе следы деревенского детства. Неявно раздвоенную голову его венчала промасленная, бесцветная бейсболка с выцветшим жёлтым, почти белым, американским орлом на «фасаде». Едва Всеволод закончил их рассматривать, как тот, что стоял, заговорил:

- Что ты Борис носом всё клюёшь?

- Ай… - Борис мрачно махнул рукой и поправил бейсболку.

- Не отдохнул за неделю?

- Так… не очень.

- Дома был?

- Пару дней, больше у сестры… теплицу ставил.

- А с глазами что? Выглядят так, будто ревел вчера. – он постучал пальцем по прибору, красная стрелка на нём задрожала.

- Х-х-х… - Борис устало усмехнулся. – Мальчики не плачут.

Несколько минут ехали молча.

- А хочешь, анекдот свежий? – Борис заёрзал на стуле.

- Ну. – едва кивнул Игнат.

- Вот, слушай. Представь, что у тебя есть двое – парень и девушка.

- Дети что ли?

- Да какая разница, может и дети, н-нет, просто парень и девушка, ну, подростки.

- Ну.

- И вот у тебя есть парень и девушка. И представь, он пришит к стене, а она к стене приклеена. Что ты будешь с ними делать?

- Что за бред? – покосился на него Игнат. – К стене?

- Ну, да.

- Нуда хуже коросты.

- Да отгадывай ты. Это интересно.

- Не знаю я, чушь какая-то. Я не знаю. Отклею, может быть, а может… ножницами отрежу.

- А с парнем? – напирал Борис.

- Что там с ним?

- Пришит.

- К стене?

- К стене.

- Ну-у-у… его тоже…ножницами отрежу. Нет?

- Конечно нет. – аж привстал со стула Борис. – Какой же ты негибкий. Ответ же должен быть интересный.

- И какой же здесь может быть интересный ответ?

- А вот послушай. Если бы у меня были парень пришитый к стене и девушка приклеенная, то я бы девушку отодрал, а парня отпорол. А-ха-ха-ха. Ну, почему ты не смеёшься? Смешно же.

Игнат пожал плечами.

- Игнат. – всё не успокаивался Борис. – А ты умеешь…сны толковать?

Игнат подумал и ответил:

- С большего…

- С большего?..

- С большего. А что?

- С пятницы сон плохой приснился… с родными.

- В пятницу у нас поп повесился.

- В Долгом?

- Ну. На колокольне…

- И при чём тут мой сон?

- С родными? – Игнат почесался.

- С родными.

- Так мало ли… вдруг связь какая есть… всё на Земле взаимосвязано… события, детали…

- Локомотива?

- Я серьёзно.

- Ты серьёзно, а я вторую ночь заснуть не могу. Всё кажется, что опять их увижу.

- Если родственники мёртвые – не к добру. – Игнат многозначительно повёл головой.

- Да нет… м-м-м… там… у-ум, другое.

- Так ты расскажи, может, разберём.

Борис подумал немного и начал рассказывать:

- В общем, снилось мне не то поле, не то сарай без кровли. Но явно из детства… запахи, аура – всё будто прожитое, детское… топлёное, что ли, какое-то. Коровы?.. – Борис сделал жест, обозначающий неопределённость.

- По маме соскучился. Она у тебя деревенская?

- А ты не помнишь? - Борис зло покосился на Игната. - Не помнишь, сучёк, как молочко с паром… и сеном занюхивал?

- Прекрати, Борис.

- Да, мама у меня деревенская, земля ей пухом. И что?

- Что?.. Домой тебе нужно… вот и коровы топлёные тебе снятся.

- Нет, вряд ли…

- А дальше, что было?

- Дальше… Вижу, значит… да! точно! Детство! Вот сейчас тебе рассказываю и чётко осознаю, что именно оно мне и снилось, именно моё детство с кремовыми и пятнистыми, как доберманы, коровами. Они толкались вокруг, только тел их не было видно. Как я ни всматривался, но видел только их черепа. Хотя тогда это меня не насторожило, даже не удивило. Я просто, помню, тогда подумал, что если у них нет боков, то у них нет молока. Черепа у них были обтянуты мохнатой кожей. Глазницы пусты и головы, похоже, тоже - стукаясь друг о друга, они издавали такой неприятный, глухой буддизм, будто засыпанные песком бубны. Так: Дбгхку, дбгху, - и для большей наглядности Борис несколько раз стукнул ладонью по днищу сидения. Игнат неуютно дёрнул плечами, словно от холода. – Вокруг них летали мухи и оводы, только вместо их насекомых морд, у них были человеческие лица…

- ?

- Да! Лица… Только такие…как тебе сказать? М-м-м-м… маски, что ли… с цветом, запахом. Как носок на ногу одеваешь, день проходишь, глядишь, он уже и пахнет, как ты и… думает, как ты, даже собака по нему будет тебя идентифицировать и, может даже, любить… тебя. Любить. Тебя. Тебя…

- Перестань… пожалуйста… ты отвлёкся.

- Отвлёкся?..

- Ты это специально выдумал, Борис.

- Нет! этот сон не о тебе, ты не думай… Я просто рассказываю сон.

- Отвлёкся!

- Так вот, эти уроды-оводы-люди-мухи, они гудели, жужжали, носились вокруг меня, садились на лицо, пытались заползти мне в уши,

глаза, рот…Отвратительные, гадкие, склизко-сухие, колючие, как зубные щётки, настырные, твёрдые, крупные, овальные, кожан…

- Замолчи! Замо…

- Кожаные-кожаные. Я пытался уйти, отвернуться, но куда бы я ни дёрнулся, всюду тыкался во влажные мёртвые коровьи головы, всюду-всюду, куда не повернусь, они тыкают! Тыкают! Тыкают! Лезут в рот своей колючей кожей, жужжат, кружат… оводы. А коровы тыкают-тыкают. Мне было так страшно… А, а сейчас мне не страшно… с тобой. Не страшно. Ты рядом… Сильный и смелый. И, представляешь, я вот так бился между ними, как вишня в компоте, и вдруг заметил, что моя голова на много, раз в двадцать, больше коровьих.

- А ты лица запомнил?

- Чьи?

- Шершней.

- М-м-м… нет. Они какие-то безликие все были.

- А знакомые были?

- Не-е, все какие-то безликие, такие безлико-бесстрастные.

- Насекомые к хлопотам снятся.

- В рот?

- Что «в рот»?

- Хлопоты во рту? Они же мне в рот лезли.

- Может зубы…

- А может, я просто скучаю? – Борис поднял глаза на Игната. Тень от козырька бейсболки упала ему на запёкшиеся губы. Он приподнялся.

- Зубы… наверняка зубы. А коровы с масками… так - дома давно не был. – Игнат прищурился.

- Зимой был, этой, мы тогда ещ…

- …Значит, матери на могилку сходи, соскучилась.

- Не верю я в это говно.

- Фи, Борис. Моветон.

- Фи, Игнат. О живых нужно думать, а не о мёртвых. А у тебя всё после смерти.

Локомотив со свистом пронёсся мимо переезда. Женщина в оранжевой робе и старушечьем платке подняла руку с жезлом. Всеволод заметил с какой тоской Игнат проводил её взглядом и тут же краем глаза скользнул по Борису. Из-за кустов показались крыши одноэтажных и двухэтажных домов с разноцветными фасадами и печными трубами, кусочки дворов с кусочками чужих жизней, рвущимися на цепях собаками, стучащими вёдрами хозяйками, колющими дрова хозяевами, гоняющими

гусей детьми. Игнат снова, с той же силой уставился в окно. Было ясно, что он всегда заглядывал в эти дворики с особым трепетом, где бы он ни ехал, с какой бы скоростью ни проносился мимо, всегда его глаза ласкали эти, такие одинаковые в своей простоте пейзажи-натюрморты, такие живые и такие мёртвые одновременно. И в эту секунду Всеволод понимал его.

Борис выждал, пока Игната отпустит, и продолжил:

- Всё у тебя, Игнат, со смертью связано.

Игнат проводил последний дворик и с грустью уставился на, показавшийся теперь таким холодным, лес.

- Ты сам спросил моё мнение, а теперь критикуешь.

- .

- Это весь сон?

- Нет. Это только начало…. Э-э-э, голова у меня большая, тяжеленная, еле шея держит. А у коров маленькие и полые. Они колышутся возле меня, как пустые игрушки в неспокойной мыльной воде в тазу с ребёночком. Тычутся в меня, тычутся. Бьются друг о друга, молча, мёртво… качаются, и, как я уже говорил, со звуком глухим, похожим на бамбук… высохший. И когда я равнялся с их глазницами, я видел, что все эти оводы, шершни, слепни, мухи живут и кормятся у них в головах. В ушах они, вроде как, спали, а кормились в головах… Тогда я не выдержал, запаниковал, замахал своими ножами-руками, затопал, заорал… Полетела кровь… кости. Они, как свиньи, завизжали, застонали, словно степные волки завыли, заржали и заплакали, будто лошади и понеслись по кругу, и воздушными шарами полетели в небо. Я задрал голову, что бы убедиться, что они улетели, и вдруг почувствовал, что падаю назад, будто пьяный...

- Шары – это к детям, – устало сказал Игнат.

- …пытаюсь удержаться и не могу, падаю и падаю. Дыхание перехватывает, в солнечном невесомость. Такое чувство, Игнат! Такое чувство! К чему это, Игнат?! К чему!? Падаю, падаю, глаза закрываются, сами, сила притяжения веки тащит ко рту, накрывает нос, такой кайф! Лицо, как резина, готово всё принять, обнять и поглотить. И так падаю, кайфую, реву… - Борис мечтательно застыл, в глазах его блеснули слёзы.

- ?

- Открываю глаза – моя хата.

- Всё таки твоя. Я ж говорю, к матери тебе нужно съездить. Фотографию поцеловать, о себе рассказать. Соскучилась она… под крестом.

- Нет, мать здесь ни при чём… Изба это символ… требухов. – Борис густо покраснел. Игнат заметно занервничал.

- Каких требухов, сучка похотливая. Думаешь, я не разберу твоих причинно-следственных, думаешь, я дебил? – Игнат стиснул зубы.

- Да! – Борис наигранно всплеснул руками. - Изба. Уют. Печь. Вход. Порог. Пар. Соль. анус. Мать.

- !!

- Я не скрываюсь от тебя! – Борис в упор посмотрел на него.

- Что ты там пискнул? Анус? Думал я не услышу. За дебила. За дебила…

- Я не хотел…

- Ты всегда хочешь.

- Я…

- В требуха свои поганые хочешь.

- Я не хотел.

- Изба. Вход.

- Я не хотел! Прости!

- Соль? – Игнат с трудом сдержал себя.

- !!!

- .

- Открываю глаза. Хата. Пахнет свеженадоенным молоком, тёплым хлебом, тикает будильник, кто-то копошится у печи, за окном брезжит рассвет, если брать в реальности - часов пять утра, в трубе гудит ветер. Понимаю, что я лежу на печи, совсем ещё юная девочка, попа горит, толстая коса на одеяле… я держу её рукой, глажу себя по бедру и… люблю. Ощущаю приятное отсутствие в трусах. И в то же время ясно осознаю, что трусы я тогда, в настоящем детстве, не носила, только юбки, льняные и прозрачные… так под ними щекотало июльско-августовским ветром! Ни с каким «лейком» не сравнить. Или полевые травы… гречка! Настоящие половые травы. Потому мы и здоровые тогда все были. Одна гречка чего стоит со своими мохнатыми, упругими пальцами. Бывало, бежишь по полю, бежишь! тебе десять! ты по-лошадиному жива, чутка, сыта, ветер, гречка, август… - Борис закусил губу. – А сейчас, судя по всему, зима, печь раскалённая, мочевой пузырь приятно напряжён, мягкий матрац, я чувствую, что засыпаю, опять проваливаюсь, лечу-лечу… ощущаю какую-то тяжесть в теле, будто старею, что ли, легкость девочки постепенно покидает меня, детство уходит из моего тела, и я понимаю, что это всё, это уже насовсем, совсем никогда больше не повторится, ни эта коса, ни ветер под юбкой, ни раскалённая попка… Да, Игнат, я тогда подумал о раскалённой попке… ни лёгкость в трусах, ни гречка в пизде, от девочки не остаётся и следа, я падаю и безвозвратно наполняюсь тоской…

Открываю глаза. Сижу на лавке, в животе тяжело. Та же изба, только окна плотно закрыты, по-моему, даже не шторами, а одеялами. Там жарко было, как в бане, всё такое потное, смазчатое, парное. Порноепорное. - Борис пошатнулся на стуле. – Я люблю тебя, Игнат.

Игнат ударил его по щеке широкой, как доска ладонью.

- В-вижу, ввожу, вижу покойных бабушку Авдотью и деда Кузьму. То есть во сне они, конечно, живые и стоят, так… обнявшись, судорожно как-то, будто тысячу лет не видались и вот встретились, и очень грязно-молодо смотрят друг на друга, как будто… м-м-м собираются трахаться, пить, бить, плясать, там… не знаю… целоваться?.. А я сижу и молча наблюдаю. Смотрю, передник у бабушки заметно напрягся и торчит пирамидкой, а дед Кузьма, всегда бывший таким скупым на эмоции, неестественно по девчачичьи застонал, заперебирал языком, ещё сильнее стиснул плечи Авдотьи и залаял по-немецки, что-то вроде: как там у них в переводе?.. с их костлявого… «Ещё», «Глубже», стонал, что-то неразборчивое, типа «ja-а-а-а», - Борис гортанно простонал, и по спине его пробежали мурашки. Потом он по дружески, вроде как вспомнил, что-то важное, толкнул Игната в плечо. – Да-а! Я тогда накануне порку немецкую смотрел, там одна девочка отчаянно кричала, я вспомнил голос, во бля! только сейчас дошло, а я думаю, чего это Кузьма стонет, как немецкая шлюха, ха-ха, только сейчас, а я голову ломаю, параллели ищу, знаки… Игнат ты слушаешь меня? – Игнат молчал. – Я тогда ещё кончил круто, почти по-московски. И вот, представь картинку: он кричит, она напирает, и тут я понимаю, что они просто танцуют, только странно как-то, как утки, лапчато как-то, напряжённо: топчутся на месте, и дедушка водит головой вперёд-назад, губы уточкой, вот! Вот почему мне показалось, что они лапчато танцуют, рот открыт, зубами лязгает, а бабушка приседает вверх-вниз и машет торчащим передником, будто ебёт. И даже музыка тогда была, только непонятно откуда, такое «techno»… без слов… Может мне по реже порнуху смотреть, а… Игнат, а?.. – Игнат не реагировал. – А?.. Иг…

Борис внезапно посерел лицом и рассеянно посмотрел себе под ноги. На ногах его были тяжёлые строительные ботинки с зелёными шнурками и грубой подошвой, а под ботинками пыльный пол с сотнями километров полированных шпал, под шпалами уставшая земля с уставшими землеройками, покойными родственниками Бориса, муравьями, ежами, конями, людьми, слонами и китами… а ещё… рельсы… железный пол… ботинки… медленный самоубийца и неразделённая любовь, а ещё… небо над макушкой и депрессивные узоры проводов высокого напряжения линий электропередач. Борис поднял голову:

- Я жизнь тебе свою рассказываю… дурачок… жизнь-сон или сон-жизнь, скорее жизнь через сон, помнишь, как в том анекдоте, - Борис горько усмехнулся. – Смерть через изнасилование или… наоборот, изнасилование через смерть? Что с нами происходит, Игнат? Жизнь или изнасилование, смерть или сон… Я вижу, что ты не хочешь меня слушать, отрицаешь, отвергаешь, а-а-бстрагируешься, чёрт, не знаю, что ты там со мной ещё делаешь, но не в этом суть… мы просто едем… с грузом. А сон этот я не случайно *тебе* рассказываю… мне чувствуется, что он вещий… ты потом его разберёшь… потом… сейчас не нужно, н-не надо… просто дослушай, - он снова посмотрел через шнурки на узоры в небе. – Помню, печь тогда сильно раскалилась, и из топки наружу рвался огонь. Он порождал насыщенные бордовые тени от предметов. Они… м-м-м-м, валялись по дому так привычно, по-мужски, будто покойники на кладбище. И всё бы ничего, понимаешь, от прялки, там, ступы, лавки с посудой… валяются кругом, такие… живые, родные, что ли… вроде леса елового торчат себе молча по углам… ножами. И я смотрю на эту красоту и так радостно мне на душе, плюшево… - Борис резко схватил глоток воздуха, слеза скатилась у него по щеке, - …благодатно-восторженно. А потом перевожу взгляд на дедушку с бабушкой, вижу их тени и… столбенею. Лучше бы я проснулся в этот момент, – вздохнул. – Они стоят почти без движения и отбрасывают могильный крест, настоящий могильный крест… тень… бордовая, клокочущая… как на староверских кладбищах, даже краской небесной выкрашен… с перекладиной второй… крышечкой, я даже вороний помёт, кажется, разглядел. И крест этот… Авдотья и Кузьма стоят, не шевелятся, на меня так пристально смотрят… а крест этот по кругу движется, как стрелка у часов… медленно так движется по кругу и ко мне приближается и поёт: «Борис… Бори-ис…удавись…Бори-и-ис… удавись… удавись… удави-и-и-сь…» И тихо-тихо так поёт, страшно и одновременно очень красиво… ползёт и божественно поёт… И тогда я проснулся.

Игнат продолжал молчать, он сосредоточен и часто посматривает на часы. Километров сто поезд исступлённо несётся вперёд, за горизонт. Оба машиниста молчат. Борис скучает и ёрзает, кажется, будто ему что-то мешает, что-то томит. Перед поездом ползёт фиолетовая тень от кабины. У Всеволода затекли ноги и он стал топтаться на месте, чтобы хоть как то разогнать кровь. Игнат стоял привычно неподвижно, слегка сутулясь и крепко держась за круглую головку рычага мозолистой рукой с ногтями-лопатами. Борис осторожно и трепетно посмотрел ему на руку. Всеволод проследил его взгляд. Сначала на пальцы. Пальцы сильные, кряжистые. Затем на тыльную сторону, между большим и указательным пальцами у

Игната татуировка. Тату выцветшая, фиолетово-голубая, с видимой историей. Якорь и дата. Якорь и дата.

- Игнат, помнишь, ты как-то рассказывал, что служил в мореходке, ходил на военном судне. Ну, ты тогда ещё был молод… и был… у тебя друг. Вы дружили. Жили, там, в одной каюте. Ну, помнишь? Ты ещё тату тогда сделал, не эту, большую, а на руке...

Заинтересованный Всеволод придвинулся к Игнату и стал рассматривать его кисть. На руке красовался жирный фаллический якорь-символ с разбитым сердцем на головке, подписью «Не забуду никогда» и датой 172. ВЛАДИВОСТОК.

Игнат тихо сказал:

- Не надо, Боря. Не надо.

- Как сон… Игнат?..

- Овощи ешь, и… меньше смотри порно.

Игнат сменил руку. Борис грустно посмотрел в окно. За окном нервно мелькали стволы деревьев, перемежаясь со столбами.

- Ты знаешь, Иг-нат, - слабым голосом сказал Борис, не сводя глаз со столбов. – Щедрая и благодатная природа царит вокруг нас…

Промолчал с минуту.

- ?

- Кругом эта зелень, простор… кроны, мох, нежная, чувственная трава… ч-червяки… твёрдые червяки, твёрдые грибы, стволы деревьев… твёрдые!!! – Борис поднял полные слёз глаза на Игната.

- Ты живёшь прошлым. Прошлым.

Игнат отвернулся к форточке.

- Только прошлого уже нет. Нет того прошлого. Оно у тебя там в голове! И больше нигде его нет. – Борис повернулся к нему и протянул руки.

- Не надо, Боря… - сказал в форточку Игнат.

- Его нет. А я здесь. Вот я! Молодой, красивый, умница, чувственный, похожий на твою дочку, как ты любишь… ты говорил. Бери. Я здесь. Живой! Пульсирующий! Кровоточащий! Желающий и желанный! Я уверен, что желанный… - Борис, не стесняясь, зарыдал в голос, сотрясаясь всем телом и припадочно обхватив голову руками.

Игнат зло и виновато сжал губы, откашлялся в кулак, вытер ладонь о, синюю с нашивками, очень похожую на школьную, форму. Внимательно уставился на дорогу.

- Я руку готов отдать за эти грибы, – жалобно сказал Борис.- Ты понимаешь. В мае шестнадцать лет, как мы с тобой гоняем. Шестнадцать

лет! Шестнадцатое мая. Помнишь. Ты тогда только пришёл из своей этой треклятой мореходки. Помнишь? Питер, белые ночи, квартирники с ЕВ, стихи, ты мне ещё стихи тогда читал: «Шагане ты моя, Шагане!» Шестнадцать- Шестнадцать. Магия чисел. Пора. Сколько ты ещё будешь меня томить. И сон! Сон! В руку. В рот! В руку! В жопу! Древние не ошибаются! Ну же, Игнат! Шестнадцать лет по кругу. Гоняем по кругу: «Мурманск - Симферополь», «Симферополь - Мурманск», нефть - брикеты, брикеты - нефть, цемент - минеральные удобрения, удобрения - цемент, машины - брёвна, брёвна - машины… Целая жизнь! Жи-и-и-знь! Шестнадцать лет! У дочки твоей месячные. Мальчики – четыре года, как мастурбируют, девочки – текут и ебутся. А мы? А мы!? – он снова отвернулся. – Сегодня сатанинский день… по «лунному»… ты не любишь…

Примерно час прошёл в тишине. Борис заварил чай, бросил в него лимонную корку и поставил кружку перед Игнатом. Отломил дольку шоколадки и положил на язык.

- Ты не знаешь, Игнат, отчего в горле может першить?

- Надуло.

- Нет, не так… Не простудное. Там как вроде высохло всё, обезвлажилось. Даже, мне кажется, отекло.

- А узлы как? Трогал?

- Трогал…

- И как?

- А как надо? – весело, явно заигрывая и радуясь, что разговор завязывается, Борис заёрзал на месте.

- Я серьёзно. – Игнат строго посмотрел на него.

- Серьё-ё-ё-зно, - подставил пальчик к губам Борис. – Серьёзно, лимфа в норме…

- Тогда наверно, фарингит.

- Как страшно звучит. – Борис откинулся на спинку.

- Не страшнее чем гальюн.

- Фло-о-от… - зевнул Борис.

- Флот, - улыбнулся в усы Игнат.

- А как ты думаешь, чай с корочкой вылечит.

- Не-е. Чаем здесь не поможешь. Я у жены как-то книгу нашёл «Яблочный уксус – волшебный эликсир здоровья» называется. Так вот, оказывается, причиной болезни горла являются стрептококки.

Борис поморщился.

- Нужно глотать сироп. – продолжал Игнат. – В который входят такие ингредиенты, как яблочный уксус, мёд, трутневый расплод, маточное пчелиное молоко, оно густое как сгущёнка, за счёт него и получается сироп, э-э-э, дальше пчелиный подмор, пер…

- А-а-а. А больше там никаких ингредиентов… не содержится, - Борис закусил губу и заговорщицки улыбнулся. – А? – жеманно ущипнул Игната в плечо.

Игнат еле заметно улыбнулся.

- А? Сгущёночкга-га-га-а… - Борис положил свою руку ему на якорь-символ. - Густа-а-ая… Тё-ё-плая… - он облизал подсохшие губы. Страстно сдавил костяшки пальцев. - Г-хгу-с-хая… А-аха-а, - взвизгнул. – Тьхёп-ёхая.

Борис, задыхаясь и почти теряя сознание, потянулся трясущейся рукой к ширинке Игната. Игнат неумело отстранился.

- Я шестнадцать лет люблю тебя, Игнат. Шестнадцать лет. Шестнадцать мучительно долгих лет. Шестнадцать лет молчания. Шестнадцать лет мастурбации о тебе. Шестнадцать лет любви без тебя! Шестнадцать лет наедине с твоим флотом, с твоим вонючим прошлым, с моей болью, болью, болью!

Влажно поцеловал его руку.

- Ну не молчи же! Не молчи!!! Не молчи!!!

Всеволод в панике бросился к двери, но, зацепившись рукавом ватника за ручку, остановился и, уже не в силах оторваться и, не веря себе, наблюдал, как буквально на глазах костенеющий и словно бы наливающийся мёртвым светом Игнат застыл и как время вокруг него, как словно бы тоже замерло. Рука прямо на глазах белела и, медленно тая, уносила с собой след от поцелуя, она постепенно, сначала пальцы, пястье, затем и кожа предплечья начала наливаться неестественно мраморным холодом. Татуировка почти светилась и, нарушая все законы природы, переливалась своим голубым фаллосом с разбитым сердцем на поверхности руки. Борис стоял на коленях, спиной к Всеволоду, и, казалось, слушал движения своего сердца, переваливавшегося внутри грудной клетки с таким грохотом, что сотрясались стёкла и стрелки датчиков. Медленно поднимая голову, он скользил глазами вверх по форме к лицу любимого человека. Это напоминало наваждение. Кабина постепенно, словно тело только что умершего, наполнялась тревожной и в то же время торжественной тишиной. Не тишиной в привычном смысле, а другой тишиной – королевской – тишиной имеющей свой неповторимый аромат, цвет, вкус, даже настроение. Тишиной, которая бывает только в

королевских спальнях после захода солнца, пропитанная запахом стокилограммовых гардин, ваз в человеческий рост, подаренных китайским императором, спящих полотен давно покойных мастеров, любимого мопса, урчащего в углу. Борис поднял голову и столкнулся с полным изумления и восторга взглядом Игната. Тот смотрел в окно, на дорогу. Ресницы его колыхал ветер. Рот приоткрылся и застыл.

Словно в невесомости Борис поднялся с колен, очень медленно, сначала одну ногу затем другую. Правая рука его лежала на руке Игната с рычагом. Левой он взялся за плечо и подтянулся. Из-за их голов Всеволод видел, как, с приближающегося с огромной скоростью перрона, на пути, плавно и молча падал человеческий материал. Люди глухо стукались о рельсы, не разделяясь ни по возрасту, ни по половому признаку. Они просто тыкались носами и лбами в шпалы. Всеволод следил за этим заболевающими глазами.

Их были сотни, сотни мужчин, женщин, детей, стариков…Сотни уже лежавших на путях, сотни рвущихся под локомотивом, сотни ожидавших на перроне и готовящихся принести себя в жертву безразличию.

- Только не тормози. – скулил Игнат.

- Да. Да.

- Да!!! – не сдержался и Всеволод.

- Нельзя останавливаться. Никогда нельзя, - порыкивал Борис, плавно двигая ягодицами.

- Никогда. Никогда.

- Церковь не позволит тебе сделать остановку.

- Еби! Еби! Еби!

- Да!!! Да!!!

- У этой божественной мясорубки нет остановки.

- Никогда. – Игнат покрепче упёрся в панель руками, стекло перед ним запотело.

- Ты моя церковь – телесное царство ИГНАТИГНАТ.

- Еби! Еби!

- Да-а!!!

- Церковь с влажно-тёплым входом.

- Нох-х-х...

- Если кончать в говно и убивать женщин – мясорубка остановится.

- Да-а!!! – взревел Всеволод и замахал руками с зажатыми в них письмами.

- Еби! Еби! – не мог оторваться от окна Игнат.

- Ты моя женщина-церковь-Игнат-мать. Ты мои месячные у алтаря, Игнат.

- Еминь! Бминь! Иминь!

- Да-а!!!

И они, все втроём, ставшие одним, с замиранием сердца ощущали, как поезд своим многотонным холодным железом, будто зимний школьник на санках, скользит по шипящему жиру и мясу, рассекая и лопая ломти сала и полосуя податливую кожу. Им казалось, что они взлетают, парят, кружат, растворяются в парах из взбитой крови и желчи, проникают и глотают упругий воздух, в материнских муках рождаемый локомотивом. Глаза их застыли, и гипсовый покой залил полную колючих рычагов и разноцветных кнопочек кабину. Всеволод, как распятый Бог держал руки с окровавленными письмами, словно парил, по лбу, и с затылка на плечи ватника текла бурая кровь. Мокрый затылок Игната мелко дрожал под губами Бориса. Они мягко качались на телесных волнах, Игнат стоя, слегка согнувшись и опёршись на руки, лицо его почти касалось стекла, на лбу и щеке его лежал алый рефлекс, Борис – с ровной спиной, немного приподнявшись над Игнатом, голова его как у больной собаки держалась неуверенно и слегка набок, одной рукой он упирался в панель.

Товарняк нёсся, пережёвывая и создавая, оставляя за собой кроваво-каловую кашу космической красоты и божественной совершенности, чавкая и похрюкивая, задирая зловонные пласты своим гребнем и рассекая, рассекая и заваливая, рассекая… рассекая… Шматы сала били в лобовое стекло и с визгом залетали на багровую от крови крышу. Обрывки тел глухо шлёпались на гравий вдоль полотна. Невероятных размеров мясной ком нарос на сцепку и напоминал головку огромного члена с рёвом несущегося вперёд. Всё вокруг мясилось, рубилось, ревело, стонало, дышало, выло, билось, словно маленькая, связанная девочка в руках пьяного художника.

Вдруг Всеволод закричал, словно в дурном сне он увидел, как он сам карабкается по насыпи, как, взобравшись на пути, он, с окровавленным лицом, сощурившийся, метит пистолетом в кабину. Раздались выстрелы – посыпалось лобовое стекло…

«Главное не останавливайся, ты слышишь, мой матрос».

«Я слышу, слышу, слышу…»

«Не останавливайся. Не останавливайся. НИКОГДА».

«Я слышу…слышу…слышу…»

«НИКОГДАНИКОГДАНИКОГДА…»

Телеграмма:

Уважаемая Людмила Оковна Талашкина. Сем скорбным посланием желаю уведомить вас о смерти вашего внука Всеволода Георгиевича Талашкина. Он скончался, не приходя в сознание, в сельской Выртинской больнице в результате черепно-мозговой травмы.

Мать-камень

За окном плетью щёлкнула хлопушка. Вивьена Игоревна вздрогнула и сменила отсиженную ногу. Как и предыдущие сто восемьдесят минут она снова уставилась в выключенный экран телевизора. Её бледное статичное отражение контрастировало с беспокойством белой мыши, что, трясясь ртутью глаз, кубарем металась по клетке. Мышь рвалась, словно силясь покинуть её тесное чрево. Через полую панельную стену до Вивьены Игоревны долетали звуки дочери. Она с маниакальным настойчивостью вслушивалась в них и в глубине души проклинала Охру – мышь, любимицу семьи – за суету, которую та своими колебаниями вносила в её созерцание и неизбежно подступающую Ильину ночь, тягучую, пологую, стройную. Про такую ночь в народе говорят: «кшатрии[30] наестьси[31], шудры[32] отоспятся».

Уже с первых секунд жизни, с самого того момента, как бордовую, словно бы варёную Катеринку положили ей на стерильную насквозь пропитавшуюся родовым потом больничную рубаху, она начала слушать дочь, слушать её сап, слушать, как поскрипывают её, сразу показавшиеся непропорционально огромными веки, как постукивает её годовалое сердечко, как шуршит язычок о горячие нёба… Но то были шумы, которые умерли четырнадцать лет назад. На смену им приходили новые, они менялись, мутировали, просто росли, перекрывались запахами, даже тишиной, а теперь они постепенно переместились в соседнюю комнату, спрятались за защёлку и теперь происходили оттуда из-за стены. Словно из набитого пищей рта они долетали уже глухими, сжёванными и скомканными.

Вивьена Игоревна прислушалась – Катя явно что-то перебирала: она шуршала одеждой, скрипела створками шкафов, что-то выстукивала на клавиатуре, видимо, общалась, топала, хрустела фольгой, два раза звякнула, затем щёлкнул выключатель, хлопнула дверь и прихожая содрогнулась от шагов. Не дожидаясь, когда те смолкнут, Вивьена Игоревна подскочила к двери и, рванув на себя ручку, обнажила жухлую в выцветших бордовых с грубым раппортом обоях прихожую. Катя остановилась у трюмо и, щурясь,

---

[30] кшатрии – правители, воины (санскр.)
[31] есть - сношаться
[32] шудры – рядовые труженики (санскр.)

стала выдирать массажкой колтуны в волосах. На фоне жирного, похожего на толстяка шкафа она казалась бесполой.

Прямые, в чёрных просвечивающих на менисках и изгибе ягодиц колготах ноги, едва прикрывающий пирамидки грудей неоново-салатовый топ, нарочитый макияж на мальчишечьем лице, впадины рёбер в открытой грудине – мать любовалась и снова прислушивалась: вот колтун упёрся в жёсткую щетину массажной расчёски, вот он, щёлкая, стал соскальзывать, разворачиваясь и шипя лопнувшими волосами, вот металлическая щетина соскребает тончайший слой ороговелой кожи со скальпа, вот! вот…

- О-о-оххх… – выдохнула Вивьена Игоревна и едва подхватила выскользнувшие из суставов большеберцовые кости.

- Ма. Я пойду, погуляю. – Катя небрежно посмотрела на настенные часы и, уже на ходу добавила: - В лесополосу.

Входная дверь захлопнулась, и эхо от удара поскользило перед стремительно помчавшейся Катей по ступеням вниз. Минуя один за другим неопрятные пролёты, она выпорхнула на улицу, вызвав недовольное шипение умиравших у подъезда стариков.

- Ишь, понеслася на ночь глядя.

- К хахелю, небось.

- Конечно к хахелю. Куда ж ей ещё?

Старики казались пьяными – держались неуверенно, кричали, делали резкие движения непослушными руками, не слышали друг друга… Катя дошла до мусорных контейнеров и свернула на асфальтированную дорогу, ведущую к гаражам. С пригорка уже были видны силуэты их поросших худыми берёзками крыш и мерцающий где-то в глубине вечернего сумрака алый огонёк. Чем ближе подходила Катя к лесополосе, тем явственней проступал душный июльский дух, пропитанный, как губка: густотой хвои, прелостью мха и, таким обязательным, соком живой почвы.

Выйдя к гаражам, Катя собиралась уже было нырнуть в зелень, как вдруг чуть не напоролась на грузовик, что стаял в абсолютной темноте, припаркованный носом в кустах так, что на обочине торчала лишь треть кузова.

- Блядь! – выругалась Катя и, одной рукой прощупывая машину с боку, стала пробираться к кустам.

Как она и рассчитывала, сразу же за кустарником оказалась довольно широкая тропинка. Изрезанная тёмно синими острыми тенями, что, падая от изящных корабельных сосен, словно воткнутые спицы торчавших по ту сторону железнодорожных путей, тропинка мерно мерцала в фиолетовом свете прожекторов далёкого мясо комбината. Катя, сняла босоножки и,

ступила на ещё тёплую почву. Не спеша, словно танцуя, она шла по дороге. То исчезая в тени, то лоснясь на свету, она представляла себя кораблём, который раскачивается на волнах так сильно, что волны, то и дело скрывают его от луны, превращая на мгновение в пустое чёрное пятно, в котором не отражаются даже звёзды. А ещё она вспомнила шёлк, с его мерцанием и таинственным запахом – некое месиво из молодой пчелы и свежеспрыснутой пыли – очень сложный аромат. Но мерцание, перелив… Это важнее, а ещё глаза Виталия…

- Извините.

Ворвавшийся в свет голос оборвал поток её мыслей.

- Простите меня пожалуйста. – несколько моложавый голос звучал ровно и внятно.

Из кустов вышел молодой мужчина, поклонился, и сразу постарался стать так, что бы его было легче рассмотреть. Катя отметила про себя его щуплость и несколько не шедшую к голому лицу залысину. А ещё он, так же как и она держал свои туфли в руках.

- П-простите. – он снова поклонился. – У вас есть что-то для меня.

Катя замешкалась и сделала шаг назад:

- Нет.

- Вы не поняли. – он протянул ей руку с башмаком. – У вас для меня что-то есть. Зачем вы уходите? Не бойтесь меня, пожалуйста, я верующий, семипринятель, я не причиню вам вреда. Нам нельзя даже касаться женщин.

Это несколько успокоило Катю, но она всё же, на случай если придётся бежать, одела босоножки.

- Позвольте, я тоже одену. Мы ведь с вами совершенно одинаковые. Вы ведь тоже так считаете. – он говорил и одновременно натягивал ботинки. – А иначе, для чего бы нас на одну планету поместили и завещали любить, если б мы один другим погоняли. Ведь так.

- Я, й-а н-незнаю. – Катя пожала плечами и скривила нижнюю губу.

- То-то, не знаете, и не стараетесь узнать.

- Н-не знаю. – она снова пожала плечами.

- А как вас зовут?

- Катя.

- Катерина. Есть в неге поставленная привечная сфоя Катерна. Мы считаем, что имя Катерина произошло от привилегий этой привечной. И означает оно «носящий память».

- Да?

- Да. – он нервно улыбнулся.

- Моя церковь отправила меня к тебе как раз за такой тайной. Ты должна мне…э-э-э, у тебя есть что-то для меня. Я должен у тебя забрать.

- Но-о…вы, наверно, что-то путаете…у меня ничего нет, я просто вышла прогуляться…подумать…и-и-и…

- Нет-нет, не говорите так, прекрасная Катерна, вы должны настаивать, что бы вас называли Катерна. Так правильно. А как ваша мать вас называет?

- Катенька, Катюша. – неопределённо ответила она.

- А отец.

- Катька.

- Они убивают вас! – жарко произнёс мужчина. – Они вас калечат. И страдает при этом в первую очередь душа. И я, знаете, сам, на своей же шкуре это испытал. Величают меня Перисвет, этому имени не один миллиард лет. А мои достопочтенные, хоть и не верные прародители сократили меня до Перика. Представляете – Перик. И я болел. И слава деве Адах за её милость, что послала она мне на жизненном пути отца-настоятеля Око Семиседьмого, что открыл мне глаза. – он вскинул взгляд в небо и семью отточенными движениями хлопнул себя вокруг головы.

- Вы п-простите, Перисвет, но я…пойду. Меня ждут.

- Постой! – не то испугался тот, не то возбудился. – Постой. Я всё же спрашиваю и, видит создатель, не понимаю, почему ты медлишь. А, кстати, ты какой веры?

- У нас в четырёх поколениях а-ксенизм, был, правда, один отступник к двубожцам в Сербию сбежал, но потом вернулся, покаялся…

- У тебя что-то есть для меня. – перебил её Перисвет и взял её за локоть.

- Нет. Вам нельзя, вы забыли?

- Я не знаю, почему ты этого ждёшь, но…твоё право. – он схватил Катю за горло и, душа, несколько раз ударил коленом в грудь. Девочка высунула язык, прикусила его и, харкая кровью, затихла. – Дура. – выругался Перисвет и стал обыскивать её. Он снял топ, осмотрел складки, прощупал воротничок, юбку, трусики с колготами – тщетно, при ней ничего не было. – Странно. – сам себе сказал Перисвет. – А в письме сказано – при ней. При ней. – повторил он, хмурясь. – Что б это значило? Вот она. – он перевернул тело девочки навзничь. – Вот она, и при ней, то есть с ней, а может?..

Он перевернул тело обратно на грудь, достал из кармана нож и, приговаривая, стал разделочными движениями рассекать кожу и ткани вокруг позвоночника:

- Докуд я тебя, раба божия Катерна, режу, девственница-матушка, ты стой стоючи, стой горой высокой, теки кровью рудою рекою глубокой, стой не шелохнись, копчиком не махнись, с ноги на ногу не переступывай…

Мешавшие волосы он отрезал. Углубившись, он поддел атлант. Раскачал и, выворачивая голову, отсоединил её, обнажив, атлант. Ощупав черепное отверстие, он, насколько мог, лезвием извлёк мозговое вещество, развернул отверстие к свету и, убедившись, что там нет того, что он ищет, приступил к седьмому шейному позвонку. Оголив его, он, глубоко вгрызаясь по линии капюшонной мышцы, отделил лопатки, посмотрел под ними и, не найдя, отделил подлопаточные и круглые мышцы. Нужно было торопиться, они с Катей не успели отойти достаточно глубоко в лесополосу, и теперь за кустами слышались далёкие голоса автолюбителей, что, не взирая на поздний час, не желали уходить из гаражей домой. Перисвет нервничал. Вернувшись к шее, желая подробнее её изучить, он удалил шейный отдел позвоночника и извлёк сухожильное кольцо, рассмотрел на свет – и там ничего не оказалось. На всякий случай ощупал и подъязычную кость. Затем повалил тело на спину достал глазное яблоко и, вскрыв склеру, ощупал дно. То же повторил со вторым глазом. Вспоров брюшину, уже уверовав в свой просчёт, он простриг кишечник и, совершенно случайно наткнулся на уплотнение в малом тазу. Пальпировав, он вырвал уплотнение и поднёс его к свету.

- Матка. Похоже оплодотворённая. – прошептал он и, словно вспоминая заклинание проговорил: - По праву Катерны званая при себе письмо иметь буде. Как мать не любившая самой не судьба матку яйцом схожую опорожнить да послуже она. Да послуже она! – дрожа, прокричал Перисвет.

Едва разрезав матку, на землю выпали паспорт, удостоверение и небрежно смятая не то справка, не то написанное на казённом формуляре письмо.

- А тама жди двоих с императрицей да укажут их. – прошептал он и, не став рассматривать находку, оттащил тело в кусты, бросился к оставленному у гаражей ЗИЛ-у.

Заведясь, он включил заднюю передачу, рванул назад, вспахал тормозами гравий и, вспыхнув фарами, помчался по дороге. Въехав в заброшенное зернохранилище, он обогнул цистерну и, уткнувшись в мягкую стену, заглушил мотор.

– Та-а-к… Посмотрим. – Перисвет зажёг свечу и выложил на приборную панель добытые предметы. В паспорте уже была вклеена его фотография и стоял штамп о прописке. – Талашкин Андрей Георгиевич. – прочитал он своё новое имя. – Во как. А брат, значит, мой Всеволодом Георгиевичем именоваться будет, царствие ему небесное. Удостоверение – сотрудник милиции, тоже та-а-к…тут не разборчиво написано, ага, фотография, печать. А это… – он расправил смятую бумажку. – Людмила Оковна Талашкина,

посёлок городского типа Стрелки, улица Исследователей льда, второй от колодца… дом. Во как. – он почесал шею. – Второй от колодца… Простота хуже воровства. – сказал и затушил свечу.

- Ребят, здрасьте. – приняв простецкую форму лица, Пересвет смотрел снизу вверх на подпиравшего дверной косяк рослого в заляпанном кровью переднике санитара.

Тот лениво оглянулся, убедился, что за ним никто не стоит и в ответ кивнул Перисвету.

- Мне б забрать Талашкина Всеволода э-э-э, Георгиевича. Черепно-мозговая травма. Я брат его.

Санитар, не дослушав, обернулся и гаркнул в полумрак коридора:

- Вась, Талашкина вскрывали!?

- Вчера ещё! – послышалось в глубине, затем что-то щёлкнуло, и раздался вой пилы.

- На второй этаж подымись. – парень двумя пальцами, чтобы не вымазать окровавленными перчатками, извлёк из нагрудного кармана халата пачку сигарет, ловко подцепил выпяченной губой и, чиркнув зажигалкой, затянулся. – Там кабинет будет. – выпустил дым. – Дверь открыта, увидишь. Оформишься, спускайся сюда. – и захлопнул дверь.

- Та-а-ак. – до слепоты седой в голубой с пятнами шерсти доктор пролистнул паспорт Перисвета и, достав бланк, стал не спеша его заполнять, но вдруг остановился, словно вспомнил что-то важное и сунул Перисвету распечатанный лист.

То был перечень услуг с указанными прописью ценами: обмыть усопшего – 3000 иен, одеть усопшего – 12000 иен, грим, фиксация век – 7000 иен, аренда ритуального зала…

- Ознакомились? – доктор отложил ручку.

- Э-э-э…понимаете. – нервничал Перисвет. – Й-а-а, м-мне ничего не нужно это, делать.

- А вам никто и не будет. Брату… нужно. – скривился собственному каламбуру врач.

- Не уместно… шутить. Мне не нужны услуги, я так заберу.

Врач нахмурился.

- Я просто заберу… без ничего. – продолжал Перисвет. – У меня машина рядом стоит. Я его заберу, а всё это мы сами, э-э-э… в родной деревне, э-э-э… сделаем.

- Значит, вообще… ничего?

- Угу.

- А вы уверены? – лицо доктора так налилось краской, что на висках и в залысинах сквозь седину стала просвечиваться кожа, а мех под глазами и вокруг щитового хребта вздыбился. – Вы уверены, что в вашей деревне найдутся такие специалисты, которые всё это смогут сделать? Которые смогут грамотно, по науке, забальзамировать тело, красиво и деликатно загримировать, ритуально перевязать, наконец. Вы уверены?

- Я уверен. Простите. – Перисвет встал. – Где подписать?

Через минуту он уже звонил в металлическую дверь мертвецкой.

Дверь приотворилась, и на мгновение мелькнувший в щели санитар, не дав Перисвету объясниться, грубо бросил:

- В траурном зале. Только быстро. У нас работа. – и захлопнул дверь.

Всеволод обошёл здание и направился к траурному залу. Войдя, он увидел стоящую поперёк, всем своим видом выражавшую небрежную неприязнь каталку с телом Всеволода, на груди, силясь свалиться, похрустывал пакет с одеждой, на ручке каталки висел рюкзак. Тут же громко провернулся замок, открылась низкая металлическая дверь в углу зала, и тот же санитар, не менее зло громко сказал:

- У тебя пять минут. – и, осмотрев зал, захлопнул дверь.

Прикинув, как удобнее сделать, Перисвет подогнал ЗИЛ задом ко входу, откинул борт, подкатил каталку с «братом» и, изогнувшись, забросил сначала торс, а затем ноги, подтолкнул слегка свисавший зад и закрыл борт. Одежду и рюкзак забрал в кабину. Сев за руль, он тут же ощутил на руках холод и липкую нечистоту Всеволода, ещё раз прочувствовал, как коснулся тогда, когда закидывал, шва на голове, как чавкнуло тогда там, подо швом. Он высунулся из машины, приподнялся на ступеньке – восково-жёлтый, Всеволод лежал поперёк кузова, полу боком, одна рука забилась под голову, другая прикрывала её, таз развёрнут, ноги перекрещены. Вернувшись в кабину, он раскрыл рюкзак и едва сдержался, что б не стошнить – затхлая кремово злачная нечистота пахнула в лицо.

- Ну и вонь. – он потуже затянул тесьму, завёлся и выехал со двора.

Двенадцатое августа, обеденный зной, Перисвет притормозил у кафе и, прикрыв тело Всеволода плащ-палаткой, направился к стойке.

- Что вам?

- Мне милая, чебуреков, пять штук, пачку майонеза и во-о-он ту беленькую.

- Будет исполнено. – девушка приветливо стукнула себе по щиту лба гутоперчивым выхлыстом и выпустила слизь. – Вы присаживайтесь во-он за тот столик, оттуда телевизор лучше видно. Вам принесут.

- Я надеюсь, это будете вы?

- А больше некому.

- Вот и чудненько. – Перисвет сел за столик.

Столик оказался уютный со встроенным кондиционером и, главное, с него прекрасно просматривался грузовик. Перисвет видел, как девушка, перебросившись парой-тройкой фраз с напарницей, скрылась в подсобке.

- Вам сейчас принесут! – крикнула напарница через весь зал.

Перисвет кивнул. Полная, кряжистая в старомодном кокошнике – официантка показалась ему куда более интересной. Что-то из детства напоминала она ему. Особенно старушеская причёска: пирамидкой и в гребень – тонкие, как у строгой учительницы губы, только у неё они были подведены яркой диссонирующей с постным воротником помадой, глаза смотрели дерзко и даже в чём-то жестоко.

Вдруг у стойки появились двое: молодой, крепко пьющий парень в мятом медицинском халате и пожилой мужчина в нелепой кепке и костюме явно с чужого плеча.

- Дай-ка мне, красавица, она ту, с зелщёной энтикеткой!!! Самую дешёвую! – опершись о прилавок, мужчина указал непослушной рукой на стену из бутылок, и Перисвет заметил глубокие полосы от бинта на запястьях.

Буфетчица настороженно на него покосилось. Парень в халате заметно засуетился и побагровел лицом.

- Дядя Илья. – развязно произнёс он. – Чего мелочиться, наверняка ж палёная. Деньги есть, давай лучше Столичной?

- Вон той, с зелёной давай!!! – словно не слыша его, басил другой.

Перисвет присмотрелся – когда мужчина говорил, то рот его казался недвижимым.

- Ну, так какой?! – провизжала буфетчица.

Перисвет прищурился, и в то же время на него, практически в упор посмотрел парень в халате.

- Неси с зелёной, только живо. – он быстро отсчитал деньги.

Мужик стал засовывать бутылку в карман, но промахнулся, бутылка выскользнула и разбилась об пол.

- Ещё давай, да быстрей же! – волновался парень.

- Две!!! – добавил мужчина. – И ещё «Императрицу» давай! С неё начнём!

Перисвет, сам себя не контролируя, вышел из-за стола.

- Да быстрей же! Сдачу не нужно. Парень так торопился, что даже оттолкнулся от стойки, чтобы ускориться.

Они вышли из кафе и направились в лес. Перисвет выбежал на крыльцо. Мужчина шёл страшно: раскачиваясь, как будто его скелет проектировали не под ходьбу, а для того, что б, подобно карусели раскачивать детей. Он с трудом

переставлял негнущиеся ноги и в противовес туловищу делал круговые движения руками. Его попутчик, как мог, придерживал его за талию. Перисвет смотрел им в след до тех пор, пока те не скрылись в зарослях.

Когда он вернулся за стол – всё уже было накрыто: на одноразовой тарелке млела горка горячих чебуреков, пачка майонеза была аккуратно вскрыта, а рядом с бутылкой водки стоял хрустальная рюмка, каких обычно в заведениях такого плана не подают. Из рюмки, сложенная в треугольник торчала записка с номером телефона и игривой подписью Снежанна.

- Во как. – улыбнулся себе в десну Перисвет. – Так значит.

Он посмотрел на стойку – там, как десять минут назад стояла продавщица с гуттаперчевым выхлыстом. Она заметила его взгляд и покраснела.

- Ваше здоровье, Снежанночка! – крикнул он и, откупорив бутылку, в воздухе с ней чокнулся.

Она снова хлопнула по лбу. Тут вернулась напарница с подносом чистых «сочных» стаканов и, толкнувшись со Снежанной плечами, игриво покосилась на Перисвета. Они нарочито высоко рассмеялись.

- Ещё дня четыре, не меньше. – захмелевший Перисвет уже сидел у Снежанны на коленках и поглаживал мохнатую кисть. – Вот сегодня переночую, завтра…а там на юг подамся, я, знаете ли Снежанночка моряк-полярник. Так что в порт и-и-и…

- А меня это не пугает. – она кокетливо опрокинула глаза и межбровный желобок стёк до подбородка. – Я женщина вольная. – кокетливо откинула «предательский» желобок. – Ни за кого хвататься не собираюсь.

- Вы женщина вольная, а я не деревянный конь с кудельным хвостом – кишку имею и сердце.

- И я имею. – пуще прежнего забила выхлыстом Снежанна. – Кишку и… сердце.

- Вы волнуетесь. – скорее констатировал нежели спросил Перисвет.

- Ни сколько. – голубая ткань снова накрыла лицо.

- И всё-таки вы не вольная женщина. – Перисвет сдавил ей кисть так, что из прослоек показались листы.

- А вы не конь… деревянный.

- На эти четыре дня вы моя рабыня.

- Ой-йя. – она рассмеялась, прижимая руку к груди. – Да хоть бы и рабыня. Я страх, как обожаю такие игры.

- Снежанна, иди работать. – окликнула её напарница. – Вишь сколько народу.

А под вечер и правда народу подошло. Все столики и даже треть барной стойки были заняты.

- Ты не уходи, через час моя смена кончается. Пойдём, погуляем.

Перисвет кивнул и высвободил кисть лишь тогда, когда Снежанна, изогнувшись всем телом, вышла из-за стойки…

- Вы невероятный волшебник, Перисвет. И имя у вас, как у волшебника.

- А вы, Снежанночка, в таком случае русалка.

- А почему русалка? – Снежанна энергично вышагивала с ним под руку, и голос её подрагивал.

- А что б, коли я волшебник, да вы русалка, вместе мы рискуем вляпаться в сказку.

Они минули уютную, но слишком людную аллею и свернули в больничный дворик.

- Помните, Снежанночка, песню: в серене-евых о-огнях ту-убдиспансе-е-ра, что призраков по-о-олярных маня-ят в путь…

- Да. – мечтательно застыла она. – Мой отец любил наигрывать её на гавайской гитаре.

- Здесь совсем никого нет. Ты знаешь, мне иногда кажется, будто бы бывают в жизни такие мгновения, которые кто-то подстраивает, ну, будто бы моделирует.

- И вправду, странно… – Снежанна осмотрелась.

В бледно зелёном свете фонарей, словно давно истлевшие тела с полотен Караваджо выглядывали из непроглядного мрака густые руки лип. Медные одежды скамеек таинственно поблёскивали киноварью.

- Согласись, здесь гораздо романтичнее прогуливаться, чем на бульваре.

- И посидеть можно. Смотри – все скамейки сво…

- Тише. – вдруг коснулся ладонью её губ Перисвет. – Слышишь, что-то шумит?

- .

- Слышишь?

- Это, кажись, там. – Снежанна испуганно указала на едва различимый в темноте куст сирени. – Кричат вроде или дерутся.

Перисвет направился к кустам.

- Стой. – Снежанна почти заплакав, вцепилась ему в руку. – Мне страшно.

Снова раздался крик.

- Ты не понимаешь! – сверкнул глазами Перисвет. – Да пусти же! – рванул руку на себя.

- Я боюсь!

- А-а! – Перисвет, преодолевая сопротивление, поволок её к кустам.

На небольшом, едва облитом луной пяточке лежало низкое здание. Было так темно, что кроме закрашенных зелёной краской окон на предполагаемом здании ничего не было видно.

Грохот повторился, только уже с криками. За окном вспыхнул свет и мелькнула тень.

- Бежим же. – рванулся Перисвет, но Снежанна так упёрлась, что едва не села на коленки.

- Я не пойду. – взмолилась она.

- Ты что!?

- Не пойду!

- Тогда жди меня здесь. – он дёрнулся всем телом.

- Нет, стой! – Снежанна вцепилась мёртвой хваткой ему в куртку. – Это ж морг.

- Да, пусти ты. – стряхнул руку Перисвет и в четыре больших прыжка оказался у здания.

Из четырёх замазанных краской и защищённых решёткой окон только одно было распахнуто. Видя лишь силуэтами происходившее в помещении движение, Перисвет пропустил сразу два окна и заглянул в третье. Первое, что увидел он, была полу катившаяся, полу летевшая каталка, она буквально протаранила стену рядом с окном и с грохотом разлетелась на две составляющие, искорёженная станина с колёсами разбила распахнутую во внутрь фрамугу и, шваркнув по решётке, едва не выбила Перисвету глаз. Затем в зал мертвецкой ввалился тот парень, что приходил в кафе за водкой вместе со странным мужиком, на нём даже был тот же мятый медицинский халат. Он, жутко ревя, путался в спущенных по щиколотку штанах и словно тряпкой размахивал безжизненным телом маленькой девочки. Развернув полку с медицинским принадлежностями, что, с грохотом рассыпав свои внутренности, встала «козой», он налетел на секционный стол, отшатнулся и с размаху грохнул девочку головой о стену и, зацепившись полой халата за стоявшую в необозримом для Перисвета углу каталку, увлёк ту за собой – на середину зала, поскрипывая колёсами, выкатилась каталка с телом того странного старика, которого сегодня утром Перисвет видел в кафе. Затем, продолжая вращать и ударять девочкой обо всё, что встречалось, парень приблизился к окну, за которым спрятался Перисвет. То, что увидел Перисвет, когда тот оказался к нему спиной, заставило его отпрянуть – из ануса у него всё ниже и ниже выскальзывал обнажённый мужчина, он уже выпустивший таз, старался ногой зацепиться за стол и, то и дело, видимо пытаясь повалить того на пол, отталкивался от стен. Девочка, как не задолго до этого каталка, отлетела в стену и, окончательно разбив голову, сползла на пол. Парень, размахивая

теперь, словно ящерица хвостом мужчиной, сделал последнюю конвульсию по залу, схватил из умывальника нож и стал наносить себе удары в грудь, в живот, в бока… Наконец из него буквально вывалился человек. Из разрезанного плеча у того струилась кровь, он зажал рану ладонью, и, явно стараясь не попасться на глаза безумцу, пятясь, отполз под стол. Парень продолжал бить себя ножом, пока не упал замертво.

Повисла минутная тишина, и лишь тяжёлое сопение вывалившегося мужчины нарушало её. Жуткую картину представлял сейчас собою зал: забрызганные кровью и нечистотами стены, столы, пол, нервно раскачивающиеся под потолком плафоны, искорёженное железо каталки, подпирающий двери истекающий кровью молодой человек, труп старика на каталке, едва выглядывавшая из-за края стола открытым глазом мёртвая девочка, покрытое гематомами и кровью лицо её сильно деформировалось в черепе и сейчас напоминало разорванную книгу…

Перисвет почувствовал, как напрягся член, сам собой, неконтролируемо. Он взобрался на подоконник, чтобы лучше рассмотреть девочку.

- Я не чувствую себя живым на Земле. Я космический труп под колесом Сварога. Я – небожитель на Земле. Я вечный труп. Там не больно… – прошептал Перисвет.

И тут, прямо в метре от него, из-под стола выполз «выпавший» мужчина, бордовый, весь в фиолетовых помятинах и полосах, он был похож на новорожденного.

- Твою мать! – выругался он и, припадая на левую ногу, подошёл к девочке. – Какого хуя меня дёрнуло, что теперь делать?! – посмотрел на часы.

Вглядываясь в мятую спину, Перисвет достал член и стал медленными ровными движениями мастурбировать.

- Перисвет, что там? – Снежанна тронула его за плечо и шёпотом добавила. – Мне уже нестрашно, ты только не злись.

- А, ты. – амбивалентно покосился на неё Перисвет. – А ну-ка иди сюда. Поработаешь.

Он придвинул её голову к себе и, воспользовавшись замешательством, засунул член в рот. Снежанна сразу засосала, но вдруг взбрыкнулась.

- Ты что!? – вдруг закричала она.

- Тише ты. – Перисвет зажал ей рот ладонью. – Я играю. Не видишь, подыграй мне. Ну, ты друг мне или… На, бери.

Она послушно взяла член в руку и, облизав, стала умело сосать. А в это время мужчина, перевязав рану, на минуту исчез в дверях и явился уже с трупом какого-то здоровенного старика, прислонив того к столу, всем телом вошёл в него. Расправившись, старик снял костюм со старика, что по-прежнему

лежал на каталке посреди зала, одел его костюм на себя, вместо туфель обул тапочки, затем ложкой для обуви разжал себе рот и, выключив свет, скрылся в коридоре.

Перисвет выгнулся, напряг пресс и кончил Снежанне в рот, та жадно глотала тёплую сперму, нежно теребя в ладони мошонку.

- С-с-сука! Как мне нравится у вас! – прорычал ей на ухо Перисвет и, спрыгнув с подоконника, крепко обнял Снежанну. Та от удовольствия часто забила гутоперчивым выхлыстом.

За углом лязгнула металлическая дверь, и послышался шелест кустов.

- Охуеть можно, Снежанна, как мне у вас нравится. – всё сильнее прижимал он к себе девушку. – Вот закончу дела и, ей богу, вернусь.

Он с сожалением заглянул в тёмный, принесший ему столько наслаждений зал, попытался отыскать там девочку, медленно провёл ладонью по ребристому пруту решётки и впервые в жизни пожалел, что решётка ограждает не его от мира, а мир от него.

- Взгляд на задний дворик… – тихо себе под нос произнёс он.

- А что ты там видел, милый? – Снежанна платочком вытирала подбородок и открытые плечи.

- Да, так. Потом расскажу. Ну, однако. Пойдём-ка ещё прогуляемся.

- Нет. Мне ещё к десяти нужно в кафе. У нас договорённость такая – сегодня я к закрытию прихожу, помогаю уборку наводить, а в мою смену Айля приходит.

- А сколько сейчас?

- Да уж без четверти. Айля очень обязательная, и я не хочу её подводить.

- Да?.. – стоял в нерешительности Перисвет. – Ну, ладно, пойдём.

- Пойдём! – радостно, как будто они должны были пойти на танцы, а не на работу взвизгнула Снежанна. – А ты посидишь у нас до закрытия? Я тебе пива налью.

Утром, вынырнув из тёплой Снежанниной постели, Перисвет первым делом пошёл проверить машину. Покрытый росой ЗИЛ прел в жаркой тени. Всеволод лежал на своём месте, в кузове, как его и оставили, только плащ-палатка немного сбилась.

- Ветер что ли? – Перисвет поправил накидку.

Обойдя машину, он открыл дверь, поставил ногу на приступку и уже было собрался сесть за руль, как тут почуял неладное: что-то не то, как словно бы кто-то невидимый сидел сейчас на сидении и ждал, когда он сядет рядом с ним.

- Эй. Есть тут кто? – с опаской крикнул Перисвет в салон и приподнялся на ступеньку.

И тут же увидел, как лежавший на пассажирском месте принадлежавший некогда Всеволоду рюкзак задвигался – пища и щёлкая, он трясся где-то у самого клапана. Перисвет быстро захлопнул дверь и отскочил от машины. Потоптавшись в нерешительности на месте, он зашёл в кафе, положил на прилавок пол драхмы и сказал Айле:

- Водки налей, какой-нибудь по южнее.

- Утро с водочки начинаете – уважаю. – дерзко прямо в глаза смотрела она.

- И я тебя уважаю – давай наливай. А где Снежанна?

- Не всяк хозяин корову для молока держит, сколько для навозу.

- А по точнее.

- На склад она поехала. – Айля опытно откупорила бутылку XXSY669 и сорвала чеку окислителя. – У нас осьминоги маринованные кончились. А их очень местные адвентисты уважают, у них со вчерась морской пост зачался, так они акромя гадов священных с маслом конопляным ничего не принимают.

- Я так посмотрю – у вас все здесь друг друга уважают. – Перисвет с тревогой покосился на свой ЗИЛ.

- Менталитет такой. – пожала плечами Айля и наполнила стакан.

Сев за столик, Перисвет выпил водку, достал три исписанные мелким почерком листа, разложил перед собой на столе и, найдя нужный кусок, быстро пробежал его глазами:

«… у неё будет для тебя. Жди в колючих тенях у путей. Паспорт на брата и адрес. Храни Всеволода у кафе пять дней. Как пять оживут – езжай и оживи шестую. Деревянная, оловянная, настоящая, мраморная, медная, каловая – всех в сути опознаешь ты в шесть святых дней. Взрывом закончишь пятый, а вокзалом шестой».

Собравшись с духом, Перисвет снова вернулся к машине – рюкзак Всеволода по-прежнему вибрировал. Ослабив тесьму, он увидел, как деревянная бабушка, лёжа на боку, выедает внутренности у медной. Нервная дрожь пробежала у него по спине.

- Неужто ожила…

- Перисвет! Перисвет! – послышался голос Снежанны.

Она стояла на крыльце кафе и махала рукой.

- Что? – Перисвет встал на борт так, что бы его было видно.

- Иди быстрее сюда. Быстрее.

Было видно, что она взволнованна.

- Что случилось? Я сейчас занят. – Перисвет виновато улыбнулся.

- Только на минуту. Это очень срочно. – она стала спускаться по лестнице.

Тогда Перисвет, спеша, выложил труп медной бабушки на сиденье, что б в его отсутствие деревянная совсем её не съела, накрыл газетой и выбежал Снежанне на встречу.

- Ты представляешь, я только что узнала. – она в волнении теребила Перисвету воротник куртки. – У моей подруги, она на складе работает, дядя работает сторожем, тут недалеко. Его по разным стройкам отсылают сторожить. Знаешь, как начинают строить, так его…

- Ну, ты ближе, ближе к делу.

- Так вот вчера, когда мы с тобой, ну это, ну там. – она налилась румянцем. – Ну, это… у окна…

- Ну?

- Как мы ушли, помнишь, около десяти. Так вот там рядом стройка и там, прямо с крыши спрыгнули трое, представляешь, просто в мясо. – она возбуждённо округлила глаза. – Что б так разбиться, нужно было с самой верхотуры прыгнуть. Они даже, представь, упали на какие-то блоки из пористого дерева и так с ним перемешались, что их оттуда электропилами вырезали. Вот только что.

- Где?! Где это!? – Перисвет схватил её за плечи. – Ну? – тряхнул.

- Возле морга онкологического. Мы оказывается тогда…у него…

Не дослушав, Перисвет метнулся в машину, завёлся и, сминая кусты, с рёвом выехал на дорогу.

- В морг!? В морг как ехать!? – на ходу высовываясь из двери, кричал он встречным людям.

- Да вон, за углом. – наконец-то ответил пожилой человек в больничной робе.

Но Перисвет уже и сам видел, куда ему ехать. Из-за прозрачных сосен уже были видны пёстрые наряды машин милиции и скорой, толпились люди. С трудом маневрируя в тесных больничных закоулках, Перисвет на ощупь достал удостоверение, открыл его ртом. Бросив машину в подворотне, он уверенно направился к стройке.

- Сюда нельзя. – встретил его милиционер со скучающим лицом и сросшимися ушами.

- Свои. – глядя мимо, Перисвет сунул ему под нос удостоверение, и, протолкнувшись через спины взбежал по лестнице в сторожевую будку.

- Я уже два раза всё рассказал. – сторож, нацепив болтавшиеся на шее очки, недовольно посмотрел на удостоверение. – Два раза, сколько можно?

Он развёл в стакане валерьянку и выпил её так, как пьют спиртное.

- Сколько нужно, гражданин, столько и отвечать будете. Фамилия. Имя. Отчество. – отчеканил Перисвет и сделал вид, что включил в кармане диктофон.

Сторож слегка опешил:

- Аркадий Львович Яшков. Понимаете. – видимо холодное лицо Перисвета и та жёсткость с которой он, спеша как можно быстрее всё выведать, навалился на сторожа, подействовали так, что он решил оправдываться. – Пони-понимаете, меня зовут Аркадий!!! – он прижал руку к груди. –И-и его тоже зовут Аркадий.

- Кого?

- Ну, я ж говорил. Вчера около десяти вечера, как рабочие со второй смены ушли, мне в калитку, я, знаете, только закрыл её, как слышу крик: дескать, эй, открывай дверь. Ну, я, конечно: щас собаку спущу, иди с миром.

- Короче.

- Короче, впустил я его. Высокий такой, плечистый…

- Седой? С вытянутым лицом? выразительным носом? В костюме и тапочках? – аж привстал со стула Перисвет.

- Да! Да! Только…на тапочки, вы меня простите, я без очков не очень хорошо вижу, не разглядел. Говорит: меня зовут Аркадий и я здесь лежу в раковом корпусе! У меня рак – я скоро умру! Я сбежал из палаты! Хочу хоть напоследок воздуха свежего глотнуть! Я предлагаю вам выпить!!! Вот прямо дословно вам передаю, мне, знаете ли Создатель зрения не дал, а вот с памятью. – он махнул рукой. – Всё в ажуре. Ну, я, конечно, ну простите меня, кто ж знал, что так выйдет, и не сдержался…

- Он один был?

- Один вот те Свет.

- Что-нибудь странным показалось?

- Показалось. Я в темноте плохо разглядел, но, может мне и показалось, но говорил он, как-то странно, вроде как ртом шибко не шевелил, а может и вообще не шевелил. Ну, я подумал – болезнь… подкосила. И голос, знаете, вроде тихий, и, как будто из груди его кто орёт, вроде орёт-надрывается, а…тихо. Во как. А ещё Тибор, собака мой сторожевой. Одно название, что сторожевой – обычно сидит смирный, а тут как пчела ужалила, всё кидается на него, кидается. А он и говорит: а… можешь ты его в этой будке закрыть, ну, пока мы будем сидеть!? Ну, в смысле, выпивать. Меня, говорит, в детстве сильно одна бойцовая мразь погрызла, с тех пор не могу спокойно рядом с ними существовать! Ну, я пса в будку завёл, да поддоном и привалил. Спасибо, так намного спокойнее, говорит, у меня денег с собой много, а вот болезнь далеко ходить не позволяет, так вдоль корпуса пройдусь и назад, а потом и

совсем выходить перестал! Сегодня вот как-то полегчало! Дословно передаю. – сторож снова замешал себе валерьянки и выпил.

- Да что ты эту дрянь глушишь!? – Перисвет нервно забарабанил пальцами по столу. – Выпей чего-нибудь человеческого.

- А можно? – оживился сторож.

- А почему ж нельзя?

Аркадий извлёк из под стола уполовиненную бутылку с вином и налил полную кружку. Выпил и уже веселее стал рассказывать:

- А-а мага-азин-то далече, аж за выздоравливающим корпусом, у самой остановки, это я ему говорю. А он: дуй, значит, Аркаша, а я тем временем к тебе в сторожку буду карабкаться! И таким он мне свойским в тот момент показался, что, что, что я б ему мать свою схоронить доверил, не то, что б в будке обождать. Покупай! Что хочешь, сказал, и закусить! Ну, я и побёг. А когда вернулся – и нет его. Я так прошёлся вокруг будки – нет и нет его. Ну, думаю, ладно, может, передумал, что на уме у этих смертельно больных. Кто ж знал, что он такое задумает. Ну, я Тибора с будки выпустил, да и сел гостинцы распечатывать. А утром, как в обход пошёл: батюшки! Гляжу, у стены лежит парень, шибко разбившийся, голый совсем.

- Как выглядел?

- Холёный такой, даже полноватенький. А вы что, не видели? Все ваши уж посмотрели.

- На выезде был – не успел. – нахмурил брови Перисвет.

- А-а…работа, понимаю.

- А вы не обратили внимания, у него на груди и, в частности на левом плече не было порезов?

- Были-были. – прямо потянулся к нему Аркадий. – Я и вашим об этом говорил. Говорю, ну не похоже, что бы он так расцарапался о стену падаючи. Не иначе – убили. – он перешёл на шёпот. – А двое на блок из опилок приземлились – дребезги, жуть, одни головы и те сильно помятые торчали. Вот тут-то я Аркадия и увидал.

- А второй?

- Старушка какая-то. Вы может, ещё не знаете, там, на крыше коляску инвалидную нашли. Так вот я думаю, это они с тем парнем коляску-то со старушкой и закатили. А иначе кому? Аркадий ходячий, парень не похож на колясочника…

- Ладно, спасибо. – Пересвет озадаченно почесал затылок. – До свидания.

Он быстро сбежал по лестнице, встретился взглядом со случайно столкнувшимся с ним мужчиной и, выйдя в калитку, направился к машине. Рюкзак по-прежнему трясся: деревянная бабушка, непонятно как пробравшаяся

обратно в рюкзак активно боролась с тряпками, в которую была завёрнута оловянная, выеденное тело медной лежало в углу спинкой вверх.

- Ну, и? – уставился на неё Перисвет. – И что всё это значит? А?

Но бабушка в ответ лишь трещала и щёлкала. Уже вернувшись в кафе, Перисвет попросил у Снежанны три баночки от специй, и положил в них бабушек. А, как стемнело, он закапал тело Всеволода за мусорными баками у кафе.

- Нравится мне у вас. – сказал он Снежанне, глядя в свеженалитый стакан с водкой.

- Ой, ты и вчера мне так говорил. Вот только не рассказал, что же ты там такое увидел, что тебе так понравилось.

- Да не о том я сейчас, девочка моя. – Перисвет влажно улыбнулся. – Ты мне нравишься, воздух мне ваш нравится, то, что у вас в пять часов уже темно, как ночью, нравится, и дух, дух здесь какой-то здравый что ли, благодатный.

- Так леса кругом. Мы, почитай, посреди леса живём, на опушках да проплешинах.

Они посмеялись.

- Ну, что, закончишь смену, пройдём, погуляем?

- Пойдём. И я даже знаю куда. – она улыбнулась.

- Куда это?

- У моей подруги сын театрал, он, правда, ещё пока в школе учится, но подаёт большие надежды. Ты, может, слышал, у адвентистов-кариамиров сейчас пост пятидневный. Честно, я во всю эту брехню не верю, а подруга как-то втянулась и сына и мужа – всех завербовала. А я ей сразу сказала, даже не думай, я к вам ни ногой. Так вот моя подруга в их адвентистской школе что-то вроде завуча и по совместительству режиссёр в театральном кружке. Так у них сегодня по случаю второго дня поста какая-то театральная постановка. Начало в семь. Сходим?

- Так ты ж в восемь только заканчиваешь работу.

- Ну, немного опоздаем. Я предупрежу, она места для нас задержит.

- Ну, пойдём. – пожал плечами Перисвет. – Никогда ещё на подобных мероприятиях не бывал.

В восемь пятнадцать они подбежали к зданию школы. Освещённое с четырёх сторон оранжевыми прожекторами, червлёно золотое, суженное у основания, с круглыми ступенями и овитыми пористым рельефом окнами, – оно напоминало апельсин. Уже на подходе было понятно, что внутри праздник: незатейливая музыка, убранство – здание сразу к себе располагало и словно бы приглашало.

- Вы Снежанна, а вы Перисвет? – молодой холёный мужчина в белоснежном костюме и без лица сбежал по ступеням и галантно поклонился. – Алла Николаевна предупредила, что ждёт дорогих гостей, близких друзей нашей церкви. Я Аллалой, не смейтесь, моё имя только у непосвящённых вызывает улыбку. Я вахтёр, и позвольте, я проведу вас на ваши места.

Зал кастрюлей с бульоном пахнул в лица Перисвета и Снежанны потом и карамелью. Не представлялось внятным, каким образом Аллалой собирается усадить их на места в этом вареве. Зрители, пожалуй, только что друг у друга на плечах не сидели, так они были возбуждены и поглощены представлением. Под бой барабана и писк домры они скакали, сотрясая пол и выгибая спинки кресел. Но, к большому удивлению Перисвета, как только Аллалой касался плеча кого бы то ни было – тот покорно садился на своё место и, выражая неистовое удовольствие, уступал дорогу.

- Вот, пожалуйста. – проведя их в самую гущу, Аллалой указал на два не занятых места.

- Уважаемый, позвольте. – Перисвент, тронутый таким обращением, сунул руку в карман.

- Что вы, что вы. – аж отшатнулся от него Аллалой и попятился. – Наслаждайтесь зрелищем, уважаемый Перисвет.

На сцене творился самый настоящий балаган.

- Я видел что-то подобное в цыганском гетто! – старался перекричать толпу Перисвет. – Я там в министерстве служил! Та же атмосфера, тот же аромат.

Помимо глупых малосодержательных реплик, на зубок заученных актёрами и как раз сейчас с таким вдохновением обрушивающих их на зрителей, были слышны взрывы петард и явно постановочный визг. Он был так фальшив, что, казалось, сами стены стыдятся этого позора. Артисты с такой силой скакали по сцене, что Перисвет ступнями ощущал, как пол гуляет под ногами. Но вот публика утомилась – взмыленная с вывернутыми из штанов рубашками, люди плюхались в кресла, радостно обмениваясь друг с другом впечатлениями. Утихла и музыка.

- Ну вот, уселись, наконец. – Перисвет наклонился Снежанне к уху. – А то я уж думал, мы до конца выступления кроме их мокрых спин ничего не увидим.

Не менее уставшие актёры в масках пирата, проститутки, милиционера, священника и кота в сапогах, низко поклонились, совершили какой-то ритуальный реверанс и повернулись к кулисам.

- До чего ж они зловещи. – Перисвет снова склонился к уху и поцеловал выхлыст.

Маски двинулись к арьерсцене, и на сцене под рёв толпы возникла женщина в годах, она была вызывающе одета в короткую ярко розовую кожаную юбку в

стразах и, не менее короткий, ядовито золотой топ, на поясе её был повязан белоснежный бант, наподобие таких, какими бинтуют коробки в магазине подарков ловкие руки упаковщиц. И теперь этот бант в купе с тумбообразной фигурой делал её похожей на запакованную старую проститутку. Волосы и кружевные чулки женщины были плотно усыпаны серебристыми конфетти. В руке, словно негритянский фаллос чернел микрофон. Она так близко подносила его головку к губам, что казалось, вот-вот забудется и начнёт его сосать.

- Это Алла – моя подруга. – Снежанна бурно зааплодировала.

- А сейчас! – кричала Алла под барабанную дробь. – Встречайте! Загадочный лис, изъявивший желание остаться неизвестным! Он вышел из леса, чтобы поведать нам истину! Встречайте!!! Стихотворение – «КОООСМОООС»!!!!

- А это Дениска, ну, сын её. Помнишь, я говорила, что он театрал.

Шквал аплодисментов огромным ленивцем расползся по залу. Щуплый мальчик в костюме лисы выбежал на сцену. Видимо, свет софитов ослепил его, и он зажмурился. Он стоял посреди сцены, без хвоста, в отличие от костюма лицо его было загримировано удачнее: рыжий грим толстыми слоями лежал рядом с белым, щёки и нос были обильно усыпаны веснушками, на голове сидела шапка, типа ермолки только с лисьими ушами. К меховому костюму булавками был прищеплен ворот из настоящего лисьего хвоста.

- Космос! – небрежно выкрикнул Денис, и буря аплодисментов с новой силой разорвала зал.

- Видишь, это он уже играет. – толкала Перисвета в плечо Снежанна.

- Наверно, они пьяны – сегодня же святой пост. – словно сам себе сказал Денис и встал в позу – правая нога, как и правая рука, молнией смотрели в зал, левой рукой он изображал скрипичный ключ. - КС, – на этот раз таинственно и уже в зал произнёс он.

Зал замер. Кто-то догадался погасить свет, и теперь кроме млечных бликов, распространяемых зеркальным шаром по синему от сигаретного дыма залу, и щурящейся в ослепительном свете софитов сцены ничего не было видно.

Как вскормила меня мама, – налегая на аспираты, начал читать мальчик.

Воспитала и убила.
Как полено в чёрной топке
Догорело и пропало.

Грим вместе с потом жирной каплей заскользил вдоль носа.

Как собаку у дороги
Сухой веткой оттянули.

В зале кашлянули, и Денис сделал невообразимо длинную для поэта паузу. Он молчал четыре минуты.

Так. Срубили и. Забыли.

В Одиноком. Поле. Дождь…

Зал благоговейно молчал. Мальчик, окрылённый успехом, продолжил скороговоркой:

Как с колодца носят воду
Что Луна в ней отражалась
Как завесят окна в полдень
Чтобы Солнце не мешало
Как Икону поцелуют
Чтобы в доме был достаток
Как таблетки принимают
От сидящей в теле боли…

- Истина!!! – каким-то другим, будто бы внутренним голосом закричал Денис. – Какая бы страшная ты ни была! пусть даже Космически Страшная! но сегодня день поста пиктосферы! на сцене залитой потом кабаре! пускай даже в костюме лисы с оторванным хвостом. Но ты должна быть рождена!!!

Зал взорвался аплодисментами.

- Что они делают? – Перисвет встревожено обернулся. – Что вы делаете!? Что вы делаете? Невежды.

Но его никто не слышал, а Денис, перекрикивая всеобщее ликование, продолжал декламировать:

Как рассматривают порох
С возбуждением идиота
Как бельё снимают с ляжек
Две вспотевшие ладони
Как косой проходит дождик
Растревоживши деревья…

Он сглотнул ком, и, потеряв первую букву, практически крикнул в зал:

Так проходит всё на Свете!

Удивившись, на мгновение…

Постепенно грим вместе с потом покинул его лицо. Весь, он теперь серо-рыжей массой покоился на груди мальчика, и зрители, кто к своему восторгу, кто к возмущению тычили пальцами в его бледное лицо, каждому им знакомое лицо.

Как с могилы носят слёзы
Рукавами и платками

Как от хлеба режут пальцы
С почерневшими ногтями
Как махали! и стучали!
В танце диком сапогами
Как с попойки…

Денис заплакал. Он тёр лицо лисьими лапами и трясся.

…Как с по-п-пойки шли д-до койки
Кто-то вспомнит, только…смутно.

Ещё одна неприличная пауза поразила зал.

В липких кружках
Хмель играет!
Покрасневший полдень морит
Как жужжали звонко мухи!
Над твоею головою!
Как о камни бились жизни!

В экстазе Денис стал проглатывать буквы, так что дальнейший текст долетел до зала искажённым.

Как о камни бились жизни!
Как отскакивали звонко!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Так срубили и забыли
В одиноком поле дождь…

Как выстрел прозвучали его слова в изуродованном присутствующими зале, они, словно отравленной стрелой поразили сердце Перисвета и моментально умещвили. Он тщетно заглядывал в чужие лица, ища понимания или хотя бы поддержки, но видел лишь неподдельный восторг, и выжидание собственных эмоций. И вот! Как первый вздох новорожденного, как плач попавшего под поезд, как истерика тринадцатилетней девочки, как… зал взорвался аплодисментами, разродился, выжил. Вспыхнул свет. Денис, почувствовав это, убрал лапы с лица. Казалось, он сейчас взорвётся. Его тело мелко колотилось. Придя в себя, он поклонился. Аплодисменты усилились и постепенно переросли в овации. Денис стоял, склонившись чуть ли не до пола, и, казалось, ждал, когда многотонный потолок актового зала рухнет ему на голову.

Тут с ним что-то произошло, он вдруг распрямился и посмотрел в зал так, будто увидел чудовище, он протёр глаза и снова уставился и снова распрямился.

- Какое омерзительное зрелище. – вдруг произнёс он и его так передёрнуло, что у Перисвета по спине поползли мурашки.

Ему вдруг нестерпимо захотелось отсюда уйти, убежать, вырваться.

-Где Аня? Не понимаю почему, но я хочу её видеть. – Денис заметался по сцене. – Аня! Аня! Где ты?! Ты мне нужна! А-а-аня! – он уткнулся лицом в занавес. – Влагалище-е-е-е… Что за чёрт!? почему я не говорю? – Денис крикнул: – Аня!!!

Снежанна заглянула Перисвету в лицо и, извиняясь, испуганно улыбнулась.

– Что со мной? – Денис всё больше запутывался. – Аня! – он пошатнулся, и бессильно повис на занавесе. И тут, словно его осенило, он закричал: – Знаю! Буквы «А» и «Я» слишком огромны для моего рта. Его мизерный кружок просто не в состоянии вместить их бесконечность. После прозрения им там мало места. – Знаю! – сказал он, и подскочил к микрофону. – Знаю!!! – что было мочи заорал он.

Крик, изданный им, был оглушителен. Перисвет рванулся к нему, но в то же мгновение Денис ритуально поставил ноги на ширине плеч, отодвинул от себя микрофон, засунул руки поглубже в горло и разорвал себе рот.

Зал ахнул, кто-то в первых рядах упал без чувств. Перисвет, прорываясь сквозь толпу, подобрался к мальчику.

- Денис? Денис!

Тот лежал на руках у матери, трясся и, в ужасе кося глазом, пытался рассмотреть лоскуты щёк. Из порванного рта на костюм текла кровь. Вращая языком, словно грач с раздробленным клювом он судорожно бубнил:

Я сижу в огромном зале
С почерневшими носами
Никого я здесь не знаю
С опустевшими глазами
Звери старые сидят
А на сцене всё играют
Лето мамой отдыхает
Лето мамою играет
Лето знает и не знает
Я июль тот проклинаю
Что играет и роняет
А на сцене звери плачут
С почерневшими глазами
И ушами и носами
Я сижу в огромном зале
И я знаю и не знаю

Лето с мамою играет
Может мама молодая
Может то она в песочке
На лужайке у окошка
Может время испарилось
Может вовсе не родилось
Только мама всё играет
Может мама молодая
И деревья нагибая
Кроны кровью прокрывая
Это лето эту маму
Эти горы эти страхи
Может не было их вовсе
Может время словно стая
Словно зная и незная…

- Тише тише, малышь. – разукрашенная, как кукла пожилая женщина, плача, обнимала его голову. – Всё будет хорошо. Ты только тише-тише.

В это время на сцене появились врачи, они оттеснили Перисвета, и тот, не сводя глаз с Дениса, попятился за сцену.

- Словно зная и не зная. – бубнил он, пятясь. – Может, мама молодая…

Вдруг жаркие тело занавеса сомкнулось и превратилось во мрак. Оно словно бы закрыло его от шума и вони, которого было в зале в таком изобилии, которого он не видел даже в пресловутом цыганском гетто. И по мере того, как колыхание кулис останавливалось, топот и шум словно бы съедались, а в наступающей тишине всё отчётливее раздавался хруст, хруст сухой и тяжёлый. Постепенно шум смолк и полностью уступил место хрусту и даже какому-то почавкиванию и придыханиям. Перисвет медленно повернул голову. То, что он там увидел, он смог рассмотреть и то лишь как воспоминание уже стоя на улице: сотни детей с гноящимися культями вместо конечностей молча ползали по огромному параллелепипеду мрамора и, отрывая ртом куски, дробили его зубами.

Догадка медленно, но верно поразила его сакральностью проведения. Не дожидаясь, когда случится непоправимое, Перисвет помчался к месту захоронения Всеволода. Дворами он пробрался на задний двор кафе, разбросал картонные коробки и увидел, как земля, под которой лежал Всеволод шевелится. Она, словно бы дыша, вздымалась и подрагивала.

- Ой, Перисвет, а я тебя заждалась. – Снежанна в накинутом на голое тело полотенце щурилась на свету. – Ну, заходи же. А сколько времени?

- Третий час.

Перисвет прошёл в комнату и скинул куртку. Снежанна вернулась в кровать.

- Послушай, Снежанна, а почему ты не спрашиваешь, где я был, почему пропал так неожиданно, поче…

- Мужчины не любят, когда им задают много вопросов. – перебила его Снежанна.

- Но все любят, когда о них беспокоятся. Я думаю, даже попугаю стало бы интересно, почему у него не интересуются, куда это он запропастился, окажись он в такой ситуации.

- Попугай? Что-то я тебя не пойму: какой попугай, какая ситуация?

- Да такая ситуация. – горячился Перисвет. – Я такое видел, ты себе и представить не можешь. Не ходи больше к этой…Алле.

- А-а, ты про Аллу. Да ты не пугайся, просто Денис очень впечатлительный, у него и раньше бывали припадки, то кровь свою пил, то собаку с крыши сбросит. Бывают. А рот он несильно повредил. Алла звонила – швы на щёки наложили, да недельку придётся в больнице полежать. Они даже представление не стали отменять. Как Дениску увезли, так сразу следующий номер последовал, только Алла, конечно, уже не объявляла – она с сыном в больницу поехала.

- Ладно. – несколько бесцеремонно оборвал её Перисвет. – Давай-ка к стенке поворачивайся – мне стресс нужно снять. Ну, давай. И, если можно, молча. Ну, где там у тебя? – он пальцами развёл шерстяные ягодицы и вывалил наружный отдел прямой кишки.

- Там же где и вчера. – шутливо кокетничала Снежанна.

- Ну, тогда расслабься. Ты, что-то напряжена.

- А полижи. – мурлыкнула она. – Лижи, милок, лижи… потом встань да в зеркало поглядись, не нализался, так ляг ещё полижи, только удайся белым да мяконьким… А-а-х-х…

- Твоя обрядовость не знает границ.

- Ну, лижи же.

Перисвет наклонился и взял в рот прямую кишку, медленно её пососав, он языком раздвинул стенки сфинктера, впустил слюну, затем немного пососал свой члени и ввёл его. Снежанна взмахнула выхлыстом и, застонав, как в барабан стала бить себя в лоб.

- А-а-а… – спустя десять минут закричал Перисвет. – А-а…

- Ну что ты, котик. Хорошо тебе? – она стирала сперму с пальцев о простынь.

- Ой. Лопатку. Защемило. – Перисвет, кряхтя, перевалился на спину. – Ой-ё-ёй. Как больно.

- Бедняжечка. – она гладила его по голове. – Тебе просто нужен хороший массаж.

- Да, я раньше ходил, два раза в неделю, постоянно. Вот вернусь в порт…

- Ой, слушай, у меня ж массажист есть превосходный. – Снежанна села на кровати, ночная рубашка сползла с плеча, обнажив острую молочно белую грудь. – Серёжа всему медгородку массажи делает. Его даже били однажды – конкуренты. Хочешь, я с ним договорюсь о встрече?

Уже была глубокая ночь, и свет уличного фонаря, тлея, мягко гладил дорогу и стены домов, когда Перисвет отыскал дом Сергея-массажиста. Лопатка по-прежнему ныла и, обычно чувствительный к боли Перисвет, посвятивший ей весь день и вечер, даже сейчас был полностью поглощён болевыми ощущениями и предвкушением грядущего избавления. Отыскав нужный подъезд, он поднялся по загаженному нечистотами и пропахшему аммиаком пролёту. В потёмках этажа номера квартиры было не разглядеть, и он позвонил в ту дверь, за которой единственной в этот поздний час был виден свет. И вдруг боль лопатки каким-то чудесным образом потекла по плечу, предплечью и переместилась на палец руки. Он поднёс палец к глазам и едва удержался на ногах: рука, которую он смог рассмотреть в бившем из глазка свете была не его – тонкие, будто игрушечные пальцы, явно принадлежали ребёнку. И озноб…озноб вдруг пробежал по ногам. Перисвет ощупал ноги – штанов не было, вместо штанов на худеньких ногах болтались коротенькие шортики. Палец всё разгорался.

Дверь отворилась, и на пороге возникла растрёпанная с восково-бледным лицом женщина, лоб её был повязан мокрой тряпкой, как обычно делают, что бы усмирить головную боль.

- Я заблудился… в подвале. – вдруг ни с того ни с сего стал оправдываться Перисвет, сам не понимая, почему и что он говорит.

- Ты понимаешь, что мы волнуемся, десять, одиннадцать, двенадцать – тебя нет! – кричала женщина. – Что мы можем думать?! Зачем ты туда полез?! Отец сейчас в милиции.

-Зачем? – испугался Перисвет, и испугался так, что почувствовал, как немеют ноги.

Как недавнее перемещение боли из лопатки в палец сейчас он с не меньшим удивлением наблюдал, как ватность ног, постепенно перекатываемая в солнечное сплетение, превращается в головокружение и уже там, в голове превращается в липкий гадостно колючий истерический страх. С каждой секундой происходящее раскрывалось для него в этом страшном головокружении, как лотос на луну – плавно и неизбежно, он

уже понимал, что перед ним его мать, что зовут её Ирина Егоровна, что он сейчас смотрит на неё и о чём-то врёт, он уже понимал, что легко и правдоподобно сможет так же смотреть на отца и врать ему о том, что он сегодня делал.

- Ты не слышал, что сегодня случилось? – Ирина Егоровна с недоверием посмотрела на Перисвета. - Ты не знаешь?

Перисвет покачал головой.

- Машиной сбило мальчика… с Кислой Дыбы. Милиция тут ходила. Его мама… Ой… Не зачем тебе это… ужас. Там на шоссе.

Перисвет вдруг подумал, что его мать ему верит, и что она, несомненно, дура, если это так. И тут же сам испугался этой мысли. Он чувствовал, что тот мальчик, которым он был, остался сегодня утром на полу кухни со вспоротым битым стеклом пузом; за пятьдесят тысяч он выкупил его у милиционеров, но так и не смог пронести мимо всеобъемлющей матери. Мысль о том, что сон может быть в руку, окончательно сбила его с толку. Он стал щипать себя, чтобы разбудить. Но чужие, а, следовательно, непонятные мысли тараканами настойчиво атаковали голову. Он снова, не зависимо то себя, удивился: откуда такие мысли, откуда они, не мог же он так думать, не мог. А ещё он вдруг стал полностью уверен в том, что это он сам себя выкупил этим же утром и убил, и пытался вспомнить кого-то, кто был в подвале…

Мурашки опять пробежали по позвоночнику и превратились в анальный позыв. Мама пропала, уступив место зеркалу, в котором буквально вспыхнуло отражение мальчика, очень похожего на маму мальчика, в грязном летнем шортном костюме, с окровавленным пальцем и ртом. Тут снова появилась мама и резкими движениями сорвала с него костюм, намотав его на руку, она, ничего не говоря, скрылась в ванной. В зеркале снова появился мальчик. Перисвет взмахнул рукой – мальчик тоже взмахнул. Перисвет – правой, мальчик – левой.

- Я Адольф. – сказал мальчику Перисвет.

Вдруг из зала развязанной походкой вышла омерзительного вида синелицая старуха, она, плотоядно глядя в Перисвета, скинула махровый халат, села на корточки и жалобно заскулила. Ещё секунда и Перисвет заорал.

- Что? Что с тобой? – Снежанна вытирала ему пот платком. – Перисвет, всё хорошо, ты спи, спи…

- Что!? Адольф!? – Ирина Егоровна выскочила из ванной и вопросительно посмотрела на Перисвета.

С шорт в её руках капала на пол вода.

- Вода – это та же кровь. – сказал Перисвет. – Только кровь белая, прозрачная. Жизнь китовая, как кровь страшная, жизнь белков серая, как мышь снежная… - он твердил это и монотонно дёргал розовый член бледной рукой, абсолютно голый с выпирающими на груди рёбрами посреди ярко освещённой прихожей, он мастурбировал и улыбался. Палец нестерпимо болел, но остановиться он не мог, так сладко было у него в руке. Мама мгновенно подскочила к нему и с силой ударила по руке мокрыми шортами, потом по лицу, потом толкнула его на пол и перевернула на живот.

- Во-он! Во-о-он отсюда, сука! – шипела она. - Вон! Блядская мразь!!!

Старуха продолжала ползать по прихожей и скулить.

- Пошла вон!!! – мама закрывала Перисвету глаза и выкручивала руки.

- А-н -ня! Ан-н-ня! - по-детски растягивая мягкую как ваниль «нь» выкрикивала старуха. Она перекатывалась на спину и тёрлась шеей о тапочки - Ав! Ав, ав, ав!!! Р-р-р! Р! Р-ррр! – лаяла она и задирала колени, - Ад-доль- льф! Ад-доль-льф! Ад-дольф! Ад-дольф! Р-р-р, - она подползла вплотную к родственникам, начала вылизывать Адольфу пятки, сосать пальцы и жать ягодицы, лизать липкие от мочи бёдра. – Ав! Ав!

- Пошла вон! Чтобы никогда… слышишь, никогда я тебя здесь не видела! – Ирина Егоровна тащила мастурбировавшего Перисвета к ванной и ногами отпихивала старуху, потом бросила его на пол, одновременно придавив старуху дверью. Она несколько раз ударила изворачивавшуюся старуху ногой и оттолкнула назад в прихожую. Затем вернулась к Перисвету, он барахтался на мокром полу и пытался встать.

- Лежать!!! Лежать!!! – проревела она.

Наклонившись, мама подняла его с пола и положила в воду к мокнущему белью, бросив на него сверху шорты, и также спокойно повторила:

- Лежать!!!

Краем глаза Перисвет успел заметить в зеркале стоявшего в прежней позе мальчика. Дверь захлопнулась. Из прихожей ещё некоторое время доносились звуки приглушенной возни, потом удары и обрывки фраз.

- Честно? Я не слышу?!

Перисвет с трудом разбирал слова мамы.

- Но Образцов!.. Он сказал!

- Бля, нет! Нет!!!

- Избранный, избранный. Он показывал мне…

- Где?

- Спину. Адольф избранный…

- А! А!
- Но он помогал!
- А!!
Опять послышалась возня и тупые удары.
- Спина… спи…
Стоны стихли, и послышался звон разбившегося стекла и грохот, как будто упал комод с посудой, потом тишина. В ванне воняло, от шорт несло мочой, от замоченной одежды – порошком и мешковиной, живот был липкий, в голове рельсы и тяжёлый поезд:
- Ту-ду – ту- ду. Ту-ду – ту-ду.
Ту-ду – ту-ду. Ту-ду – ту-ду.
Ту-ду – ту-ду. Ту-ду – ту-ду.
Перисвет, чувствуя, как мохнатая ладонь Снежанны гладит его лоб, дотянулся до крана и открыл воду. Шум распыляемой системой воды перемешался с остальным гулом и наполнил ванную комнату. Палец невыносимо ныл. Перисвет засунул его в рот и начал сосать. Это как-то успокаивало и усыпляло, уже становящийся привычным вкус крови наполнил рот и включил дурман, хотелось говорить, сквозь дрёму, сквозь негу, сквозь окоченение… Он попытался определить температуру воды, накрывавшую его грудь, но, как ни старался, не смог даже узнать – горячая она или холодная. Он что-то шептал, но разобрать это было невозможно. Перисвет уже почти заснул, когда из-за двери послышалось тихое пение, даже не пение, а почти шёпот, пели два женских голоса, не спеша, иногда западая на гласные:

С пьяным рассветом зову я убогих
Дудку мусоля, забавлю безногих,
Прямо с крыльца кинув стадо дебилов,
Дудкину музыку – песнь свинорылых.
Ходит она, ковыляет, фальшивит.
Кровью харкает, толпу дебоширит,
Ту-ру-ту-ту, ту-ру-ту, та-ри-ра,
В олове бьётся вся голова.

Ту-ду-ту- ду. Ту-ду-ту-ду. Перисвет раскачивался на волнах в ванной и ощущал себя лайнером, что несётся по шумной глади океана навстречу своей смерти, навстречу своему айсбергу. Ту-ду- ту-ду. А за дверью всё пели, только голосов, кажется, стало больше. Слышались и совсем незнакомые голоса.
- Адольф, пошли пить пиво! Пошли! – двери в горящую таверну были открыты, и из них валил дым.

- Куда пошли, там же горит?! – Перисвет пытался высвободить руки из-под белья, но у него не получалось. – Горит! Вы что не видите!?

- Это закат горит, – говорила незнакомая девочка, очень красивая, с испачканным калом лицом, и целовала его брови, - это горит закат жизни твоего приятеля. Ты когда-нибудь видел закат чьей-нибудь жизни? А тут ты видишь закат жизни, которую ты погубил. Иди, посмотри его поближе, там вкусно, там горячие щи, пиво, раки…

- Я задохнусь! Ты что дура? Дым валит, я задохнусь! – пытался вырваться из её объятий Перисвет.

- В пожаре чужой смерти, что может быть прекраснее, чем задохнуться в пожаре чужой смерти, со щами её владельца на устах, в пару его боли…

- Адольф, пошли пить пиво! Пиво! Пиво! Пиво! – скандировала толпа. Целая толпа чудовищ трясла раками и красными чертями горела на свету. Копоть, дым, смрад наполняли всё вокруг сладким запахом. – Пиво! Адольф! Пива! Неси пиво! На Гринькину могилку, пива бутылку! Неси в костёр! Гриню с бутылкой. В костёр! В костёр! В костёр!

- Неси мой дом скорей в костёр, а то я в нём совсем замёрз… Замёрз…замёрз…

В ванной комнате было нестерпимо жарко, из крана лился кипяток, а рот набух от крови и торчал из головы красной розой. За дверью продолжали петь и выть, и даже был слышан стук сапог об пол.

- Неси! Неси! Скорей в костёр! Скорей…

Жарко было невыносимо. Перисвет вывалился из ванны и упал на раскалённый кафель – сильно обжёгся. Схватился за ручку и опять обжёгся, толкнул дверь, и огонь шаркнул ему по лицу. Разогнав первый дым, он увидел обнажённых и обгоревших людей, которые, превозмогая боль и перекрикивая треск огня, пели песню и плясали, их было много. Перисвет прыгнул в прихожую и, расталкивая их плечами, выбежал на лестничную клетку, там уже собрались жильцы.

- Где мама? Мама где? – кто-то тряс Перисвета за плечи и тыкал в губы нашатырь. – Где мама?

- Пожарные уже едут! – докладывал испуганный мужской голос пролётом ниже.

- Спуститесь кто-нибудь к подъезду.

Люди всё прибывали. Они сползались со всех щелей: заспанные и помятые. Особенно Перисвету запомнился дедушка с первого этажа, он чётко осознавал, что знает об этом дедушке и, что все знали о его существовании, но никогда его не видели живьём – дедушка жил замкнуто и изолированно от людей. Сейчас он стоял в полосатой пижаме, гладко

выбритый и с наполовину наполненным ведром. На ногах у него были мокрые тапочки. Перисвету ещё подумалось, что, когда тот тащил воду с первого этажа, то по дороге расплескал. Замок в двери раскалился и на пол упал шуруп. По лестнице экипированный, словно советский космонавт, бежал пожарный, бесцеремонно распихивая зевак и разматывая по пролёту хобот шланга. Перисвета закутали в одеяло и прижали к стене, дедушка обмакнул тряпку в ведре и протянул ему. Тот машинально провёл её телом по губам – тряпка тут же порозовела.

- Аня! – внезапно крикнул Перисвет и дёрнулся к двери, но сам же остановился.

Этого никто не заметил.

- Спускайтесь вниз! Вниз! Глухие!? Чего вы тут стоите!

- Ну, стадо коров! – толкались плечами пожарные. – Вон, на хуй, на мороз! Работать мешаете.

- А сэйчас бараны пайдут. – спародировал Сталина старичок с ведром.

- Ну! Ну, на хуй!

Сонные пожарные, не выбирая выражений, прогоняли людей с площадки. Но те не спешили уходить и, прижимаясь к стенкам, всматривались в дымящиеся двери. Перисвет подумал, что, скорее всего, они тоже слышали пение, и теперь им было интересно, кто мог петь в квартире его родителей ночью. Вдруг его схватили за талию. Кто-то подхватил его и вынес на улицу, принесли ещё одно одеяло. Глаза ещё не успокоились от дыма, и приходилось много и часто моргать. На улице было по-утреннему свежо. Уже светало. Сгоревшая квартира окнами выходила во двор, но если раньше она ни чем не выделялась из общего ряда, то теперь три её глаза зияли чёрными дырами, а из их недр, тараня и раскаляя разбитые стёкла, валил дым и млечно сверкали искры борющегося с пожарниками огня.

И снова чужие мысли стали атаковать ум Перисвета. Заря чьей-то смерти, думал он, и усмехался, и тут же следующая мысль гусеницей танка наползала на предыдущую: не чьей-то – мама умерла. Он встал и пошёл за дом, прихватив за чем-то с земли ботинок. Стараясь вспомнить, как идти к Снежанне, Перисвет прошёл под окнами и свернул за кустами, ботинок тащился за ним на шнурке. Он обогнул ещё несколько домов и вышел к шоссе, и его внимание привлекли кусты – уже издали он разглядел, как они ровным строем стелились вдоль дороги, лишь слегка вздрагивая своей линией на месте «сигнального поста». Какого сигнального поста, Перисвет понять не мог, но чувствовал, что, то было место его падения, и что ему было очень неприятно находиться на этом месте. Он вышел на дорогу.

Невдалеке, у обочины стояла пластмассовая бутылка с цветами. И, теперь уже последняя мысль выросла на воспалённой почве мозга Перисвета: дети – цветы жизни, гласила она, и не больше, не меньше. Он упал в траву, выгнулся и крикнул в предрассветный лес:

- Пожа-а-а-а-ар!!!

- Перисвет. Перисвет. Успокойся.

- …в олове бьётся голова вся голова в олове бьётся… – метался на мокрой от пота простыне он.

- Ну, Перисвет, у тебя жар. Успокойся. У нас так бывает – климат такой. День похандришь и буде. – Снежанна сидела рядом с ним на постели в медицинской маске. Маленькие светящиеся из бордовых воронок глаза её горели преданностью. – Ну, потерпи.

- …в олове, бьётся…

- Потерпи…

- Сколько дней я здесь? – разбитый и измотанный долгими метаниями Перисвет открыл глаза.

На груди лежала смятая выпачканная губной помадой медицинская повязка.

- Сегодня четвёртый. – не задумываясь, ответила Снежанна. – Ты приболел, и я встречу с массажистом отменила. Но, ели хочешь, я на сегодня договорюсь.

Перисвет попробовал привстать – лопатка по-прежнему ныла.

- Наверно застудил. Ну, да ладно. Ты позвони ему – а то у меня дальняя дорога, а с такой лопаткой, сама понимаешь…

- Понимаю. – загадочно сказала Снежанна не отрываясь от маникюра.

- Что понимаешь? – подозрительно посмотрел на неё Перисвет.

- Ну, так. – она неопределённо пожала плечами. – Понимаю…

- Послушай. – нежно произнёс Перисвет. – А поехали со мной. Я тебе потом ещё многое объясню. Ты мир повидаешь, чего тебе чахнуть в этой дыре?

- Я подумаю.

- Устал я, Снежанна, очень устал. – он тяжело вздохнул. – Если б жизнь мою можно было представить горлом, то это ваше место – это та кость, что так мне встала…

- Тебе же нравилось?

- Всё когда-то нравится… сначала, а потом, без исключений, всё так же и надоедает. Необходимо многим жертвовать, прилагать титанические усилия, или просто обманывать себя мыслью, что всё, что происходит вокруг – тебя не интересует, что бы через всю жизнь пронести

привязанность к тому первому, раз и навсегда понравившемуся. А здесь, здесь мне просто осточертело, нужно быть олигофрэном или просто хорошим человеком, что бы провести здесь жизнь.

- А у меня есть знакомый олигофрэн.

- Да у тебя здесь, я посмотрю, все знакомые.

- Работа такая. – слабо улыбнулась Снежанна и покрутила перед глазами идеально отполированными ногтями. – Я обслуживаю, а со мной знакомятся. Ведь я по долгу службы просто должна нравиться. А люди любят знакомиться с приятными людьми.

- Просто знакомиться?

- Ну…бывает и непросто.

- Скажи – сощурился Перисвет. – А сколько у тебя было мужчин?

- Ну-у-у… много. Я спокойно к этому отношусь. У моих мам только официальных браков, на двоих будет под десяток.

- Ну, а я у тебя какой? – приподнялся на локте Пересвет.

- Э-э-э…восьмой или девятый. Нужно вспомнить.

- Здорово, я могу, прям, гордиться. Перисвет Восьмой, или Девятый. Прям король Генрих Восьмой или Карл Девятый.

- Ну, не передёргивай. Сам спросил. – Снежанна отложила пилку для ногтей и отвернулась к стене.

Когда ближе к вечеру Пересвет откапал труп Всеволода, в животе у того вибрировала мраморная бабушка, а когда, вернувшись к машине, он стал открывать дверь, то уже точно знал, в какой из банок на этот раз вспыхнет жизнь.

- Вот и подходит к концу наше с вами путешествие. – он с грустью перевёл взгляд с банок с бабушками на мигавший разноцветными огнями вход в кафе. – И тебе, Снежка, спасибо. Пойти, что ли пройтись?

Заперев кабину, Перисвет направился на бульвар. Людное похожее на пёстрый платок местечко быстро вырвало его из объятий меланхолии, а двести армянского коньяку внесли в новое веселящееся в мозгу состояние некую нотку стабильности и надорванности.

- Мужчина. Мужчина. Пожалуйста.

Как из-под земли перед Перисветом возник, тут же повалился и снова возник неопрятного вида чудаковатый старик.

- Мужчина. Пожалуйста. – повторил он.

- Чего тебе? – Перисвет с нескрываемым презрение взвесил встречного взглядом.

Плешивый, крепко раскрытый в голове, с наружными скребами он едва держался на ногах. На изодранной в клочья рубахе красовалась самотканая эмблема.

- Портвейну. Если есть. Водку. Можно. – гадко склабился тот. – Вот. Вы, может. Не знаете.

Он опустился на землю и, вынув из-за пазухи, разложил перед собой маленькие размером с детскую кисть статуэтки.

- Богини. Я. Скульптор. – он по одной брал статуэтки в руку и подносил их Перисвету. – Портвейн. Можно водку. Богиня Эльульс. Рекомендую. Лучшая работа. Можно водку. Если нет. Ну, что? – он застыл со статуэткой в вытянутой руке.

Снежанна! – перисвет шумно вошёл в комнатку Снежанны. – Закрывай глаза, открывай рот! – восторженно проговорил он.

Снежанна быстро надела тонированные очки, чтобы спрятать заплаканные глаза и с недоверием покосилась на его спрятанную за спиной руку.

- Ладно, шучу. Рот можешь не открывать. Сейчас. Ха-ха. Откроешь потом. – Перисвет прохаживался округ неё кругами. – Ну, так закроешь или нет?

- Ты, что выпил? – криво улыбнулась она.

- Был грех. – Перисвет в вытянутой руке, словно букет цветов протянул статуэтку. – Это тебе в знак, ну, в знак. – наморщил он лоб. – Ну, в общем – в знак.

Снежанна взяла статуэтку, повертела в руках, затем приподняла тонированные очки и, дико забив выхлыстом по лбу, отшвырнула статуэтку в сторону, как если бы он дал ей подержать кишечного червя или паука.

- А-м-м, у-у, бр-р. – её всё передёргивало. – Где ты это взял? – наконец совладав с собой, сказала она Перисвету.

- Ну-у, ну. – мялся ничего не понимающий Перисвет, глядя то на Снежанну, то на развалившуюся на две части скульптурку. – На бульваре. А что? Гулял по бульвару, познакомился со скульптором, да и выменял на портвейн. Из очень редкого, кстати, камня сделана, название ещё такое хитрое, не помню, ручная ра…

- Ручная, говоришь. – Снежанна отхлебнула воды. – Я тебе сейчас расскажу, какая это работа. – и раскатисто рассмеялась.

Глядя на неё, засмеялся и Перисвет.

- Это ж угораздило тебя с этим придурком встретиться. – всё ещё смеялась Снежанна. – Это ж Воцик, местный сумасшедший. Он целыми

днями пасётся у мусорных баков морга. Где собирает разную испачканную дрянь и тащит домой. А скульптурки эти он делает из каловых камней.

- Из каких? – напрягся Перисвет.

- Из каловых. – Снежанна снова залилась смехом. - Их в изобилии у умерших от старости или от долгой болезни. И после вскрытия их выбрасывают в мусор, потому что те не пролазят в сливные отверстия, а он…

Не дослушав, Перисвет выбежал в дверь и направился к машине. Стараясь не думать, давя в себе слёзы, всеми силами пытаясь оградить себя от бытия, временно оглушиться, перестать быть… как чуткий от природы, но вынужденный стать палачом солдат, как верующий судья, как выброшенная обувь… стараясь перестать быть и тем самым только усиливая душевную боль, ограничивая её, обозначая, Перисвет вскочил за руль, завёл мотор, оросив металлическим скрежетом утонувшие в ночной дремоте дворы, воткнул заднюю передачу, и уже нащупал носком ботинка дугу газа, как вдруг в свете фар возникла Снежанна. Скукожившаяся, в тонированных очках она сделала это так нереально, что Перисвет вздрогнул и, сощурившись, всмотрелся ей в лицо – может, паутина сорвалась с заброшенной мансарды и, обнажившись, обманывает сейчас воспалённое сознание?

А Снежанна тем временем подошла к двери. Предугадывая тяжёлое расставание, он заблокировал дверь и, приопустив стекло, едва было открыл рот, как она, словно бы глядя мимо, заклинательно произнесла:

- Ну что ж, моё дело сделано, теперь я свободна.

И, сделав шаг назад, взорвалась. Перисвет только и успел, что заслониться ладонями, как тёплые, липкие плевки крови и плоти обдали его, словно набежавшая волна. Уже минуты спустя, когда, утопая педалью газа во вздыбленный дерматин пола, проносясь у зеркальной витрины трёхсот метрового гипермаркета, он с ужасом наблюдал кабину ЗИЛ-а, что окровавленным рубанком, словно колосс разбил о него свою гигантскую кисть в пощёчине, таранила ночную улицу, в памяти, как заведённые проносились секунды последних слов Снежки и глухие удары мяса, дробью барабанившие дверь в момент взрыва. Сквозь слёзы Перисвет видел, как дворники, шипя и изгибаясь, забрасывали густую бурую жидкость на крышу, на приборной панели, словно солнечный зайчик покачивался ошмёток жировой ткани с островком голубой шерсти…

- Людмила Оковна? Так отбыла она. – полупьяная в фиолетовой сыпи девка говорила подтянувшись на заборе, и от того её речь напоминала речь

пришедшего к финишу спортсмена. – Токось, как рассвело. Севку свого, сказала, хоронить поеду.

- Чем поехала? – холодно, уже понимая, что дело осложняется, Перисвет заглянул девке в глаза.

- Сейчас? – кассир железнодорожной станции Стрелки удивлённо приподняла правую бровь.

- Да, сейчас. – раздражённо кивнул головой Перисвет. – Я желаю узнать, на каком отрезке пути в данное время находится экспресс Кадуки – Худой Звон. Я могу это сделать?

- М-м-м…да. – пожала плечами кассир. – Предположительно…Нежиль, плюс-минус пятьдесят километров, может, Солнцегорск. Я лучше позвоню.

Перисвет кивнул.

До прибытия поезда на станцию Нежиль оставалось четыре минуты. Нервно теребя волосы, Перисвет вышагивал по залитому утренним золотом перрону и пытался придумать хоть какой-нибудь аргумент, чтобы Людмила Оковна Талашкина, бабушка Всеволода, не стала продолжать свой путь в комфортабельном экспрессе, а пересела к нему, в полуразвалившийся ЗИЛ. Но решение, как это чаще всего и бывает, пришло само собой, едва только на горизонте появилась рудая головка поезда.

- Людмила Оковна, дорогая, вы только не волнуйтесь. – Перисвет, мысленно отсчитывая триста секунд, чуть ли не сел перед старушкой на колени. Та только закончила завтракать, и теперь сгребала со стола остатки копчёного варана. – Выслушайте меня. – всё ближе к лицу придвигался Перисвет. – А лучше давайте выйдем – свежий воздух, всё такое…

- Что вам нужно? – она уставилась на Перисвета, словно только что его заметила и отёрла рукавом жирные губы.

- Выйдемте, Людмила Оковна.

- ?

- Так, не пойдёте?

- ?

- Вы только не волнуйтесь. Ваш внук, глубокоуважаемый Всеволод Георгиевич Талашкин, погиб, ну, вы в курсе, вы всё знаете, а так же-е-е… может, всё же выйдем? Ну, да ладно. Вы же в курсе, что на Дуге сейчас идут бои, наши граждане несут невообразимые потери, вы только представьте, сколько матерей несутся сейчас в Волгодонск, что бы изъять и захоронить тело своего единственного, ну, или даже не единственного сына. Семьи! Семьи молодых ребят умирают! Может, выйдем?

- Да подите вы вон! От куда вы меня знаете?

- Я из комитета погибших матерей, ой, м-м-м… матерей погибших. – Перисвет смахнул со лба пот. – Вашего Всеволода по ошибке отправили из Выртинской мертвецкой во златоглавый Будапешт, к приемникам, как, дескать, героя, ну, как воевал он за бурых и копьём был заколот, в голову, «уж оченя на героя был похожа», дословно вам слова судмедэксперта передаю. Так что гордитеся, что сын ваш похожим оказался. Давайте выйдем, Людмила Оковна, а я и брата вашего знаю.

- Никифора? – она стала на ощупь одевать бурки.

- Ага, его голубчика. – закивал, словно китайский болванчик Перисвет.

- Так, а что от меня, по что на улицу? – всунув ногу в бурку, Людмила Оковна стала грубыми крестьянскими пальцами стягивать жгуты.

- Тако свежее там, любезная Людмила Оковна. А это все ваши вещички? – Перисвет вынул из-под лавки пакет и вышел в пролёт.

- Для Севы новопреставленного везу. – прокряхтела, не разгибаясь, бабушка. – А пошто ты мой пакет ухватил?

- Пойдём. Пойдёмте, я на улице вам всё объясню.

Схватив свободной рукой под локоть, Перисвет поволок за собой старушку. Бережно собранные в промасленный газетный лист вараньи кости рассыпались по проходу. Поезд тронулся. Выскочив в тамбур, Перисвет оттолкнул проводницу, опустил ступени и, приземлившись на перрон, подхватил перепуганную Людмилу Оковну.

- Вот и чудненько. – он чувственно обнял её за стан и опустил на землю. – Вы только не волнуйтесь – вон мой грузовик. – он роскошным жестом указал за угол вокзала.

- Но, поезд? – старушка обречённо протянула руки вслед удалявшемуся вагону.

- Не волнуйтесь – вон мой грузовик. – Перисвет снова метнул головой за угол. – Ваш Всеволод был по ошибке отправлен в Будапешт, вы должны это понять. – и полу шёпотом, шифруясь, добавил: - Вам это зачтётся. Мы едем в Будапешт, в тихое селенье староверов, Скихт, где вы и получите вашего любезного внука в цельности и сохранности, а с ним, если конечно поклянётесь хранить завет, и его награды – пал он, вы просто обязаны это понять.

Слушая и рассеянно озираясь по сторонам, Людмила Оковна следовала за Перисветом по пустынному перрону и, уже было завернула за угол, как краем глаза заметила мороженицу, что, перекладывая из коробки цветное эскимо, с любопытством расглядывала её. Длинные пастообразные руки мороженщицы при этом не останавливались ни на секунду. Заметил это и Перисвет. И не о Людмиле Оковне, не о Всеволоде и даже не о Снежанне

думал он, когда Людмила Оковна, претерпевая предсмертные судороги, дрожа на его ноже, сжимала грубыми от земляных работ ладонями его нежное, практически женское предплечье – а думал он о мороженщице, о том пытливом взгляде, в котором прочитывалась зависть, опыт и, несомненная при её работе и даже, несомненно, сопряжённым с ней образом жизни, подозрительность – именно о ней и думал Перисвет, вытирая окровавленный клинок о шёлковую сорочку Людмилы Оковны.

Раздев бабушку, он забросил труп к Всеволоду, в кузов, и, приведя себя в порядок, снова направился на перрон.

- Желаете мороженага? – с сильным монгольским акцентом приветствовала его мороженица.

- Акстисья Коллистратовна Шмидт. – Перисвет в пальцах покрутил бейджик, что, прикреплённый весёлой булавкой, висел у той на переднике.

- Как видите. А зачем так фамильярно – я ведь и так могу.

- Что могу?

- Могу и так, если люб будешь.

- А люб?

- Так уж не знаю. – она выложила новую охапку мороженого в морозильную камеру. – Бейджик смутил.

- А ты непростая. – постарался вложить непомерное количество смыслов в эту, по сути, бессодержательную фразу Перисвет.

- Да и вы…

- Что я?

- Странный вы какой-то.

- А вы не замужем?

- А вы не извращенец?

- А у вас в камере кроме мороженого есть трупы?

- А кто была та?

- Та. Моя мама. Я встретил её с поезда и передал младшему брату. Он повёз её к её сестре, моей тётке, Тамаре Филипповне, у неё племянник женится, а мама портниха – будет его невесте Августине из Саранска, может, слышали, платье подвенечное шить.

- Как у вас всё закручено.

- А то.

- А у вас всегда всё так закручено?

- А вы сами убедитесь. Сейчас очень рано – пора бы и завтракать, а вы на работу вышли. Будь я вашим мужем, я б с вами сношался каждое утро с шести до одиннадцати.

- У меня есть молодой человек.

- А сколько с ним?
- Сорок минут в неделю.
- Он философ?
- Просто неудачник, неудачник в профессии, неудачник в любви, вечный второй…
- Акстисья Коллистратовна, у меня грузовик, там. – Перисвет указал за угол. – Бросайте свою телегу и пойдёмте пить!
- Не знаю, нужно подумать.
- А чего тут думать?
- Просто всё так… А вы, как думаете, стоит?
- Мне кажется, стоит.
- Вы считаете, что стоит, а я сомневаюсь. Один голос «за», другой воздерживается.
- Ваш, воздерживается, я правильно понимаю?
Мороженщица кивнула.
- Значит голосование?
- Прям, Никейский собор – 218 – «за», 2 – «против».
- Понимайте, как знаете, а я предлагаю проголосовать вместо вас.
- За меня, ну что ж, извольте.
- Именно – за. Я голосую «за».
- Оп-п-па! – хлопнула в ладоши она. – А каким же будет ваш голос?
- Я проголосую «за».
- Тогда пойдёмте! – мороженщица демонстративно широко хлопнула крышкой. – Напьёмся, как свиньи!
- А действительно, пойдёмте!
- А пойдёмте!
- Вот и чудно!
Она заперла лоток на ключ и покорно пошла за Перисветом. Набросив на промасленные сиденья ватное одеяло, Перисвет жестом указал Акстисье куда сесть, и сам подсел к ней.
- Будем пить ром, настоящий гавайский, на страусиных перьях настоянный.
- Ни хуя себе! – искренне восхитилась Акстисья.
- Не выражайся, прошу тебя. – мирно укорил её Перисвет. – Это не украшает тебя, скорее наоборот, портит и старит, а старая вещь хороша в музее или в толпе, среди себе подобных, где истории их сплочены и тем самым обезличены, там грех их един и предан истории; не выражайся – это не делает тебе чести.

- В толпе? Да я целый день в толпе. Мне иногда кажется, что она мной управляет.

- Тебе кажется.

- ?

- Тобой управляет тот, кто управляет толпой. Да ты и сама толпа, только толпа в толпе, некий островок инакомыслия. Ты ведь инако мыслишь.

- Уже и не знаю. А вообще, прости, я больше не буду, ну, это, с матом. Просто изо дня в день бегаешь, как автомат, и забываешься, и управляешься. А вообще, уже не помню у кого прочитала, не то у Белинского, не то у Сократа, что толпа суть предрассудок, у которого нет своего вектора, то есть движения мысли, есть только вектор заданный авторитетом. Ну, или как-то ещё, но в целом смысл таков.

- Вот я и говорю, каким бы редким и индивидуальным ты себя не считал, всё равно ты лишь часть определённой толпы с определённым авторитетом во главе. Что-то вроде внутренних органов, собранных в одном организме.

- Отвратительно, как и всё живое! – словно бы обрадовавшись новой мысли, встрепенулась мороженщица.

- Вот и чудно.

- Не люблю утро. Каждый цикл вижу его новорожденную гримасу. – вздохнула Акстисья. – Каждое утро одно и то же: зима – свиной розовый и резь от холода, весна – восторг, граничащий с самоубийством, осень – сырость и тухлое дыхание мертвеца, лето – предвестник жары и мокрой блузки… Хочу, чтоб было иначе.

- Иначе? А я сделаю так, что б было иначе! – оживился Перисвет. – Вот ей Богу!

- Ой, да ладно-то трепать. Иначе. Где ты его, этого иначе-то возьмёшь? Трёп и не более того. И не вздумай тут из себя авантюрного парня-пистолете разыгрывать – проходила – неинтересно.

- Тогда по существу. – перебил её Перисвет.

- Давай по существу.

- Только ёбнем сызначала рому.

- Бнем.

- Что – «бнем»?

- Ну, ёбнем, только без музея.

- А-а, ты про это. И то верно, можно и без музея. Только без музея у меня не встанет.

- ?

- Ну, не встанет. Нужна тухлятина. Нетронутая тухлятина. Ну, вроде умерла рыба, хорошая рыба, добрая рыба, – на берег выбросило – и

лежала-лежала и стухла. И я подползаю к ней, весь такой старомодный, нюхаю, может, даже полизываю, а она мертва. И воняет… То целомудрие. Целомудрием несёт. Не по своей вине целомудренна она – стихией в века ввергнута нетронутой. Страшно… Ни во что верить не хочется после этих мыслей.

- А ты успокойся, смирись. – Акстисья тепло погладила его по волосам. – Нюхай, да в голову не бери. Прими се за дурман, что займёт тебя не долго не коротко – на жизнь твою скоротечную займёт, да вымоется с головы, как смерть свою примешь, как мороженщицей не стану я по смерти своей, как всё вокруг сменит обличия… И вообще – я тайная еврейка, а евреи верят, что женщина это всего лишь кусок мяса от мясника, у которого нет души, а мёртвое мясо свежим не быва…

Перисвет плеснул в неё кислотой – алый каплевидный флакончик шесть лет ждал этого под сиденьем, шесть лет он грезил об том.

- Ах-х-ха-а-а-а. – зашипела Акстисья, и лицо её вмиг сделалось коричневым; вздувшиеся белки лопнули, потекли по щекам. – Хры-рры-рры. – словно набрала в рот крутого кипятка взрычала она и замерла.

- Не прав медведь, что корову съел, не права и корова, что в лес зашла. – замер на мгновение и Перисвет.

Уже с трупа он отчленил руки и, обстучав их о ствол берёзы, связал ими тела Всеволода и Людмилы Оковны.

- Дабы не растряслись. – заключил себе под нос Перисвет и спрыгнул с кузова.

Бёдра и загривок он приготовил на костре и съел. Пятый день подходил к концу.

А утром в дверь кабины постучали – два коротких с большим перерывом удара. Стук был глухой и какой-то некрепкий. Перисвет протёр глаза и выглянул в окно: в рассветных сумерках, широко расставив ноги, стояла Людмила Оковна, на руках её подрагивал Всеволод. Не заметив Перисвета, она отклонилась и, словно увесистым поленом стукнула головой внука в дверь. Глухой удар повторился.

- Ну, отворяй же, помазанник. – проскрипела она капризно. – Чай, не май месяц. – по телу её пробежала нервная рябь. – Вишь, как брызжет-то, Перисветушко. – она на мгновение замерла в алом рассветном рефлексе. – Новая жизнь нас поджидает, милый: мы с малышом телом станем, будем тебя по Руси водить, а ты слушать станешь, макушкой мясной прикинешься. Сейчас супротив Солнца езжай да по правую руку держись – к ночи быть должны. Там уж ждут. Болото-родитель готов нас принять.

Без четвери три, как и завещали Большие древние, Болото-родитель, «нарядный и присыпанный людьми, яко дешёвки лик пудрою», «едино торжественен и по закону потоптан» лежал во глуби голубой рощи, «столпами глазу неверному невидимыми обозначенный».

- Тысячи лет безмолвия, отец-родитель. – смиренно кланялись болоту новоприбывшие.

- И большие тысячи в прозрении, милый батюшка. – вторили им пришедшие за долго до чуда и уже успевшие окоченеть.

Люди укладывались на животы, ровно в продолжение крестов «четвериков» к ступням друг друга, гул их молитвы отражался от плотных стен чащи и паром взмывался в ясное лунное небо.

Тут вдалеке послышалось урчание мотора, и далёкие огни фар, качнувшись на кочке, мигнули в темноте. Народ как один смолк. Грузовик остановился и из кабины вышли Перисвет и Людмила Оковна с Всеволодом на руках.

- Пойдём быстрее. – подрагивая на ветру, шепнула она Перисвету. – Боюсь, как бы дикари эти не обезумели, да не спортили нам всё.

- Да, конечно. – словно бы думая что-то своё ответил ей Перисвет и прибавил шаг.

Люди с новой силой стали молиться, охая и стуча кулаками в мягкое тело Болота-родителя.

- Кажись туда. – Перисвет всмотрелся в бледное свечение, проглядывавшее из-за насыпи.

- Туда-туда. Иди быстрее. – едва разжимая губы прошептала Людмила Оковна и тут же зычно запела: - Приветствую тебя Болото-родитель, отец нашего племени и покровитель человечества всего брошенного на поругание! Прими сосуды избранные, да наполни их по преданию, не меньше, как мудростию недр твоих! Принимай же нас.

Взобравшись на пригорок, не останавливаясь ни на мгновение, они прыгнули в свет.

Как рассвело, мать-камень, треугольный, размером со слона, с тонкой розовой макушкой, выполз из ямы и, скрежеща трупами околевших за ночь людей, тихой сапой пополз в чащу, в которой ему, прежде чем показаться людям, предстоял многолетний и тяжкий труд по самосозданию.

Terror antiquus 4

«… - Постой, неудобно. Да постой же!

Под покосившимся, похожим на мёртвый гриб навесом, у входа в подъезд, стояли двое. Один – черноволосый, в джемпере без рукавов и в коричневых стёртых в плоскостопии ботинках оттягивал от дверной ручки руку другого, на голову его выше ростом, но сутулого, костистого, с пальцами пианиста и лицом Блока.

- Ну, постой же, прошу! Прошу тебя, Николай, выслушай.

- И что, что ты мне можешь сказать? – негодуя, глядел свысока «Блок». – Я все твои «выслушай», уже выслушивал сотню и одну раз. Вспомни, о чём мы с тобой третьего дня в сквере разговаривали.

- Но, Николай.

- Никаких, «но», Павел. Был уже разговор. – не взирая на усилия Павла, он не выпускал дверную ручку из кулака. – Если ты такая рохля, то я до старости девственником ходить не желаю, не хочу, понимаешь.

- Я всё понимаю… – Павел заметно нервничал и теребил бледными пальцами отворот рубашки. – Только минуту подождём. Я не отказываюсь от своих слов, но…

- Всё, хватит себя не ценить. – интонацией Павла произнёс Николай. – Твои слова? А? Сколько можно трусить, завтра же подходим к первой же встретившейся девушке и знакомимся. Что бы ни было, заводим разговор. Один раз не получится, второй, на третий обязательно удастся – мы ж не уроды. Твои слова? Продолжать?!

Павел отпустил его рукав и, потупившись, промолвил:

- Не нужно.

- Вот и умница. Соберись, будь мужиком! Помнишь, как у Фета Афанасия. – и он зычно, нараспев стал декламировать: - Одним толчком согнать ладью живую! С наглаженных отливами песков! Одной волной подняться в жизнь иную! Учуять ветр с цветущих берегов! Тоскливый сон прервать единым звуком! Упиться вдруг неведомым! родным !!!Дать жизни вздох, дать сладость тайным мукам! Чужое вмиг почувствовать своим!..

- Всё-всё, хватит. – едва не падая с ног, Павел повис у друга на плече. – Хватит. Убедил. – и глубоко и часто дыша, как всё равно после пробежки прошептал: - Какие стихи…

- Вот и ладно. – Николай распахнул дверь и шагнул в пропахший нечистотами подъезд. – Ты только сразу ни чего не говори, по обвыкнись, так смотри, как я буду действовать, и старайся держаться непосредственно…

- А вино, вино когда? Оно мне…давит. – он похлопал себя по животу – под одеждой просматривался вытянутый силуэт бутылки.

- Давай лучше мне. Давай сейчас.

- Да, лучше сейчас. – Павел стал угловато выпихивать бутылку из-за ремня. – А то я сесть не смогу, буду стоять, как не знаю что. – он протянул бутылку Николаю.

- Так, молчи.

- Эта квартира?..

- Эта. – Николай два раза коротко надавил на звонок.

- А что ты... – вздрогнул вдруг Павел.

- Тш-ш-ш… – Николай коснулся его плеча, и, скосив глаза, указал на дверь.

Сквозь гул вентиляции послышалось глубинное чавканье разбитого замка.

- Кто? – словно из пещеры промычал уставший несколько небрежный женский голос.

- Алла?! – делано кадетски задорно выкрикнул Николай, но голос его дрогнул и он, поддерживая бравый тон неестественно раскрытой позой, и подставившись под глазок, уже более нейтрально произнёс: - Алла. Это Николай Извозов. Алла?

За дверью повисла тишина, но тут же оборвалась щелчком замка. В проёме появилась несколько обескураженная молодая девушка, низкая, плотно сбитая, она буквально выглядывала бордовой головой во влажных, собранных на затылке чёрных волосах из воротника, кажущегося бесформенной разваливающейся кучей махровых полотенец халата. Вокруг неё, пряча небрежность общей прихожей, клубился пар. Не то от её раскрасневшегося, похожего на свежий борщ лица, не то из вульгарно выглядывавшей из-за вешалки квартиры тяжело несло ваксой.

- А я только из ванной. – сказала она и потуже подтянула халат, обозначив крепкую широкую грудь. – Мылась, да простирнула кой-чё.

- А-а. – с наигранным участием протянул Павел, закивав головой, и тут же страшно стушевался.

Алла удивлённо посмотрела на него: он вжался в стену, губа его задёргалась и на мгновение всем троим показалось, что он хочет убежать.

Заметив её взгляд, Николай, как мог свободно произнёс:

- Это Павел, ты должна его помнить, в параллельном классе учился, помнишь, он ещё однажды опоздал и по ошибке в наш класс заглянул. Помнишь?

Алла неопределённо пожала плечами и привстала босыми ступнями с коврика на порог.

- В столовой мы ещё с ним всё время вместе обедали. Ты, может, видела, а ещё на субботнике…

- А, вы…может…это…пройдёте? – смахнула рукавом со лба испарину Алла.

- Конечно. – оживился и несколько нелепо засуетился Николай. – О-о, у тебя здесь жарко. – он стал на коврик и, сторонясь, пропустил Павла. Тот тоже остановился на коврике, плотно прижимаясь плечом к Николаю.

- М-можно…б-ботинки…убрано? – он, краснея, и теребя рукав рубашки, обратился к Алле, и, едва поймав её снова удивлённый взгляд на себе, потупился.

- Да ты пройди. – она протолкнула Павла в прихожую. – Я дверь закрою.

- Я ра-разуюсь. – бормотал тот себе под нос и трясущимися руками теребил шнурок.

- А жарко. – продолжала говорить Алла. – Это я тут стирку затеяла – пол дня провозилась, потом Анюту покупала, сама вот помылась. – она взяла с полки телефонную книгу и стала ей обмахиваться. – Вот и жарко, я вон, вроде, и обтёрлась вся полотенцем, всё одно мокрая вся, тока теперь от пота – халат зимний, да протёрся и я его и летом пользую. А окна открывать боюсь – Анюта, боюсь, простынет, мы только недавно болели. А что это у тебя… Коля?

- А!? – неожиданно громко выкрикнул Николай. – Бычья кровь – вино!

- Тише ты. – Алла с тревогой покосилась на завешанную покрывалом дверь. – Аню только уложила. Не дай бог проснётся – пол ночи потом концерты давать будет.

- А-а-а… – уже полушёпотом пропел Николай. – Понял-понял. И ты, Павел, ум-м… Пашка, тише, у Аллы дочка маленькая, так что тише.

- Пойдёмте за мной. – она провела гостей в кухню. – Садитесь, а я у плиты сяду – суп на завтра поставила вариться, что-то всё никак не сготовится – мясо жёсткое. Та-а-ак, а где у меня стаканы? – она пошарила по шуфлядкам и, не найдя, привстала и потянулась к верхним полкам. Халат натянулся и друзья увидели треугольные тоже бордовые

икры на тонких, плоских голенях. – Только два. Я с кружки буду. – отдуваясь сказала она и в первый раз за вечер улыбнулась.

Выпив, Николай пхнул друга под столом ногой, что б тот не пялился так откровенно Алле на обнажённые коленки, а сам, стараясь улыбаться, настраивал беседу:

- А сколько…Ане?

- Восемь. – Алла одним глотком ополовинила кружку. – Ум, вкусно. – она покрутила перед глазами бутылку. – Только, слабовато, кажись… Но, всё равно, вкусно. Восемь месяцев Аннушке моей. – несколько блуждающе говорила она. – Девятый вот позавчера пошёл. Ой, знаешь, как родилась, я первые несколько дней в себя прийти не могла, как в тумане всё равно. Я – мама – просто в голове не укладывалась. А потом, знаешь, как будто так и надо, как будто у меня всю жизнь ребёнок был. Стала сразу дни считать, потом недели и не заметила, как месяц стукнул. И я, знаешь, испугалась, это ж ей так и год, и десять и, как и мне семнадцать стукнет, а я и не замечу – как один день пролетит. Вот уже восемь месяцев. И привязалась к ней. Так привязалась! – она судорожно отхлебнула.

- Да-а… ребёнок – это чудо. – мечтательно застыл Николай. – Чудо жизни.

Лицо Аллы вдруг резко сползло вниз, Николай заметил это, и, опомнившись, добавил:

- Да, вот вырастет, в школу пойдёт, побегаешь ещё за ней на дискотеки.

- Да, чувствую, побегаю. Красивая, зараза, получилась! – оживилась Алла. – И характер мой. Ох, и набегалась же за мной мать: то – половина первого ночи – Алла на танцах, то – три часа, Аллы нет – Алла на бильярде, то пришла – разуться не могу – пьяная, мать встречает, а меня провожал тогда таксист один – здоровый такой мужик, чуть ментов не вызвала, она мне потом все мозги высосала с этим таксистом. А я что виновата, что он сутками бомбит и всё что набомбит на меня тратит. Ой, мы с ним где только ни были: все рестораны, все ночники, дискотеки объездили, а раз я говорю: Карэн, хочу, грю, что б кроме нас в ночном клубе никого не было. И представляете, не успела я в туалет сходить, как возвращаюсь, а он один за столиком сидит. Да-а-а... – мечтательно застыла она. – Весёлая жизнь у тебя Алла была. А теперь всё – у меня Анюта, мой цветочек – все заботы теперь о ней…

- А отец? – с серьёзным видом, даже слегка прищурившись, спросил Павел, и тут же получил болючий удар ногой по лодыжке от Николая.

- Отец? – надула губы Алла и уставилась в потолок. – А зачем он нам нужен? И без него проживём. Я сама ему сказала – катись-ка ты ко всем чертям колбасой. Так и сказала. Как прикатился, так и катись. Такой сразу, вроде, нормальный пацан показался. Нет, я знала, что он сидел, но так, знаете, без этих уголовных замашек. Правда, если на танцах там, кто косо глянет или заговорить со мной захочет, то он сразу кидался, просто в кровь избивал. А потом от мусоров прятался – ему ж нельзя после зоны особо светиться. А так нормальный был. А потом, уже как ко мне переехал, чего-то дурить стал. То напьётся – всю хату развернёт. А то привёл как-то корешей своих, вроде вместе сидели. Так сразу – нормальные пацаны, только крученные все какие-то. А как выпили, так разборки какие-то начались. Один, прикинь, даже на мать мою стал с табуреткой кидаться. Так она ночью в оной ночнушке бегала ментам звонить. А он за ней по улице, еле ноги тащит, а табуреткой всё размахивает…

Николай понимающе засмеялся.

- Так мама и говорит: гони ты этого придурка, что б им и не воняло тут.

- Д-ха? – резко засмеялся Павел и едва не выронил пустой стакан из рук.

- Быстро что-то кончилось. – Алла тоскливо посмотрела на нарядную бутылку. – Только и начали разговаривать…

- Так это. – встрепенулся Николай. – Так есть деньги, можем взять…ещё…что… - он выложил на стол аккуратно сложенные купюры. – А твоя мать, когда приходит, может, в беседку пойдём, посидим?

- А не-е. – Алла поставила пустую бутылку на пол. – Мать сегодня в ночь, а утром сразу с работы к бабке – завтра ж суббота – у неё будет торчать.

- Так, это… ещё вина? – потёр ладоши Николай.

- Вина? – Алла скривила лицо. – От него изжога. Давай лучше самогона, что-то сегодня жахнуть хочется, да и Аня спит хорошо – можно будет посидеть. А, мальчики?

Павел заёрзал на стуле.

- Тут через дорогу точка. Цыганка одна торгует – вы её не знаете. Она шифруется. Сейчас оденусь. – она выпорхнула из кухни.

- Ну-у-у. – Николай повернул довольным лицом к всё ещё не оклиматизировавшемуся Павлу. – Считай, что всё будет. Мне Андрей

рассказывал, что она как выпьет, сразу стриптиз танцевать начинает, потом подсядет, а потом…

- Я готова. – в дверях появилась Алла.

Замерев в контрапосте, в короткой, едва прикрывающей трусики кожаной юбке, колготах, так тесно облегающих её мощные ноги, что на суставах, бёдрах и икрах они казались протёртыми, в не менее облегающем, с открытым, собранным над ремнём в гармошку животом, ярко розовым в блёстках топом и на высоких каблуках она создавала впечатление прекрасной женщины-машины. Туго стянутые под обруч волосы, делали и без того маленькую головку миниатюрной.

- Ну. – она протянула пухленькую ладонь. – А вы пока телек посмотрите. – спрятав деньги, она сняла с холодильника маленький телевизор и, воткнув в него антенну, включила. – Я быстро.

Дождавшись, когда входная дверь захлопнется, Николай подскочил к Павлу:

- Ты видел, какая она!? У меня уже стоит! Да чего ты такой мороженый? Павел, ты чего?

А Павел сидел мрачнее тучи, краснота спала с лица и превратилась в болезненную бледность.

- Да чего ты, Паша?

- Не знаю. – едва слышно буркнул тот.

- Чего не знаю!? Мы мужиками сегодня станем, ты понимаешь? – округлял глаза Николай.

- У-у у меня н-не получится. Да не дыши ты в меня. – легко оттолкнул его Павел. – Я знаю, ч-ч-то не получится.

- Бля-я-я. – одним воздухом протянул Николай. – Нашёл о чём думать. Выпьешь, расслабишься, ты ж зажатый весь, а там Алка тебе минет сделает. Мне Андрей расска…

- Всё, всё, помолчи…я расслаблюсь, т-только ты п-п-помолчи.

Павел поднялся со стула, немного постоял и вышел из кухни.

- Дха-а-а… – сам себе пропел Николай, проводил взглядом медленно закрывающуюся кухонную дверь и откинулся на спинку стула.

В застывших глазах его уже стоял аромат потной от услад постели. И пот этот будет не кислый, не приторно едкий, как в женской раздевалке, после урока физкультуры, или после ответственной контрольной – свежий пот, струящийся пот, пот-сок, амброзия… Вот оно – взбитое, вывернутое, напоминающее замерший плевок, изрезанное в кровь кривыми сладкими складками простыни, словно лицо старика морщинами первое ложе, окропленное живым потом, омазанное слизью.

Стоны, крики, разнузданный безобразный в своей нахальности, бьющийся искалеченной птицей стриптиз бывшей одноклассницы, уже крутились на языке будущие непристойные просьбы, нет, не просьбы – приказы! – он будет властным любовником, он убьёт Аллу своим членом, членом своего темперамента, и пьянство, и взрослость, Алла мощная, Алла жаркая, Алла влажная, Алла смазчатая, Алла пахнет сексом, после которого он обязательно закурит, заставит Аллу глотать, а Павла смотреть заставит Аллу ползать перед ним на коленях стоять голой перед распахнутым окном а там будут проходить другие его бывшие одноклассники и даже одноклассницы – эти презрительно томные самки, несчастные мастурбаторы, прелые девственники, пожиратели маминых сладостей, будут идти и млеть друг от друга и бояться друг друга и ненавидеть друг друга, а лето подходит к концу и теперь только если дискотека или день рождения у кого-нибудь на квартире, а лето неминуемо подходит к концу, а я всё ещё… и все будут видеть его пьяного в этом большом словно сцена окне с сигаретой только что кончившего а на завтра будут расск…

Тускло звякнуло стекло кухонной двери, и из полумрака прихожей показался Павел. Он нерешительно придерживался за дверную ручку, точно так же, как час назад держался за рукав Николая – будто собираясь уйти, или пытался не впустить себя.

- Ты что, в туалет ходил? – Николай не сам задал материализовавшийся из воздуха вопрос, испуганно привстал и, всматриваясь в лицо друга, как можно быстрее пытался понять, смог ли тот проникнуть в его постыдные мечтания или же мечтания выплеснулись из его пьяной головы блевотиной на пол, и стали доступны ушам, пускай даже ушам друга, но всё же чужим ушам, или Николай кричал, или молчал, но двигался, или…

Он с новым ужасом впился в глаза друга.

- Я, это… – Павел отпустил ручку, кивнул в прихожую и взволнованно затеребил ворот рубашки. – Ну, в общем, я…это, Аню в рот…т-трахнул.

И глаза Павла на долю секунды протрезвели…»

Часть 4
Глава 1

СКАЗАНИЕ ДЛЯ КАЛИСТРАТА

Жирное солнечное блюдо, заморгав, опрокинулась за горизонт – зубчатая коса далёкого ельника напряглась. Илья, не ожидая этого так остро, бросил испуганный взгляд на Чешу, паренька-альбиноса из низины, и встретил его вмиг посиневшие в вечерней мгле волосы.

- Эва скользнуло. – глухо, словно из могилы, пробасил Чеша, кивнув на то место, где только что исчезло солнце.

- Угу. – замедлил шаг Илья. – Я тоже заметил, даже испугался немного. Бр-р-р. – его передёрнуло.

- Terror antiquus[33]?

- Зябко… – заглянул ему в глаза Илья. – Кажись, и не грело вовсе, так, для красоты висело, а всё ж теплее было.

- У меня с мамкой так: вот вижу её фигурально, и кровь жаром разливается, почти с обмороком, а нет её – чувствую издалека, как словно радаром…

- Странный ты…

- И ты…

- Я?.. – Илья рассеянно посмотрел по сторонам и, увидев выворочeнную с корнем осину, сказал: - Вон, туда пойдём.

- А ты точно взял? – шагал в ногу с ним Чеша.

- Взял? – нахмурился Илья.

Чеша замедлился.

- А-а, ты про деньги. – встрепенулся Илья. – Взял, конечно. Тебе что Василий не рассказывал, я всегда по-честному, ты только не волнуйся – я этого не люблю.

- Было, просто, как-то… – промямлил Чеша.

- Ну и темнотища. – Илья нащупал ствол дерева и осмотрелся. – Не пойму, я в эту пору здесь не раз бывал – и по светлее и по просторнее вроде как было. – его взгляд на секунду замер на выглядывавшем между деревьев пирамидальном силуэте, и он, словно обращаясь к себе, спросил: - Камень, что ли?

[33]Terror antiquus – Древний ужас

- Ну давай уже, Илюша. – несколько взволнованно прошептал Чеша и коснулся его плеча. – Зябко, ты же сам говорил, и-и-и… боязно здесь как-то…ч-черно, говорил, уютно здесь будет, а тут черно. – его тонкая кисть скользнула Илье по бедру.

- Х-у-у... – выдохнул Илья и, пошатнувшись, спиной прижался к Чеше.

- Т-только…деньги покажи. – сказал Чеша и тут же испугался своих слов.

К его удивлению, Илья сразу, даже несколько торопливыми движениями достал из кармана фонарь, примостил его к голове, зажёг. Бледно фиолетовое сияние обожгло Чеше чесучовую рубаху. Он тут же, словно в испуге, её сбросил. Илья из пачки отсчитал семнадцать новеньких купюр и протянул Чеше.

- Давай теперь… - он жестом приказал Чеше сесть на колени.

Мягко опустившись в сухой с августовского зноя мох, Чеша расправил нехитрый узел на льняных штанах Ильи и, оттянув излишне фимозную крайнюю плоть, заголил головку.

- Постой. – коснулся его кисти Илья. – Подержи пока так. Чувствую, как остывает она. – на распев шипел он. – А во рту у тебя жарко, знаю-подозреваю, пусть потерпит малость, посмотри пока мне в глаза, у тебя очень красивые глаза, просто полевые, я с отцом много в поле работаю, а потом мы купаемся, он любит, когда я его пальцем, давай язык…

Чеша быстро опустил полукровный член себе в рот и, мягко перекатывая его на языке, нежно прижал к внутренней стороне щеки.

- Молодец, моло… молодец.

Свет от Ильиного фонаря сладко задрожал.

Чеша стал медленно мастурбировать ему член двумя пальцами, рука поползла под яички.

- По…погоди. – Илья коснулся его волос. – Погоди, всё будет. Подержи свет. – он протянул Чеше свой фонарь, изогнулся и стал медленно себе сосать.

Чеша, гладя его ягодицы, лизал мошонку, то и дело целуя его глубоко в рот, отбирая ртом его член, и снова возвращался к яичкам.

- А-ха. – Илья отпрянул от своего члена в таком экстазе, что казался безумным, раскрасневшиеся губы его словно бы вареньем размазались по лицу. – Давай. – он стал сбивчиво ощупывать завязку на штанах Чеши.

Тот помог ему и выпростал нереально большой и широкий член. Илья сполз на траву, обеими руками обхватил толстый, как бревно член, хотел

было произнести что-то хвалебное, да не удержался и взял в рот головку. Она с трудом протиснулась в его миниатюрный рот.

- Слышишь – ночь приходит. – не в себе от возбуждения простонал Илья и, скинув рубаху, опёрся о дерево.

Чеша развернул его к себе и стал жарко вылизывать анус, растирая ладонью и разминая пальцем, он дождался, когда тот раскроется и медленно, словно разделывая барана, ввёл член в Илью.

Илья закричал – пирамидальный силуэт мать-камня колыхнулся и, треща лесом, двинулся на мальчиков, тут же, не дав опомниться, сладко, раздавил их плоско мать-камень, тушею многотонною вдавив тела в мохи и твёрдыню – почуву таёжную полу железную.

Мать-камень ребёночком новорожденным вышел из леса и, дороги не разбирая яко леший колтуны вековые, распугивая в истерику пасущихся вяло полу коней сытых, двинулся чрез луг тушею на огни деревни низинной. И помни, Калистрат. – монотонно, по-старчески поскрипывая, вещал овальный, весь в тупиковых отростках путник вышагивавшему перед ним китайскому попугаю. Путник катился грудиной по выщербленной лесной дороге, старательно объезжая рассеянных лягушек, что оголтело ломились к спрятавшейся в овражке запруде на нерест, разносной короб мерно потринькивал засовами на выгребном хряще. – Вот тако оно. – глухо выдохнул он и проводил скрытыми глазами едва различимый в низинном тумане гигантский треугольник. – Словно разборосанный лишьмя углями едиными поалыми мерцающий костёр далёкий расокинулась в низине туманом подёрнутой деревня: плоская, одноэтажная, с пологой, полу подвальной мельницей серой. Чуй, пряталась она от глаз людских, аки тати ночные. И правдаю, бывало, проследует путник верхом по большаку, да и не разберёт глазом из-за кустов крыш покатых. Вот аккурат, како и мы с тобой, братко Калистратушка. Стих скрежет каменя великого, стали в века жернова-то расколовшиеся, токмо макушка его звездою путеводною таяла во черни луговой посырой да сизом тумане закатном, а лес израненный уж воином восставшим распоравливаться почал: яко живые, стебели тугие отреснутые, чтой потрущилиться не сподобилися под телом грузным, выгибанться подо силой своей вековой почали, мохи да с травами с валежником завибрировали гулко, сторяхивая с себя силу разорушения тиранного, кустарники редкие зайцами в почве вымазанными встали да в небо мелечное встремили взоры свое. Молчали покойниками да обетниками святыми токмо да бездействовали по смертии размазанные да разорованные тела мальчиков-содомитов Чеши

да Илии, в одоно целое, яко кораба с осьминогом в блюдо заморское редкое в руках кулинара смелого смешала их сила святая, перетерев со почвой, переложив травой живой да волажной, окутав яко саваном фараонов космических. И токмо рассей голубой фонаря робко пробивался травиночкой фософоровой соквозь мохи да со плотию искорёженой, являясь бы яко точкой отосчёта мистической великого путеисшествия. Преодолев пруд с ряскою мутною, увидал глазом вонутренним мать-камень вышаюшийся деревни над силуэт Свасти Асты пугающий. Изо чёрного дерева тысячалетнего, гигантская и предопреждающая вышилась она над деревней той– раскоряченная, ровно изоломанная, властная и женою доброю покорная одновременно. Испокон веков вход в деревню боронила она. В преддверии надпись булыжниками соложена сакральная: «Да будет благо всем».

- Да было б так… – вздохнул попугай и перешёл на другую сторону дороги, где луна чаще продиралась сквозь вековой ельник.

- Жители деревни – альбиносы. – заметил это и тоже перекатился на другую сторону дороги путник. – Все сплошь злые, алчные до зелени, анонимные, промышляющие проституцией, мужеложствуют и тихо не пьют, друг друга оманывают да в наём за дёшево жизени лишают – эдакая местечковая Кали-Юга. А как диск солнчный стрелами первыми алыми не в меру соскользил по верхушкам ельника острого да луга за ночь стюдёного смятение жители испытали невнятное. Как то сила какая дикая да необузданная повыбрасывала с посетелей да с жарких, повыталкивала из домов да сокрытых, повыдавливала из хоронилищ да тайных, повыламывала из-за заборов да погребов покатых, в окна повываливала калом тугим да погнала к мать-камню сотрогому, что аккурат посреди полощади судом остановился. Страшным казался им пришелец, мохами да грязию болотной облеплен, ветвями с мёртвых лесов да паутиною ядовитою со ягодами невиданными чащными обовит, со слона ростом, с макушкой, како словно из спины человеческой сотворённой. И тянуть их сделалось к камню силою, яко спали, тако и, дороги не видя, поплелись люди-альбиносы к полощади центральной.

Притягнувшись к камню, яко к сосцу матери молодой дитя, стали они показывать и рассказывать хвощами грехи свои, кривляясь да выворачиваясь где гадко. Да не каялись токмо, а быстрее дурели от реалии их ковшами к небу открытыми. Слово несли тяжело, выдавлено, как бы языки их ворочали им руки чужие, а то и не руки вовсе, а копыта свиные-козлячьи. Зло хлопали глазами и выкаркивали тонные обличительные речи люди:

- Это вы их сожрали, корьё зайцем съеденное, извеки[34] полунощники!!! – вревела дико, глазами закатываясь да выворачиваясь, уродливая, с застреленным воробьём схожая старуха, в ужасе отодирая от себя прилипших истлевших крепко трупов. – Вы, падаль! – боролась она. – Сожрали и высрали! Вона говно ваше на слова мои обличительные сотекается.

И взаправду, с каждого двора и явного, хоть и низкого, и так спрятанного, что и местные об существовании их низком не знали, ползли фекалии. Чёрно-бурыми червями сопoлзали, охристой жижей смрадной стекали, высохшими обломками инвалидов ковыкляли они, приводя в неистовство собравшихся у камня.

- Это ж вы, Агаповы! – не ймалась старуха. – Сеньку мого, почитай, одни слопали. Да ещё просили!

- Да заткнися ты, ведьма! – взбасил корчившийся по правую руку от ней низкорослый осьмискулый мужик, и токмо сызнова рот створкою отворил, как из общей каши нечистотовой оторвались череви пятилоктевые да катом настырным вползать почали в него чрез рот, о зубы плоския рассекаясь, чрез анус, чрез уши, чрез глазные мясца.

К правилу ейному припавшая, аки две обезьяны схожая с ним женщина осьмискулая было отпрянула да, створками волоча взвыла набатом горловым, приняв чревом разбитным червей фекальных, токмо по восемь плеч в их было да с головами-бурами рыбьими, впились те катами, да с треском влагалище хозяйское возорвали.

Одним часом на волнах смрадных раскачиваясь, почитай на волновании океанском, показался мертвец вздутый молоденца невыношенного, миниарный, со взрослой крысы вразмерами, выбросился он из массыональной, семию дельфинами атлантидовыми подбежал ко бьющейся у каменя молодице и, пуповиной размахивая, выплясывать страшно почал. На секунду вечную замерла молодица да и взорала тако, что, сказалось даже небо, криков её земных спужавшись. Из промежности ей хлынула гнида гнилая изжелта-зелёная, кровь с кусками органов таза малого аки с кроля сытого в землю августом пересушенную посыпались.

- Прости же меня, моя малютка. – взираясь дико, в паниках бесконтрольных побирала с земли сухой куски организма матерью и отцом даденого и, вже с пылию и каменями подорожными перекученого впихивала того варева обратно в полостью чревную. – Прости малютка. – твердила она заклинанием немым.

[34] извек – уродец.

А беснующийся в танцах послесмертных эмбрион с крысу в длину пел, зычно, пронзительно:

- В выгребную яму я родился, здесь мой дом, моя судьба. Еже ли б мать-камень не вступился, средь зловония прошла бы жизнь моя. Безымянный и до смерти похороненный гнил бы вечно я на заднем на двору, а теперь тебя, моя родная мамочка, я с собою скоро заберу…

А фекалии анальные, все подчиста повылазившие с ямов да выгребных да почв похристых к трупам тела свои армадою двинули да пооблепилии трупов, что коркой аршинной покрывали тело старушечье, и по времени в миг та в ком переродилась, и токмо голова седенькая, аки мать-камня мокушка святая, торчалась на верхности да вглашала в припадках:

- Людоеды! Ненавижу! Уроды! Содомиты!

- Покайся, Дарья Эдуардовна! – врыдая, вопила простоволосая женщина, что без остановки временной царапала себе лицо, уж и дуги черепные видны постали и зубы с челюсти нижней. – Покайся, старая сволочь! За твои грехи сейчас муку держим! Все ж знают, что ты весь свой век токмо тем и занималась, что односельчан убивала, из мяса их человеческого пироги стряпала, а трупы останковые закапывала у себя в огороде и в лесу. Это ж они сейчас на тебя налипли, да нашим дерьмом закрепились аки цементом. А-а-ар!!! – она содрала кусок мясной с лица, и долей лобной заграла.

- Покайся, Дарья!

- Прощения попроси.

Со восьми сторон пчелми потревоженными загудели сельчане, бунтом человеческим постращая, оболоки грозовыя подозывая. Как одним временем из толопы корякчащейся вытолкнулся дубль: отрок десяти вёсен разменявши и долговязый оводоподобный муж. Рваными сапами поскидали они с себя рубахи ночные в севере расписные, и видимо стало округ, что анусом кровостекает блаженный. Отрок силился принять плотиною кровь руками, но той выливалось непомерно больше.

- Оте-ец! – не слыша себя, взорал он. – Я умру!

Кровь хлынула таким напором трубным, что повалила его на земь. Отрок на глазах стал худеть в мясе да костьми синеть.

- Сынок. Святик… – в колени упавши, подостреленным пополз родитель ко сыну кровавому, но тут вкричал, сокорчился.

- Гляди…

- Да, глядите же, братья.

В глазах отокрытых зеркалами в сельчанах откровениями одуревших, у родителя ползущего почал отогнивать член срамной, словно тварь живая хвостатая, он, то дыбою мученицкою восставал головкою постыдною взбухая, то опадал листом кленовым извечным, невероятные мучения да гории причиняя лишенцу.

- Проси, проси прощения! – вскричали из толпы. – Проси, Димитрий, не время сейчас гордость свою демонстрировать.

– А-а-а! – ревел Дмитрий и, зубы голубые частоколом сотиснувши, соколом полярным вещал: - Я спал с тобой, Святослав, только… А-а-а… похоти из. Сыном кровным я тебя ни минуту секундную не любил. А-а-арр. Случайный ты у меня, от похоти зачавшийся. И мстил я за то тебе и матери твоей. А-а-а! Прости всевышний!!! – промолвил он и дикими глазами паучьими озираться почал, словно бы украл что.

- А-а, мамка. – едва губами обескровленными шелестя, изрёк отрок.

И подошёл к блаженным труп посмертный матери их и жены венчаной, и на шее ейнай верёвка висела плетёная и с явным вызовом крутила она верёвку ту в руке истлевшей.

- Здравствуй, Марьюшка. – мехом печным воздохнула толпа.

- Что ж не спится тебе, милая, не лежится? – замер, на мгновение вечное боли поправ, Димитрий.

- Ты насиловал моего сына с детства-младенчества. – страшно собаком осклабилась та. – Теперь мой черёд. – и ступнёй обтянутой костяной тронулась к мужу. – Я из косточек терем выстрою. Я из рёбрышек полы выстелю. Я из рук из ног твоих скамью выстрою. Что б в аду своём мне сиделось всласть…

- Постой, ма, ты не всё знаешь. – приоторвался земли на руках тонких Святослав и, пошатнувшись обессиленно, упал в песок лицом слезами взмокшим.

- Из головушки яндову солью. – шагая, не прерывала заклинать она. – Из суставчиков твоих налью стаканчиков. Из очей постылых – чары винные. Из твоей крови наварю глинтвейн.

- Мама. – последними силами травы тянулся к родительнице почившей вечно Святослав.

- Позову я в гости всех подруженек адовых. Посажу я всех их адовых по лавочкам. А сама сяду на скамеечке. Вы, подруженьки мои, голубушки! Загану же я вам загадочку. Вам хитру-мудру, неразгадливу: «Во милом-постылом живу, по милом-постылом хожу, на милом-постылом сижу, из милого-постылого пью, из милого пью, кровь постылую, кровь пьянящую пью…».

– …ама. – отрок воцепился в платие истелевшее материнское. – Не всё так однозначно, мама. Ты даже представить себе не можешь, как мне нравится папа. – слышно чуть стонал он. – Твой член, папа, он такой, такой, м-м-м…такой острый, моя попа просто горит. Я даже, грешным делом, вставал ночью, и, стесняясь признаться, вроде как по нужде, ходил по дому обнажённый, желая тебя завлечь, но ты спал, и я мастурбировал, массируя анус тестокаталкой…

Вдруг где-то за многие вёрсты в чаще лесной выстрел плетью пастушечьей протянулся.

- Ха! Эдуард, эт за тобой – рядно[35] пестрядинное. – веселяво выкаркнул долговолосый аки поляна дородная морошкой весь присыпанный язвами гнойными толстяк и птицею вырвал себе кадык.

- Матушка-то угрюма. Стала прясть да уснула. Пришла свинья, её столкнула. – подхватил другой, по грудь просевший в песок.

Эдуард, тем токмо и заметный, что всех сил призвав, пытался лицом зажмуриться и ушных раковин менеше сделать, зажамши, забился током, будто выжигало изнутри его, на месте члена его срамного гнойная воброзовалась, как чернозём дыра-гнойня прободная, язык почкою майскою набух и изо рта вывалился, аки мяса гнилого ошмёток, кисти рук отопали и в момент вечный плотию истлели, уже на земле пыльной лежучи. Что-то неделимое членами бубонил он да всё обглядывался. В моменте этом пригорком труп возник девушки младой, он движением отточенным и даже постылым ужище протёртое расправил, подцепил на сук петлю смертную и молча повесился, по ногам влагалищем трупным собачья кровь чёрная сочилась да смердила ямою скотомогильною.

Эдуард развалился по позвоночнику да с позвоночником и яму спинномозговую обнажил, да тако знатно, что все присутовавшие в голос один возопили:

- Пропади ты пропадом, говно, как те жизни, что ты погубил, как те судьбы, что твоей похотию не состоялись! Анафема тебе, преступник, и вечные мучения!

И в минуту ту красную, словно отклик свыше серый на их воззвание слёзное, с мельницы снежной бурей крещенской возмыла в небо и затмила горизонт страшный иссиня-коричневая мука, и стала она медленно оседать на площади пылью смрадной.

- Болваны. – узрев се чудо трезвящее, толпу покинув вышел мельник местный и, став презрительно избочинясь небрежно, сотряхнул на землю последний отогнивший палец собакою приблудною. – Бараны. – так же

[35] рядно – подстилка

ровно и презрительно глоголил он ртом гнилым и зелёным. – Нужно быть полными ослами, чтобы суслом подчуяся за вино благодорить, что б поверить в то, что мука бывает коричневого цвета. – демонстративно он рассмеялся, закинувшись и сотрясясь. – Так вот я вас сейчас удивлю. – у него отпало плечо. Без эмоций опостылившей полюбовницей проводил мельник взглядом мутным отопавшую руку беспалую. – Удивлю. Вы всё время, что я завёл мельницу, жрали хлеб из перетёртого говна. Я. Ненавижу. Вас. Ненавижу за тупость, ненавижу за рабскую веру, ненавижу за поверхностность, за то что вы – стадо, как и триллионы ваших древних предков держитесь на крючке у богом избранных извращенцев и маньяков, ненавижу вас за вашу простоту. Я молчал об этом, тихо в себе переживал, и мстил, мстил и мстил вам баранам тем, что кормил тем, чего вы заслуживаете – вашим же говном. Я философ, я имею превосходство над вами, я хочу вас кормить вашим дерьмом и смотреть, как вы его жрёте, и это мне удалось, значит, я состоялся, как философ. Я проник в хлеб – святая святых. Так жрите же, коль поверили.

- Скотина. – токмо и произнёс тихо полной тишины крик сенденький старичок.

- Чья бы корова… отец. – криво улыбнулся мельник, и у него тыном чахлым отпала грудина в коже пожижевшей с сосцами чёрными.

- Пошёл ты на хуй! – заколыхались, словно пчёл потревоженных улей народ.

- Да пошли вы сами. – плюнул слюною холодною мельник и зажимая выпавшие суставами бедренными ноги расползающиеся направился в поле. Но, едва шаги девственные выпростал, как расопался на части тухлые.

Спиральными циклами толопившиеся округ камня люди, перемежаясь сценками постыдными жизни личной каждого, бросались к другу друг и судорожно обнимались, пылию и гноями цветными овитые и меняясь яко словами, лишь изредка замирая в глубину поражённые очередным выставленным на показ и токмо в их опыте отогукнувшемся откровением. Откоровение святое – дубль аль пятеро, не больше.

- Сколько людей, столько смертей. – выкрикнул в вечность молодой ясный голос и тут же жаворонком полевым переворатился в рёв отвращения.

Стоял камень толопою мёртвою да не ведающей по сей о смертии своей дочасу оболепленый муравейником горным в пожарами объятом лесе. Да кольцами делилися мертвецы скачущие округ. Тех, чей смрад во

первое кольцо подпадал страшнейшие муки телесные претерпевали: члены мужей тех половозрелых, наполонивши полости свои мясные кровию последнею так, что казалось, могновение и лопнут натугою непомерною подопёртые, расцветая, пухли пунцовыми головками, розы африканской язвы и свечения фосфора болотного и могильного, выворачиваясь жирами подкожными, магнитами околодованы аки, тянулись они к жёнам чужим, выворачиваясь безобразно, выпрастываясь, ломясь тварью мясной, едва не вырываясь с мясами и жилами с места крепления своего мясного: то пмеж бёдер потных, в кашу разодавливая мошонку чутокую, то с боку, силясь разывернуть тело смертное по оси позвоночной и переломить, жёны же обезумевшие в похоти повыпадали влагалищами прожорливыми, и помятыми червями в узлах вен синих, тряся матками, словно антеннами дальними, тянулись ко другим мужчинам явственно…

Долгие часы ещё тем днём витали над деревней сокрытой крики и стоны альбиносовы, проклятия и причиты, одного не услышало небо в тот день красный – раскаяния. Как сумерничать почало явственно, мать-камень по прогону чрез отвод скотный выехал во поле да согором навсегда покинул лоханью прогнившую опустошённую, проклятую до двухсотого колена деревню, яко зад хитрый похотливый, единожды взмывший над влагалищем улыбнувшимся, скверным, красным, смелым…

Месяцы многие спустя, прибыл камень в деревню заброшенную Холмом Заветным званую да малыми силами ото земли подпитываемую, а токмо добрую не в себе и открытую непомерно, да необъятно. Вставши тихо у лавки центральной торговой, не столько, что б силу свою показать, сколько дыхание перевести, да от слизи лесной обосохнуть обостыть сплюснул мать-камень макушку свою кожаную.

- А что это за метеорит у вас за диковинный? – опрятной наружности франтоватый молодой человек в парике козьем похлопал камень по боку. – А, Владимир, кажется ещё вчера вечером не было её здесь.

Володя, отрок ещё совсем охристоглавый, поглядел на чудо отстранённо:

- Может, космосом прибило. – безучастно пожав плечами, он и сел на топорщащуюся из-под камня доску.

- Может, и космосом. – почесал усики смоляные франт.

Хотел было он рядом с отроком на досочку примоститься, да разглядев на ней фикалии животные присохшие передумал.

- А, что это вы, Владимир. – томно улыбнулся он. – Всё мятый какой-то сегодня, озадаченный, я бы даже так сказал. Проблемы в семье?

- Ну, ты мужик, рентген. – Володя отковырнул засохший экскримент и, повертев в руках, положил на язык. – Дома.

- То-то я и вижу, вчера смеялись всё, рот, простите, не закрывался, так и балагурили всё, и балагурили…

- Бабуля у меня помирает, Джозеф, любимая. И не то что б просто помирает, а от болезни срамной. Аж нахуй перед людьми соромно.

- Болезнь завсегда соромно. – поникнув произнёс Джозеф. – Тут сам не знаешь, от чего помрёшь. Слышал, греки войну зачинают…

- Мучается, всё мучается. – не слушал его Волдодя. – Всё снадабья себе пользует, к колдунам ходить, папка с ней всё разговаривает, утешает.

- А что, чем болеет-то, э-э-э… Простите великодушно, а как звать пресвятлейшую прородительницу вашу?

- Пелагея, это, Дмитриевна.

- Чем Пелагея Дмитриевна заболели? – Джозеф назойливо подсунул своё плоское лицо к Володе.

- Шишки у неё срамные прямо из жопы вылезли. Она срёт, а они лопаются да полы в хате кровью заливают. А ещё воняет от их жуть.

- Ши?.. – аж подпрыгнул Джозеф и заперебирал изящными пальцами.

- Ты чего, мужик? – удивлённо уставился на него Володя.

- А, а к-как они, ну это, в-выглядят? – всё больше накручивался Джозеф.

- Обычные шишки. – недовольно пробурчал Володя и достал из кармана фотоаппарат. – Вот. – нашёл он нужное фото.

- Кхакие-е-е. – зачарованно уставился в экран Джозеф. – Прям, шоколадные.

- Бабушкины. – Володя зло вырвал фотоаппарат из цепких рук Джозефа.

- Послушайте, Владимир. – заметно нервничая, начал говорить что-то долгое Джозеф. – Я бы хотел вам предложить… Э-э-э. Володя, вы бы хотели заработать два золотых?

- У нас в ходу иены.

- Хорошо. Четырнадцать тысяч иен и, и-и-и… мой галстук. – он потряс в воздухе пёстрым с тесёмочкой галтуком. – Вы же хотели, помните?

Вова, скрывая желание, уставился на галстук.

- Я, Владимир, сейчас отлучусь на минуту, так сказать, по нужде. А вы подумайте, сколько всего вкусного вы сможете купить на четырнадцать тысяч иен и сколько робких девичьих сердец вы сможете покорить в этом, я акцентирую внимание, фирменном галстуке. Подумайте. – и Джозеф скрылся за продуктовой лавкой.

Тут к Володе подбежала девчужка лет восьми:

- Вовк, а чего это за хрыч округ тебя вьётся?

- Хуй его знает. – пожал плечами Вова. – Прицепился, как банный лист, со вчерашнего вечера проходу не даёт. Говорит, что официально его профессия называется торговец редкостями.

- Редкостями?

- Редкостями.

- И какие редкости он хочет продать?

- Да вроде никакие, только вот денег предлагал.

- Сколько.

- Да, дохуя. Четырнадцать тысяч иен.

- Ё-ё-ёбаны… – выдохнула девочка. – А за что?

- Не знаю. Сказал подумать, сколько я всего смогу купить на них. А сам пока поссать пошёл. Так, ты давай-ка ползи от сюда, а то спугнёшь ещё. Давай, говорю!

- Смотри Вова. – прищурила один глаз девочка. – Выебет тебя этот торговец редкостями, как пить дать выебет.

- Катись говорю! – и он толкнул девочку в грудь.

- Выебет-выебет-выебет-выебет. – весело кричала на всю улицу девочка, и даже исчезнув из поля зрения, всё доносился её задорный крик: - Выебет-выебет-выебет…

- Ну, что, Владимир, представили сколько всего самого наивкуснейшего сможете вы купить на четырнадцать тысяч иен? По глазам вижу, что надумали.

- У тебя пятно.

- Да? – Джозеф несколько обескуражено посмотрел на маленькое жёлтое пятнышко на брюках. – Ветер, знаете ли. – виновато улыбнулся он. – Налетел, знаете ли, неведомо от куда. Ну, да ладно, вернёмся, так сказать, к нашим баранам. Разговаривая деловым языком с деловым человеком, я скажу следующее: я желаю приобрести у вас, Владимир, э-э-э… как вас, простите, по батюшке?..

- П-петрович. – заикнулся в волнении Володя.

- Владимир Петрович. Прекрасно. Видите ли, уважаемый Владимир Петрович, я работаю торговцем редкостями при дворе Девятинских,

достаю, так сказать, эксклюзив. Не желели бы вы, любезный сударь, продать мне, а значит пресвятлейшему Луке и сыну его Александру Девятинским посмертные, простите великодушно, но сие неизбежно, на сколько бы это ни было прескорбно, посмертные шишечки.

Володя моментально переменился в лице. Заметив это, Джозеф затароторил:

- Шишечку, одну только шишечку. Вы поймите, Владимир, что мир сложен, не на шутку сложен, и нам ли с вами этого не знать. Вы только поймите меня правильно, ведь не наживы для, не корысти ради мотаюсь я по закромам родины. Помочь хочу человечику одному чудному. Вы только выслушайте, горе у него, горемычного, и не столько горе, сколько беда. Влюбился человек. – Джозеф всплеснул руками. – Влюбился сукин сын, как последняя, простите, фря. А человек-то хороший, чудный, поваром у хозяина нашего Александра работает. Так вот желает повар этот расположения любовного у барина добиться путём, так сказать, желудка, состряпать какой деликатес редкий. Я ему говорю, Пахом, да выбрось ты это из го…

- Как вы сказали его зовут? – напрягся Володя.

- Пахом. – поднял полные возбуждённой влаги глаза Джозеф.

- Повором, говорите, служит?

- Да. – кивнул тот. – Ваш сверстник, кстати. А вы, кажется, знакомы?

- Кажись, знакомы. – зло заскрежитал зубами Володя. – Похома Брынзовичем не иначе кличут?

- Так и есть, Брынзовичем.

- Тако вот оно значит как. – Володя так напрягся, что переломил сучок, что держал в ладошке. – Вото оно значит… в пидарасы, значит, пошёл мой бывший приятель. Вото оно. – взгляд Володи застыл в минулом.

- Да вы что, Володя, осуждаете его? – искренне удивился Джозеф. – Это же глупо, да и-и-и… несовременно.

- Что несовременно? – монотонно, практически без эмоций говорил Володя. – Несовременно не сношаться с мужиками в анус, несовременно не сосать мужик мужику, не быть бабой несовременно?

- Я не в этом контексте, Владимир. – заюлил Джозеф.

- А я в этом. Мой близкий приятель Пахом Брынзович любит ебаться в жопу, долбиться в ступу, месить говно, ему нравится брать в рот член, облизывать яйца, глотать сперму. Какие контексты ещё могут быть? Джозеф, что ты несёшь. Да я тебя изобью. Но, но как я мог не разглядеть? – по-прежнему сам себе сокрушался Володя. – Как мог не

заметить я сего недуга? Да узнай я тогда, да я бы этого содомита на дереве бы вздёрнул. Да я бы!.. – у Володи перехватило дыхание. – А я то думал, идиот, как я раньше?.. А я то думал, чего это он так любит со мной голышом купаться и в воде бороться. Всё на пруд, помню, зазывал, да бороться в воде норовил. Как я не догадался?

- Володя.

- А!? Ты ещё здесь? – Володя как на привидение уставился на торговца.

- М-может…всё-таки. – он как мог улыбнулся.

- Значит так. – Володя выдернул из-под камня доску. – Заруби это себе на носу, халдей, я с пидорами никаких дел не имею и иметь не буду, даже через посредников.

Джозеф отшатнулся и зашагал прочь, но, сделав с десяток шагов, обернулся и зло сказал:

- Вы, Володя, сноб, абориген и колхозник, побей вас цинга.

А мать-камень, покинув деревню через две с половиной минуты после окончания разговора, снова двинулся лугами заливными да чащами непролазными за многие сотни километров, для того лишь, чтоб отыскать в сибирских чащах деревню чудную под названием Радиаторная.

- А мне бабка сказывала, что ей, ещё девкой, прабабка рассказывала по ентый камень, токмо она его не мать-камень звала, а кожана кочка, но то в разговоре, а вообще он и есть мать-камень. Последний, говорит, ещё при Паравве, блуждал, когда с жидовскими колониями разобрались, самих почистили, а оставшихся стерилизовали. Ну, помнишь?

- Не. – помотал головой Павел и погладил ладонью шершавую поверхность мать-камня. – Я с историей, не очень, а ещё с доисторической.

- Ну, там Хресты, Моисеи всякие были, Египтя-я-яне… Не вспомнил?

Павел снова отрицательно помотал головой.

- Ну да ладно, в общем, он уже тогда начал появляться. – увлечённо рассказывала Дарья. – По Земле гулял, покудова в болоте не утоп. Про то болото только посвящённые знали, у болота того округ и дома свои ставили, и так веками, поколениями выжидали нового пришествия. Верили, что он раньше их род оберегал, а как придёт, так и вообще благодать наступит, платиной их зальёт, или в другую спираль с собой унесёт, где жить легшее. Во как. А ещё она говорила, что у великого Божества, Властителя бесконечности, разума разума есть корона с шестью драгоценными камнями. А однажды, как раз тогда когда жидов

свергали, Властитель наклонился взор усладить, и из короны его на землю упали эти камни, рассыпались, значит, по земле, да и превратились в бабушек.

- Бабушек? – усмехнулся Павел.

- Ну, да. Шесть бабушек. Одна по человеческой линии из поколения в поколение переходила, других пять посвящённые передавали. По легенде их должны были собрать двое: «истинно положенный» и «случаем просветлевший». Потом первый с бабушкой своей кровной, которая одна из тех шести выпавших, станет телом камня, а «случаем просветлевший» макушкой его кожаной. Ентая каменюка – это, вот те крест. – она пальцем вывела кресты на щеках.

- А. – небрежно отмахнулся Павел. – Ерунда это всё для невежд – камни летать не могут… и платину вырабатывать не могут, ну нет у них желёз таких.

- Какие желёзы!? Ты медитируй чаще! – раскраснелась от негодования Дарья. – Так совсем практиком сделаешься. Обычные – не летают, а этот…

- Необычный.

- Да, не обычный. Он святой.

- Это тебе бабка сказала, которой прабабка?

- Ну, да. А что прабабка у меня, между прочим научной лабораторией заведовала, и столько знала, что тебе и не снилось. Даже если и не летает, то-о-о-о… деревня та полетит, что поколениями его ждала и верила.

- Но это ж уже политика, причём гнилая.

- Сам ты гнилой – это вера, вера не одного, не сотни, и даже не сотни тысяч, а…

- Неплохая деревенька.

- Ну, как с тобой можно разговаривать?

- Языком, только про мозг и всё что у тебя там лежит, не забывай. Вера твоя хороша в постели, когда ты веришь, что во снах проживаешь параллельную жизнь.

- А почему бы и нет, может, я как раз сейчас и сплю, там, в параллельной жизни.

- А я тогда где сейчас? – Павел загадочно погладил себя по голове и сказал: - А ты мне снишься.

- А что. – наморщила лоб Дарья. – Вселенная огромна – всем места хватит, но я берусь тебя заверить, что даже если я тебе и снюсь – я существую, как факт. – и она громко выпустила газы.

- Ф-у-у. - зажал нос Павел.

- Вот тебе и подтверждение. – разогнала рубахой газы Дарья.

- И никакое и не подтверждение. Всего лишь память о моих собственных испражнениях. А ты мыльный пузырь.

- Сам ты пузырь. И вера твоя дикая.

- Моя!? – побагровел Павел. – И это после твоих летающих камней?

- Да я же не говорю, что это прямо так и было. Но, камень-то вот он. – она потрогала нагретый на солнце камень.

- Ну и что, мало ли камней ползает, может, полюса меняются, или магнитные подземные реки, да мало ли что?

- А макушка? Посмотри.

Они задрали головы.

- Там, вроде он бордовый какой-то и кровь что ли запёкшаяся.

- Похоже. Из-за веток не разобрать. А ну-ка подсади.

Павел присел на корточки, лицом к камню. Дарья, подобрав длинную рубаху до колен, встала ему на плечи, прижалась к камню.

- Поднимай. – скомандовала она. – Только медленно.

Скрипя суставами, Павел распрямил ноги.

- Ну, трогай быстрее. – просипел он, едва удерживая равновесие. – Тяжело.

И тут он случаем посмотрел вверх – в охристой тени рубахи, меж тонких ног, багровела складочка влагалища. Едва мысль эта достигла пункта назначения в мозгу его, как слезла кожа с лица его и сухой тряпкой повисла на вороте.

- Он тёплый! – восторженно кричала с высоты Дарья. – Он реально дышит и кожан… - тут её речь оборвалась и превратилась в крик.

Павел, коченея от созерцания самого себя в стене камня, стал есть Дарье ногу, он ел, и то, что осталось от лица его покрывалось хрящами. Он уже сожрал обе ноги и вгрызся в живот – моча и несформировавшийся кал Дарьи полилися ручиями дологими у него по грудям белым…

Долгие месяцы позже, когда с обозами трухлявыми на деревнию путники натыкнулись веретеном в кость, глазам их голодным с пустоты лесной претаинственная картина откровилась: хозяйства брошены да паутиною с плеснями подёрнулось, гипсом застывшие как в ожидании хозяев дворы прикинулись, и под хлевом и в стогу и в сенцах крючьями закрученные в разные формы серые хрящи возлежали, а на полощади кустарником медным в кольцо овитом у колодца теремом с земли торчал, монументом словно, остроконечный, белоснеженный хрящ.

Вече сорганизовав родственное, молча путники приняли вывод да предали хрящи да телеги свои ветхие со скарбами протухшими земле новой им, да жить постали в домах пустобрюхих. Так то вот, Калистрат, побей меня град.

- А мы побываем в Радиаторном? – повёл головой попугай.

- Я думаю…

- Думаешь? – попугай пнул кусочек гравия. – Человечество перестало думать со дня закрытия Афинской академии.

- И всё таки, причудливое ты экибано, я думаю. – путник объехал раскинувшуюся на пути лужу. - Лет через сто, может, и побываем.

Ты вздымись-ко, да туча грозная.
Выпадай-ко, да сер-горюч камень.
Раздроби-ко да мать сыру землю.
Расколи-ко да гробову доску!
От солдатства-то откупаются.
Из неволи-то выручаются.
А из матушки-то сырой земли
Нет ни выходу-то, ни выезду.
Никакого проголосьица…

у[36]. Девятинского «Бариновка» (572 км. от болота-родителя)

Глава 2
Мясной пирог

- У-ух, окоянный. – Франц – низенький постоянно сутулящийся старичок незлобно погрозил едва ни зацепившему его внедорожнику. – Чуть не сшиб, диавол.

Повернувшись всем телом к размазанной редкими, но, как правило, тяжеловесными автомобилями автостраде и убедившись, что на горизонте никого нет, он рысцой преодолел полотно. Франц был смугл, худ и исполнителен, вечно сощуренные слезящиеся глаза его мутно глядели перед собой. Короткими словно бы скользящими шагами он продвигался вдоль дороги по мятой сугробами обочине и представлял, как придёт в усадьбу, как протиснется в лаз, как поужинает с женой и дворовыми детьми, как будет перед сном вылизывать хозяйскую обувь. И это было из реестра приятных мыслей, но…

Жил он на содержании у известного старовера Луки Девятинского и сына его – барина Александра, двенадцать лет проходил в лакеях, а в прошлую осень за забывчивость был разжалован в дворню. «Благодари бога, что на прятанье[37] не отправил, а то б конину жрал, пестрядью[38] в зиму накрывался, да спину гнул не на барское белое тело, а на ячмень да лён неблагодарный», говорила тогда жена.

- И то верно. – горемычно вздохнул Франц, вспомнив, как однажды, в годы своей юности ему довелось вести от барина донесение на гари.

То, что он тогда увидел, запомнилось ему навсегда: километры выжженной тайги, чёрные головни вывороченных вековых корневищ около которых ходят, буквально волоча руки по земле, такие же чёрные, в саже, неимоверно рослые мужики. Из белого – только глаза да зубы. Сажа, мошка, пот, чернота…

- У-бр-р… – Франца передёрнуло.

Вообще весь обслуживающий персонал усадьбы Девятинских звался Франц: жена его – Франц, старшая дочка – Франц, каждый ребёнок малой дворни носил имя Франц. Моду на это, как и многие тысячелетия назад колорадского жука завёз один американский визажист, приехавший морем,

---

[36] усадьба
[37] прятанье – древнейший дохристианский способ подсечного земледелия, корчевание сожжённой тайги.
[38] пестрядь – грубый холст.

чтобы поучаствовать в съёмках любительского фильма прадеда Игната Строкова, что жил за озером. С тех самых пор и повелось называть прислугу одним именем: у Строковых уж четвёртое поколение Николаев, у Ильинчевых – Радмиров, у Шифманов –Михайл, у Салтыковых и их родни по материной линии – Стасов. Бывало, выйдет барин на порог, статный, седогривый, в фиолетовом шёлковом архалуке с вышитыми гладью застёжками да в талии осьей перетянутый поясом Зауданским, да как гаркнет: «Франц», и вся мелочь дворовая с каждого закутка к нему сломя голову несётся. А барин и сияет весь и медалем светится, кого за ухом потеребит, кого сапогом пхнёт, а кого и плетью ошпарит.

Так брёл Франц, кутаясь в ворот от хлопьев снега, что словно голодные комары стремились просочиться в каждый миллиметр его ветхого кожуха, и думал. Уж и огни усадьбы показались за частоколом хвойника, и до боли знакомым сладко ватным запахом потянуло с восточной стороны Бродово, где столько пота пришлось в своё время пролить Францу. Барин тогда проиграл его в карты на год купцу и держателю завода из Бродово – Карлу Афанасьевичу Афанасьеву, немцу по происхождению, но русского духом, так как в триста колен его немецкая родня в «жеребячьем сословии» [39]по российским землям просуществовала. Ох, и погнул он тогда спину за станками! Ох и жмыху поел помёрзшего! ох и порубал тогда пальцы ножами спиральными на станках заморских! Вспомнив про то, Франц почувствовал резкую боль в спине и привычно застонал. Уж годы минули, а тело помнит. Карл Афанасьевич и его младший брат Иосиф содержали комбинат по изготовлению взрывчатки и сопутствующих товаров из анам-гзепластика, и частенько привлекали раб силу откуда только могли: и за долги забирали и в карты выигрывали, а бывало, Франц, когда работал, сам с таким встречался, и уворовывали с города. Тяжёлая у них была работа, каторжная – обычного рабочего при таких условиях хватало максимум на пять-семь лет, а там – в расход.

Снег набился в порванные в нескольких местах валенки, и теперь в них хлюпала вода. До поворота на комбинат оставалось около километра, но едва Франц чаще засеменил, прикидывая, где удобнее спуститься, как запнулся и, едва не скатившись в овраг, с размаху уткнулся лицом в сугроб. Выбравшись из снега, он снова на что-то напоролся, но удержал равновесие, осторожно толкнул предмет ногой, тот захрустел, но не сдвинулся, тогда он переступил через него, присел и, дождавшись машины, рассмотрел в свете фар. Голубой ксенон на секунду превратил бесформенную тёмную массу в клеёнчатую с молнией сумку, туго набитую до состояния сдутого

[39] «жеребячье сословие» - аллегорическое название данное русским народом церковнослужителям.

футбольного мяча. Машина исчезла за поворотом и Франц, озадаченный, остался теперь уже в обжигающей темноте. С трудом перевернув сумку и взяв её за ручки, он пощупал негнущимися от мороза пальцами бока.

- Мякка. – выпустил изо рта пар.

На ощупь отыскав собачку замка, он открыл сумку – пахнуло топлёным молоком с крахмалом. Тогда он достал из нагрудного кармана фосфорное кольцо, которое, рискуя жизнью и в большой тайне, выкрал у Афанасьевых, согрел его дыханием и повернул к сумке. Бледный мерцающий свет тут же дал ясное изображение плотно утрамбованных с запёкшейся кровью тряпок. Вытащив их, Франц увидел другой пакет, уже целлофановый – тот был крепко перевязан бинтом. Пространство под ним тоже было набито тряпками. Фосфорное кольцо стало замерзать, и свет, тускнея в багрово коричневый, вот-вот собирался пропасть. Тогда он взял пакет под мышку, выпотрошил сумку и, не найдя ничего для себя ценного, ускорился к огням комбината.

Как он и предполагал, Чёрный спуск был завален снегом, и ему пришлось продираться сквозь ельник, чтобы, сделав кедровником крюк вокруг колодезной линейки, прячась от Строковских Николаев, облюбовавших это место для хулиганств, выбраться, наконец, к своей усадьбе. Ноша оказалась нелёгкой, то и дело меняя руки, Франц прижимал выскальзывающий пакет то к бокам, то к груди и уже даже начал жалеть, что наткнулся на него. Но, мысли о том, что это может оказаться что-нибудь ценное или очень нужное хозяину грела душу и, может быть, если уж совсем обрадуется хозяин, то вернёт его обратно, пускай даже младшим лакеем, и перестанут, наконец, называть его этим ненавистным Францем, и, что уж точно, тогда уж никогда не придётся терпеть унижения и насилия от Францев, почему-то считавших за выть[40] спать с ним, как с женщиной. Как сегодня помнил тот постыдный день Франц. Поздняя осень, колкая рябь редкого дождя на обнажённой спине, размазанный в слякоти двор. Потехи ли, в накозание ли придумал барин тогда особо посрамить незадачливого слугу перед дворней – «приплавухой» представил он Франца дворовым, а сам наблюдать стал, что делать станут. Сказал так тогда собравшимся на зов Францам всё сплошь молодым да крепким: невесту пригнал я вам, бичи мои хрящёвые, невесту знатную, заморскую, да по обычаю по старинному, долгие месяцы шла она телегою да лесами, осеками дальними к вашим-то да мудям. И сказавши так, указал на телеги перевёрнутые восемь штук, как лодки, что по обычаю, если невесту по реке переправляли, да в праздничных, ярморочных сёлах прятали под перевёрнутой лодкой да торговали, как чесноком. Ищите невесту вашу,

[40] выть (сущ.) – уклад, распорядок, строгий порядок в чём-либо.

только и помнил, что последние слова барина посрамлённый Франц, как его уже вынули из-под телеги крайней, да в секунду притулив к откосу, изнасиловали страшно, в кровь… Много лет уже терпел это насилие над собой Франц, и даже свыкся уже с этим, но до недавнего времени не мог для себя уяснить – зачем они это делают. И это неведение гнобило его и удручало. И вот, аккурат в Пасху, приняв очередного своего мучителя, Франц прикинулся влюблённым, изобразил интерес и участие, и таким образом выведал, что это происходит по приказу хозяина, что тот сильно злился тогда на Франца и приказал каждую ночь, как минимум один раз насиловать его, а сам иногда приходил и в щель подсматривал. Но, по признанию самого Франца, хозяин уже давно забыл об этом, и теперь они это делают скорее по привычке да и чтобы унижать, и уж совсем разоткровенничавшись, сказал, что, унижая, он на несколько минут забывает, что он дворня.

Но вот показались и ворота и до Франца долетели знакомые голоса, ближайший друг его – лайка Игорь, почуяв его приближение, забился на цепи. Обогнув баню и сушилку, Франц прошёл вдоль развалившейся за зиму поскотины и через задний вход вошёл в усадьбу.

- Прости, прости друг любезный. – он потрепал виснущего у него на шее сторожевого пса за загривок. – Ах, ты мой Игорёк, ах, ты мой хороший, ах, хороший. Ну, пусти, пусти. – вдруг Игорь, отвлекшись от него, впился зубами в пакет и, ощетинившись зарычал. – А н-ну, фу! Фу! Я сказал. Игорь! П-пус-сти! Ну!?

Франц рванул пакет на себя и кубарем откатился к лежавшим на боку дровням – из разорванного пакета на него смотрела голова. Красивая, умиротворённая, с пропитанными кровью волосами она не выражала никакой эмоции, оба глаза были плотно зажмурены. Уткнув голову лицом к себе, Франц побежал к дворовой. Игорь, визжа и кувыркаясь, как полоумный рвал оставшуюся часть целлофана.

Протиснувшись в узкий высокий лаз, Франц оказался в коровнике, незаметно пройдя задним коридором, он по бетонной лестнице опустился на два яруса, лёг на спину и, по-пластунски, задевая носом обледенелую поверхность цементной плиты, пополз к свету. Спустя две минуты он уже вползал в свою с женой комнату. Та, едва завидев его, вскочила с пола и помогла спуститься.

- Где ты пропадал? – заправляла волосы под пестрядинный[41] платок жена. – Францы уже раз двести приходили. И вода почти остыла. Боже, что это? – она развернула пакет.

[41] пестрядь – грубая бумажная ткань из разноцветных ниток

- Голова, не видишь.
- Вижу, что голова, а где ты её взял?
- На дороге нашёл. – Франц тряс отёкшие от тяжёлой ноши руки. – Шёл от промышленников да на дороге и нашёл. Ты только никому.

Жена положила голову на край ванны и с любопытством её рассматривала. Отогревшись, Франц скинул картуз, промокшие на сквозь валенки и повесил их на крючки вдоль трубы отопления, постучал пальцем по манометру.

- А кто сегодня топит? – он расстегнул ремень.
- Франц. – Франц открыла голове веки и развернула к свету. – Такой рыженький, ну, которого ещё Игорь маленького покусал. А сделай поярче, что-то тускло, да и коптит.
- Рыженький? – Франц подкрутил барашку и поправил фитиль. – Он с утра топил или сейчас заступил?
- Вроде, сейчас.
- Ладно, дай мне рубаху и полотенце.

Комната, в которой они жили, завидно отличалась от жилища малой дворни – она была обособлена. Когда прародители хозяина затеяли строить усадьбу, то при раскопке под фундамент и ниже для погреба на глубине метров десяти наткнулись на засыпанный и уже насквозь проросший подземными деревьями панельный дом. Тогда и решено было очистить восемь верхних этажей, да заселить туда дворню – в то время душ у них насчитывалось под тысячу. Но, раскопав два верхних этажа, стало понятно, что эта тяжёлая и очень медленная работа, и тогдашние хозяева решили ограничиться уже сделанным. Судя по планировке квартир, дом этот был элитный, с огромными вытянутыми залами, просторными ваннами и пролётами, с оборудованными на крыше кортами, крытыми бассейнами и площадкой для вертолёта, некоторые квартиры занимали сразу два этажа.

В бытность свою лакеем, Франц с семьёй занимал ванную комнату на нижнем этаже – просторную и с дверью. Но, понизившись, пришлось перебраться этажом выше и правее, и тоже в ванную комнату, только гораздо более скромную и даже со следами разрушения. Принадлежала ванная той квартире, которую раскапывать не стали, потому для прохода Францу пришлось приспособить пробоину в смежной с соседней комнатой стене, а ещё вентиляционный лаз, которым он пользовался, когда не хотел показываться на глаза дворне. Шесть квадратных метра, два из которых занимала ванна, вмещали всю семью Франца: жена Франц, старшая дочь Франц, сын семнадцати лет Франц. Но Бог милостив и тем помог им, что при рождении дал сухие и низкие тела.

Переступив борт ванны, Франц жестом показал жене, что делать и окунул в ведро плетёную из коры мочалку. Помывшись, он отёрся и надел сухую, синюю в свете лампы рубаху.

- А где Франц? – спросил он, вставляя ступни в обрезанные по наружную лодыжку кирзовые сапоги.

- Она? – ответила привыкшая к подобному видению разговора жена.

Франц кивнул.

- У дворни в казарме. – устало произнесла она. – Мне кажется, что у них с этим Францем что-то уже сложилось. Ты б поговорил с ним…неплохой па…

- Из дворни!? И слушать не желаю! – низко шепча, прокричал Франц и тут же прислушался к доносившимся из-за стены голосам. – Франц ей не пара! Заруби себе это на носу.

Франц резко отвернулась к стене и поникла.

- Ты слышала меня!? – не унимался он.

Жена покорно испуганно кивнула, но вдруг резко обернулась и совершенно неожиданно для Франца зло выкрикнула:

- А ты сам-то кто? Франц! Ты такой же, как и он.

Франц опешил, но возразил:

- В его возрасте я был учеником лакея.

- В его возрасте. – неприятно гримасничала жена. – А в твоём возрасте он уже барином будет, вот попомни моё слово. В его возрасте…

- А вот и посмотрим, кто барином будет. – Франц подскочил и нервно заходил по комнате. – Посмотрим!

- И чего это мы посмотрим?

- А вот и посмотрим. – он сел перед лазом и просунул ногу.

- А куда это ты? Ха, барин.

Франц тут же налился краской и хотел уже было вынырнуть за стену, как жена его схватила за ворот:

- А ну-ка постой. Говори, куда собрался?

Франц рванул на себя рубаху, но жена мёртвой хваткой вцепилась в него.

- Говори, а то не пущу.

- Франц, ты чего, застрял? – послышался бодрый молодецкий голос из-за стены. – Помочь?

- Чего ты меня позоришь? – взмолился Франц. – Пусти по-хорошему.

- Говори, а то не пущу.

- Ну, так что, помогать? – раздался тотже голос.

- К Францам я иду. – зло в пол голоса, чтобы Францы не услышали, ответил Франц жене. – К Францам – уже ночь скоро. Лучше я сам схожу…

- А зачем сам, неужто, понравилось? – жена ещё крепче схватила рубашку.

- Да пусти ты, порвёшь! – крикнул Франц и уже тихо добавил: - Дело у меня вечером. Важное. Потом объясню. А счас пусти, я только туда и обратно.

- Ну, что, Франц, мы тянем. – ребята за стеной вцепились ему в ногу и потащили в дыру.

- А что за дело?! - жена просунула голову в отверстие, но Франц уже не слушал её и окружённый вечно возбуждённо разбитными Францами шёл по широкому проходу, образованному спинками коек.

Преодолев почти всю комнату, они остановились у спящего, накрытого с головой парня. Тощие сбитые ступни его плетьми свисали с кровати.

- Франц! – маленький в разноцветных прыщах и с хрящевым нимбом Франц потряс спящего за плечо.

Недовольное «У-у» послышалось из-под одеяла.

- Вставай, к тебе Франц пришёл. – повторил парень.

В это время двое сросшихся стащили с него одеяло и дружно рассмеялись.

- Ну, чего вы пристали? – лежавший под одеялом Франц щурился от света лампадки, что горела над выходом, и прятал фикаторами обнажённый желудок. – Я ещё посплю и сам приду. – он открыл один глаз и тупо посмотрел на Франца. – Давай, я позже приду, хоть часик ещё посплю.

- Как раньше!? – возмутился Франц. – Жена сказала, ты двести раз уже сегодня приходил.

- Он не ходил. – вступился за него лысый с массивными сросшимися плечами, но необычайно добродушный Франц. – На очереди сегодня Франц, но у него…

Толпа из трёхсот Францев рассмеялась, не дав тому договорить.

- У него. – дождавшись, когда толпа смолкнет, продолжил Франц. – У него понос, щавеля засоленного в обед обожрался и-и-и, в общем, дежурит он уж часа как два у выгребной ям-м-м-м-ы-ы-ыы. – не сдержавшись, рассмеялся и он.

Францы подняли всё никак не хотевшего просыпаться Франца и усадили на край кровати.

- А Франц следующий по очереди. – продолжали объяснять Францу здоровяк. – А он, дурак, мухомор сухой у травницы на кутель выменял и съел.

- Я же не знал, что с Францем такой конфуз приключится. Дайте я хоть умоюсь схожу. – он неуклюже хмуро сидел на краю, накрывшись бровями. – Меня мутит.

- Значит так. – Франц сделал паузу, выжидая тишины. – Я сегодня очень спешу. – он оглядел толпу и остановился на лице заспанного Франца. – Ну, нету у меня сегодня времени с вами гуляться. Поэтому давай по-быстрому.

- Я умою…

- Не надо, я стерплю, всё! Прямо сейчас! – Франц резко скинул рубаху, стянул сапоги и нырнул под одеяло. – Так, быстро сюда. – скомандовал он, увлекая Франца за сабли подчашечников к себе. – А вы не стойте – сегодня под одеялом. Всё! Расходитесь!

Недовольные Францы стали не спеша разбредаться по кроватям и углам.

- Ну, что ты такой вялый? Как жарко у тебя здесь. Ну, давай. – Франс глубоко поцеловал Франца в рот и, нащупав уже начавший твердеть член, пульпировал его из фиксаторов, заголил головку. Тесное пространство под одеялом наполнилось запахом тухлой мочевины и гнилых зубов. Франц отбросил одеяло. – Ху-у…Ах-х. – шумно втянул воздух. – Ну и воняешь же ты. Сколько недель не мылся?

- Я ж говорил, что не готов. – сонно мычал тот. – Давайте я хоть на двор схожу. Снегом утрусь.

- Не нужно. Спешу я.

Франц перевернулся на спину и, нацепив парня торцевой костью за анус, жужжа, поднял над собой, надавив на предстательную железу и натянув желатиновое кольцо на мошонку, он обнажил красное тело гребня, вспрыснул его и направил член Франца к своему входу. Тот в свою очередь приподнялся на тупых хрящах, завёл скобы за веретена суставов и слегка оторвал спину Франца от досок; создав прямой угол, он забросил сухие ноги Франца себе на плечи, погрузил головки в анусы: фиолетовую в колкий третень, надвигающуюся зелёную с частью желатинового кольца в онтень, внутреннюю острую выдвижную в плоскую юшную, а плоскую юшную – в жидкую подхрящевую треть. Рванув, он не спеша задвигался. Франц, решив ускорить процесс, роскошно застонал.

Постепенно одеяло сползло, обнажив взмокшие белые в кубах хрящевых сочленений тела. Комната стала наполняться мычанием и тех Францев, которые, усевшись невдалеке, мастурбировали, и, почувствовав приближающееся семяизвержение, подбегали к Францу и испускали жизнедающую жижу ему в рот, на бороду, лоб… Не взирая на отторжение и мерзость акта, Франц ждал этого, как ребёнок загулявшую мать – кормили в усадьбе скудно, из челяди не голодали одни только лакеи и повара; в особо тугие времена сперма – калорийная и сытная – заменяла Францу и обед, и ужин, и завтрак, что со временем рассмотрели и остальные Францы, поэтому в усадьбе уже давно никого не удивляло, когда в пятиминутных перерывах

или в обед Францы делали друг другу минет или просто мастурбировали и слизывали с ладоней или костных листов собственную сперму. Но то было по большей части зимой, а летом всё больше коренья, черви, испражнения кур и дворовой живности, тот же извечный колорадский жук. Объедать кору и портить постройки хозяин категорически запрещал и при случае сурово наказывал за то. И вот уже и полон рот спермой и борода и даже в ложбинке яремной собралось и уж несёт полновесный член к губам его уже не кажущийся заспанным Франц. Трясущейся рукой ввёл он крайнюю головку в рот и в три движения кончил – тёплая вязкая сперма устремилась к пищеводу.

- Вот и насосалися. – сам себе сказал Франц, и, заметив, что ещё кто-то несёт к нему член, жестом указал на только что кончившего Франца. – Всё, больше не хочу, наелси.

Тогда Франц, уже теряя по пути драгоценные капли, вскочил коленями на грудь не ожидавшего этого Францу и кончил тому на губы. Тот жадно направил семя пальцами в рот. А Франц тем временем уже возвращался к дыре, бережно придерживая сперму в бороде и с ужасом чувствуя, как она, стекая по медленно закрывающимся костным плитам и листам, капает на пол.

Через несколько минут Франц уже лежал на досках на ванне и с нетерпением ждал, когда жена и дочь закончат его облизывать. Голова, которую Франц за чем-то насадила на торчавший из стены кусок арматуры, как и тогда из пакета смотрела на него, только теперь глаза были открыты и подпёрты щепками.

- Ой, объелася. – сухая, пирамидальная дочь первой откинулась и, тяжело закрывая хрящевые пластины, вскарабкалась на полати.

- Да-а. Почитай, Францев сто пятьдесят излило, не меньше. – довольно заключила Франц и облизала прозрачные пальцы.

- Только меня покормили семдесят. – Франц соскочил с доски подошёл к голове.

Голова была почти бескровна – прут, на котором она висела, был чист. Жена заметила это и к ней вернулась недавняя её колкость.

- А чтой-то ты так задёргался тогда, чай, задумал что, таился чего от Францев? – собрала она всё в один вопрос.

Франц, сняв голову и с вожделением рассматривая её, спокойно отвечал:

- Язвости твои не страшны мне сейчас. В разные годы жила ты со мной, и в достатке мы жирели, и сперму от голода мороженную со стен в городских туалетах слизывали – всяко было. Так что прощаю тебе твою гневность и упрёк. А что до «задумал», так то ты угадала. Есть у меня мыслишка. –

Франц откинул со стены складной стол, отпахнул тарелку. – Неси-ка сюда лампу. – скомандовал он.

Польщённая его словами жена покорно принесла лампу.

- Вишь, каку находку послал мне Господь?

- Голова. – холодно сказала жена.

- Да, голова! – вспыхнул Франц. – Ты хочешь сказать, что вот так каждый день Господь посылает тебе или твоим подругам головы?

- Лучше б он тебе корзину с едой послал.

- Дура. Тебе лишь бы требух свой набить! Только жра…

Тут послышалось гудение, и в дыре показалась тонкая с иглу голова Франца, сына Франца. Франц запнулся, и они с женой, оскалившись, уставились на сына. Тот, не здороваясь, вошёл в комнату, независимый, плоский в профиль, с фронтальными пластинами и выдвижными руками, в верхней трети туловища.

Глядя мимо родителей, он втянул густой воздух.

- Я слышал. – прогнусавил он. – Францы сегодня неплохо развлеклись?

- Иди. – зло отворачиваясь от него, пискнула мать. – На дне ванны тебе осталось.

Франц недовольно хмыкнул и, как бы нехотя покосился в ванну. Жеманно присев на край и мурлыкая незатейливую мелодию, он нагнулся и с жадностью стал головой, словно клинком сабли соскабливать со дна ванны сперму и насосом втягивать в открытый пищевод.

- Ты сейчас пожрёшь и свалишь от сюда. – грозно сказал Франц.

Франц прихватил последнее круглыми языками пальцев и с достоинством выполз в дыру, откуда появился.

- Какой он…отвратительный. – прожевал последнее слово Франц. Мать виновато потупилось. – Это всё твой блуд, проститутка. Никогда тебе этого не прощу.

Франц отвернулась, коробясь, словно её слепили.

- Отворачиваешься, сты-ыдно. – сверлил её глазами Франц. – Вот и носи в себе этот грех, помни.

- Но, Франц… - бросилась она к нему, роняя твёрдые слёзы.

Но тот остановил её рукой.

- Всё, обойдёшься. Смотри лучше, какая голова. Давай-ка, тащи сюда всю утварь – я разделывать её буду. Мясной пирог из ней приготовим, да я барину к именинам преподнесу, пущай разговляется да радуется. Глядишь, задобрится да своею милостию меня обратно в лакеи и определит.

- А когда именины-то его? Запамятовала.

- Аккурат в межговение, на Кузьму Угодника и разродятся. Проснётся батюшка утром, а ему и весточки: кто с письмом дрогим, кто с копеечкой, а я пирог ему преподнесу. – мечтательно расплылся в улыбке Франц. – Чай, обрадуесси да и пожалеет. А? Мать. Как думаешь, пожалеет?

- Ну, не знаю. – озадачилась она. – А как же ты ему преподнесёшь, коли не пускают тебя в палаты-то?

- А связи на что? – рассуждал в пол голоса Франц. – Феофан и поднесёт, а Сётр с Майклом в печи с корочкой запекут, а травница корички какой намолет, да и приправлю я торт. Чай, и не потчевался барин блюдом таким? А? Как думаешь?

Жена пожала плечами и стала собирать утварь на стол. Франц тем временем прикидывал, как бы по лучше, да по краснее голову препарировать. Та была хоть и не от толстяка, но довольно крупная, с широким лбом, волевым подбородком, скулами азиатскими, из плотного обескровленного мяса отчленённой почти по яремную ямку шеи торчал отпиленный по диску позвонок.

- Это всё, что есть. – Франц выложила на стол два ржавых самодельных ножа, выточенный из сверла колышек, пилу и клещи.

- Пойдёт. – возбуждённо потёр руки Франц. – А теперь отойди, не стой над душой.

Подумав, он взял меньший нож и, плавно вращая голову, сделал глубокий, касаясь черепной коробки, надрез от затылка к правому уху, по линии бровей, к левому уху и встретился с началом разреза. Затем аккуратно, просовывая тонкое гнущееся лезвие между лоскутом и черепом отсоединил один от другого, и положил получившийся неровный круг рядом с головой.

- Воду. Франц, набери мне в кастрюлю воды. – крикнул он жене.

Тщательно промыв лоскут, он вытер его тряпкой, просушил короткие курчавые волосы и расчесал.

- Та-ак… – прикусил он губу. – Что дальше. Дальше снимем лицо.

Около часа он отсепаровывал с лицевой части черепа кожу, и, в итоге, та, лежала рядом с лоскутом такая же чистая и блестящая. Голова осталась почти без кожи – только шея и уши. Перевернув голову и аккуратно, чтобы мясо с кожей, которые примыкали к нижней челюсти и частично к мышцам лица, вырезал он язык с трахеей. Ближе к полуночи, когда все Францы уже давно спали, Франц закончил пилить череп. Взмокший и измотанный, он поддел черепную коробку колышком, качнул и с треском отодрал её вместе с твёрдой мозговой оболочкой. Извлекши мозг, он положил его на тарелку и накрыл тряпкой, полость коробки почистил от плёнок, вытащил обрубок

спинного мозга, выдолбил ушные пазухи и достал слуховые перепонки с молоточками, почистил и расширил ушные проходы.

Разложив всё по тарелкам, Франц уложил их стопкой в сумку, достал из тайника триста грамм текиллы и на цыпочках, стараясь не шуметь, стал протискиваться в лаз, располагавшийся под потолком в вентиляционной шахте. Под храп жены, бормотание дочери и гудение сына, Франц пополз к усадьбе.

- Тише, это я, тише. – зашипел он на Игоря, ставшего греметь цепью в будке. – Я это, дорогой.

Франц пересёк двор, на ощупь отыскал парники и вход в подсобные помещения. Там, как он и ожидал, во всю кипела работа: бурлили чаны, рубилось мясо, туда сюда сновали заспанные поварята.

- Эй, родимый, а где Сётр? – обратился он к первому встречному пареньку.

- За пряностями ещё на Сергея первозванного уехали. К Кузьме воротиться должны.

- А-я-яй. – сконфузился Франц.

Поварёнок снова вскочил на подвижную тележку и поехал к печи.

- Стой! Постой, милый. Прости, что я тебя отвлекаю, но… а дядя Майкл, где сейчас?

- А они на полигон, за грибами веселящими контрабандой отправились, почитай ещё раньше Сётра Прокоповича.

- А-я-яй. – ещё пуще закачал головой Франц.

Парень оттолкнулся и помчался к печи.

- Да стой же ты, боломут. А кто ж за старшего? – Франц насколько мог нежно схватил его за рубаху.

- А я и есть. – парень самодовольно улыбнулся.

- Помочь мне надобно – я заплачу. – взмолился Франц. – Хошь, текиллки налью, а хошь, пососу, я это исправно справляюсь…

- Ха, пососу. – рассмеялся мальчик. – Мне твоё «пососу» до одного места почитай будет.

- Да ты не горячись – дело у меня к тебе серьёзное будет. Справишься – загадывай желание.

Парень задумался.

- Нужно мне-е-е… одного гада… наказать. – повар поднял голову, и в глазах его блеснул злобный огонёк.

- Помогу! – схватился Франц. – Пред Богом клянусь – помогу! Ты мне, а я тебе.

- Накаж-ж-жу с-суку. – скрежетал зубами повар, казалось, он не замечал Франца в своей злобе. – Ну, ты узнаешь у меня говн-но.

- А кого хоть? – Франц постарался придать своему голосу оттенок эйфории от предстоящей расправы.

- Да есть тут один, чмурило из Холма Заветного. Мы даже дружили когда-то.

- А што ж перестали?

- А он, сука, барыге одному в приватной беседе сказал, что я пидор, и что по этому он никаких дел со мной иметь не хочет. Так и сказал, пидор, говорит, и всё.

- Вот ублюдок!!! – всплеснул руками Франц. – Ну ничо, мы его выродка проучим.

- Значит по рукам?

- По рукам.

Они пожали руки.

- Ну, что ж приступим к жаровке? Как тебя, милый, зовут?.. – Франц стал развязывать сумку.

- Э не-е-е. – мальчик схватил его за руку. – Погодь. Пахомом меня кличут. А ты погодь, спочатку моё дело обделаем, а там и твоё сообразим – я своё слово держу, а вот Францам, да ещё и разжалованным доверять не привык.

- Ладно-ладно, как скажешь, так только поздно уже – почитай, спит твой обидчик.

- Ничо, разбудим. – Пахом схватил Франца за рукав и потащил через кухню за собой.

Они прошли длинный ряд печей, свернули в моечную, там Пахом отдал ряд приказаний челяди, пересекли склад и вошли в гараж изнутри. Щёлкнул выключатель – вспыхнул свет. Огромное, плоское и чрезвычайно низкое пространство было заставлено раритетными автомобилями – слабость барина.

- Когда-то давно, в свою бытность лакеем, я служил здесь. – мечтательно блуждал глазами Франц. – Мыл пол, полировал машины…

- Ничо, как всё выгорит, так и в лакеи вернёшься, я даже помочь тебе могу – есть один человечек, который шепнуть может, кому надо. А я с ним…

- Да я, да я… - стал валиться на колени в благодарности Франц. Как никогда остро он почувствовал в этот момент желание вернуть всё назад: свою ливрею, свою молодость, имя, эти машины, ба-а-арина… - Только помоги. Господь вседержитель, спаси меня Пахомушка, век тебе ноги целовать буду!

- Да полно, полно те, вставай. Пошли лучше скорей, а то у меня ещё на кухне дел невпроворот.

- Кухня. – как заклинание пропел Франц и побежал за Пахомом.

Они минули гараж и вошли в небольшое подсобное помещение до потолка заваленное картонными коробками.

- Давай сюда. – мальчик разгрёб угол и вошёл в спрятанную в стене дверь.

Покопавшись в темноте, он зажёг светильник и затворил дверь. В помещении было морозно, как на улице и крепко пахло мазутом. Почти всё пространство занимала вишнёвая «девятка», тысячу раз модернизированная она больше походила на срезанную пластину пластилина. Поставив лампу на крышу, Пахом отворил багажник – вспыхнула неоновая подсветка.

- На ходу? – автоматически спросил Франц.

Вместо ответа Пахом развернул промасленную тряпку, и их взорам предстали два автомата времён Второй Межполюсовой.

- Не смотри, что они старые. – Пахом взял автомат в руку и показал Францу. – Я их проверял – полный боекомплект, черкесскими пулями под горло... Возьми себе там маску. – он дулом указал на спортивную сумку в углу. – И камуфляж. Твой – в пакете.

Они переоделись, маски положили в карманы. Пахом отворил ворота. К удивлению Франца они оказались частью наружного барского частокола, огораживавшего усадьбу. Франц не веря своим глазам осматривал дыру.

- Да-да. – похлопал его по плечу Пахом. – Барский частокол. А это мой тайник. О нём ни одна живая душа не знает, конечно, кроме нас с тобой. Но ты, я надеюсь, понял, что я парень серьёзный, и злить меня не стоит. А я в свою очередь посмотрю сегодня, каков ты в деле. Глядишь, и сам через годок другой место барина займёшь. – Пахом рассмеялся. – А я за Луку сяду, править всем буду. Ну, да ладно, хорош трепаться, давай машину вытолкаем, а то заведёмся – всю усадьбу разбудим.

Они оттолкали машину ближе к лесу, завелись и выскочили на шоссе. До Холма Заветного было недалеко – километров двадцать - двадцать пять. Франц удобно развалился в кресле и закрыл глаза. Он слышал, как снег хлопается о лобовое стекло, как изредка Пахом включает очистители, чтобы сгрести налипший слой, как кидает машину, когда та выбивается из колеи, как пискнула сфера и тут же зашуршали колёса. Когда машина, преодолев Южный Колпак, попала на сухой асфальт, снежный треск сменился свистом раскалённого августовского ветра и битием нерадивых букашек о лобовое стекло. Пахом открыл форточку и салон наполнился птичьим многоголосием и кружащим голову хвойным ароматом. Франц уже почти уснул, когда Пахом резко затормозил и заглушил двигатель.

- Здесь пешком пойдём. – скомандовал он. – С заднего двора зайдём – так незаметнее. Запоминай дорогу. Как только дело сделаем, сразу сюда. Понял? Никаких хождений.

- Понял. – ответил, ещё не проснувшийся до конца Франц.

Они вышли из машины, Пахом неслышно захлопнул свою дверь, обежал и также неслышно закрыл дверь за Францем. Ночной лес был залит лунным светом, выглядывавший из тени еловых лап багажник машины блестел на глазах тающим снегом. Надев маски и вооружившись, они нырнули в лес. Кустами, вдоль забора – затаились у колодца.

- Видишь? Свет горит. – возбуждённо шептал сквозь маску Пахом. – Это клеть? У них там вход, и ставни не заперты – может, молятся, с-сук-ки.

- А собак есть?

- Какой собак! – по-мальчишески горячился Пахом. – Дерьмо в шерсти. Я её прикладом уложу. Ну, пошли. – скомандовал он, и, едва выставив ногу из-за колодца, дёрнулся назад, до гематомы сдавив Францу плечо. Тот заскулил и сел в траву. – Тш-ш-ш… Идёт ктойт.

Они высунулись из кустов. На тускло освещённую площадку выкатило пол старухи в инвалидном кресле. Она, отдуваясь и дёргаясь туловищем, толкала колёса и уже приближалась к калитке.

- Это наш шанс. – твёрдо прошептал Пахом, выхватил из-за пазухи дымовую шашку и запустил её в коляску.

Площадка молниеносно наполнилась фиолетовым дымом. Старуха, не успев опомниться, замахала руками. Пахом рысью бросился к ней, Франц во двор. Помня о собаке, он рванулся к выползшей на шум старой псине и с одного удара прикладом в лоб уложил её. Пахом тем временем тащил пол старухи к порогу, зажав ей рот рукой.

- Заткнись, заткнись, сука. – страшно шипел он ей в ухо. – Заткнись, а то убью!

Старуха перестала биться и только вращала выпученными как у рака глазами от одной маски к другой. Франц мощно ударил её кулаком в живот, та немо зашипела и согласно закивала головой.

- Понятливая. – сытно улыбнулся Пахом. – Стучи.

Франц тихонько постучал.

За дверью тут же послышалась возня. Далёкий мужской голос закричал:

- Мама! Вова, быстро отворяй, Анна Дмитриевна, Вова быстро, дверь!

Франц вытер вспотевшую от волнения ладонь об униформу. Пахом нервно молотил носком ботинка. Послышалось звяканье ключей и грохот чего-то увесисто-металлического. Через секунду дверь распахнулась, и в проёме застыл бледный с перекошенным лицом мальчуган. Пахом тут же с силой

бросил в него старуху и, молниеносно, не дав той упасть на пол, очередью размозжил ей голову. Пахом и следом Франц ворвались в комнату и без разбору стали поливать градом пуль присутствующих. Франц двинулся по периметру и с двух метров буквально разорвал патронами грудь, привставшему с лавки небритому мужчине. По касательной он задел размахивавшую руками женщину, из головы которой уже падали на пол куски мозга с костями. Краем глаза он успел заметить неподвижно лежавшую на столе мёртвую старуху. Пахом прошёл на середину комнаты и, наслаждаясь, выстрелил в метавшегося перед ним взад вперёд мальчика, что открыл им дверь. Пуля с адской силой вырвала его руку из плечевого сустава, а когда он стал валиться, Пахом почти ювелирным движением снёс ему с головы лоскут. Фиолетовый дым с улицы вполз в распахнутую дверь и смешался с автоматным. Размахивая перед собой автоматом, словно веером, Пахом подошёл к столу с распластавшейся на нём старухой, рывком сбросил её на пол, и, задрав подол, ловко срезал перочинным ножом четыре геморроидальных шишечки, поместил их в пакетик и спрятал в нагрудный карман, затем ринулся к красному углу и дулом автомата сбросил на пол икону, которая тут же развалилась на три части, и Франц услышал звук чего-то перекатывающегося. Пахом мигом рванулся на звук и сразу напоролся на шкатулку, та отрикошетила и, раскрывшись, вывалила аккуратно упакованные пачки с валютой и золотые украшения. Сориентировавшись на блеск, Франц упал на колени и стал сгребать в карманы всё, что попадало под руку. Всё собрав, Пахом схватил его за плечо и увлёк за собой во двор…

Пышный, с утопающей в пару мясной вершиной пирог смотрел на барина и его семью блестящими наполненными лимонным с клюквой соком глазными яблоками, лоснящиеся припудренные перцем и корицей волосы барашками клубились на изящно венчавшем верхушку пирога лоскуте, прожаренное лицо, отдельно лежащие на крыльях носа веки, грудино-ключично-сосцевидные мышцы образовывали первую букву имени молодого барина «А», из золотисто-коричневых насквозь прожаренных ушей торчали шампуры, с нанизанными на них прозрачными ломтями нарезок из шейной и затылочной частей головы, сохранившие первозданную форму мозги торжественно возлежали на обработанной мышечной ткани платизмы, словно драгоценные камни в оправе из страусиных яиц утопали в торжественном пару фаршированные форелью и телятиной геморроидальные шишечки. Нанятые из города, одетые в разноцветный латекс богато украшенный белыми филеграневыми[42] пряжками с крупной бирюзой официанты, грациозно фланировали за спинами у гостей, пыхтя и по несколько раз за подход меняя руку с разламывающимся от тяжести блюдами на пути из кухни к столу.

[42] филигранные

Похлопывая и улыбаясь, они старались двигаться в такт монотонному ambient, что лился из подвешенных к потолку колонок. Атмосфера достатка, доброты, благодати царствовала за столом, сияющий от счастья и уже крепко пьяный Аккилл тупо глядел перед собой вечно сощуренными слезящимися глазами, и боялся, что его ущипнут. На щуплом теле его висела широкая не по размеру ливрея.